

**ВРЕМЯ  
ИМБИ** 124  
1994

**MOSCOW - NEW YORK**



**БОЛЬШОЙ ОРИГИНАЛ**

# ВРЕМЯ

РОССИЙСКО-  
АМЕРИКАНСКИЙ  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ЖУРНАЛ

# И МЫ

*Двадцатый год издания*

Выходит один раз  
в три месяца

---

**124**  
**1994**

МОСКВА — НЬЮ-ЙОРК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1994

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>ЛЕВ АННИНСКИЙ</b>     | <b>ГРИГОРИЙ ПОЛЯК</b>                   |
| <b>ВАГРИЧ БАХЧАНИЯ</b>   | <b>ЛЕВ НАВРОЗОВ</b>                     |
| <b>ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ</b>      | <b>ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН</b>          |
| <b>ДЖОН ГЛЭД</b>         | <b>ИЛЬЯ СУСЛОВ</b>                      |
| <b>ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ</b>    | <b>МОРИС ФРИДБЕРГ</b>                   |
| <b>ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ</b> | <b>ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ</b>               |
| <b>ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ</b>    | <b>ЕФИМ ЭТКИНД (зам. гл. редактора)</b> |

Московский центр журнала "Время и мы"  
Заведующий Лев Аннинский  
Адрес центра: 103914, Москва,  
ул. Моховая, д. 9, Факультет  
журналистики МГУ, к. 213."  
Тел.: 203-66-41

Израильское отделение журнала "Время и мы"  
Заведующая отделением Дора Штурман  
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot  
Mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"  
Заведующий отделением Ефим Эткинд-  
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu,  
92800  
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине  
Mariama Shmargon, Shlosstr 30/30  
1000 Berlin (West) 19

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

*Инна ЛЕСОВАЯ*  
Следствие . . . . . 5  
*Людмила УЛИЦКАЯ*  
Ветряная оспа . . . . . 51  
*Игорь ЯРКЕВИЧ*  
Две литературы. Берия, или боярыня Морозова . . . . . 75  
*Борис ПИСЬМЕННЫЙ*  
Смерть Дария Ильича . . . . . 90

### ПОЭЗИЯ

*Белла АХМАДУЛИНА*  
Пульсировала бесконечность . . . . . 123  
*Владимир ДРУК*  
Из старых тетрадей . . . . . 130

### ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ

*В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ*  
Доживет ли Россия до 2000 года? . . . . . 138  
*Владимир ШЛЯПЕНТОХ*  
Ценности в посткоммунистическом мире . . . . . 150  
*Лев АННИНСКИЙ*  
Меж Рафаэлем и охломоном . . . . . 159

### ИСКУССТВО

*Елена ДУБИНЕЦ*  
Музыка — это все, что звучит вокруг . . . . . 169  
*Сергей РАХЛИН*  
Закон и кулак . . . . . 183

### ИНТЕРВЬЮ "ВРЕМЯ И МЫ"

*Валерий ЗОРЬКИН*  
"Я буду судьей и никем более" . . . . . 193

### ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

*Александр ЖУРБИН*  
Рисунок и музыка жизни . . . . . 201  
*А.НЮРНБЕРГ*  
Рассказы старого художника . . . . . 225

### НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

*Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ*  
Новая литература — это литература отсутствия . . . . . 262

### Трибуна фельетониста

*Алекс БОРИСОВ*  
"Все смешалось в доме Облонских" . . . . . 273

## ОТ РЕДАКЦИИ

Вряд ли Александр Сергеевич Пушкин при всей его безудержной фантазии мог представить, что настанет час, когда он окажется среди величественных небоскребов Нью-Йорка. Нет, не потому, что он сделался кумиром Америки, — у этой страны собственные кумиры, — но потому, что он был и остался символом свободной русской литературы, оказавшейся в изгнании в эпоху советского безвременья.

В те мрачные семидесятые годы на Западе и был создан русский литературный журнал "Время и мы" — свободная трибуна писателей, вынужденных под прессом режима покинуть Родину.

Но вот пришла другая эпоха, и литература в изгнании, а вместе с ней и журналы-изгнанники, получили возможность вернуться на Родину. Сегодня, после 19 лет эмиграции "Время и мы" выходит не только в Соединенных Штатах, но и в свободной демократической России.

Предлагаемый читателям 124-й номер, в котором в равной мере выступают российские и американские авторы, показывает, какие возможности для взаимного обогащения двух великих культур мира открываются перед нашим журналом.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© "Время и мы"  
ISSN 0737-7061

## ПРОЗА



Инна ЛЕСОВАЯ

## СЛЕДСТВИЕ

Она стояла в светлом парадном старинного дома. Свет шел сверху, сквозь застекленный потолок, и перегнувшийся через перила ребенок был виден почти силуэтом. Он как будто дразнился, хотя вряд ли заметил ее. А Валентина не в силах была ни двинуться с места, ни окликнуть мальчишку, такой гулкой была тишина на лестнице и такой неустойчивой его дерзкая поза, что, казалось, даже звук может нарушить равновесие...

Это было похоже на пытку. Страхом и неподвижностью... И длилось очень долго, пока что-то не шаркнуло по камню, быстро, будто зажгли спичку, и растрепанная тень пронеслась перед ней вниз, в подвал...

Ребенок, маленький и плоский, лежал, прижавшись щекой к щербатому полу...

\* \* \*

Бывают сны такие тяжелые и мучительные, что, проснувшись, долго не можешь поверить в избавление, и

когда поймешь, наконец, что это сон, бессмыслица, ша-леешь от счастья. Но иногда не помогает и пробуждение, в душе надолго остается мутная, навязчивая темнота, будто все это где-то и в самом деле случилось.

К тому же Валентина была суеверна. Много лет назад девочка, с которой она сидела за одной партой, притащила в школу трухлявую книгу без начала и конца — "сонник". На переменах ее читали вслух, покатывались со смеху: "Увидеть городского — неприятность, быть городовым — большая польза..." Валентина называла эту книгу "Мартын Задека". А потом девочки стали переписывать "Задеку" в тетрадки, и Валентина тоже начала было, но поленилась.

"Лестница... — думала Валентина. — Лестница — это сплетни. Да еще какие... И ребенок — скверно. Мальчик. Маруся говорит: хлопоты... Ерунда все это."

Валентина пыталась подавить беспокойство, забыть, думать о чем-нибудь другом. Но думалось только о том, что вот Павлик через три часа уедет на вокзал, и его не будет целую неделю.

Она очень не любила, когда его посылали в командировки. Больше всего — день отъезда. Он был возбужден, суетился и так часто повторял, что до смерти не хочет ехать, а ехать, конечно, хотел. И она бы хотела. Новые города, новые люди... Валентина понимала его, но все равно сердилась. И мстила. Месть заключалась в том, что она очень много работала, пока он разъезжал. И обязательно так, чтобы это было видно: ходила на этюды, начинала большую картину. Она расставляла работы под стенами в беспорядке. И торжествовала, когда, возвратившись домой, чуть простуженный и мятый, он неловко застревал в дверях, будто не узнал свою квартиру, или прошло очень много времени, много жизни, без него.

— Ну и ну! — неуверенно шутил он. — На тебя, я вижу, очень положительно влияет мое отсутствие...

Ей и в самом деле хорошо работалось без него, но она не хотела, чтобы он уезжал. Да еще сегодня, в воскресенье. И этот сон...

Валентина протянула руку за одеждой. Она услышала, как по коридору ходит на цыпочках Павлик.

— Я уже не сплю! — крикнула она.

— Ты чего так рано? — он присел на кровать.

— Мне всю ночь сегодня снилась страшная гадость. Я тебе расскажу, — заторопилась Валентина, — чтобы не сбылось. Ребенок свешивался через перила. Дразнился. И упал вниз...

Она ждала, что Павлик начнет дурачиться и высмеивать ее, но он смотрел серьезно и странно.

— Знаешь, мне не хотелось тебе говорить, но ты все равно узнаешь. Твой сон в руку... Тут ночью девочка выбросилась с балкона.

— Какая?!

— Да пока ничего не известно. Может, вообще не из этого дома. У нее в сумке нашли ученический билет. Через школу узнают. Возле парадного милиция, "скорая". Слышишь, какое на кухне горячее обсуждение?

Валентина слов не различала. На кухне, кажется, собрался весь этаж, что-то говорили, кто-то вскрикивал, но шум этот казался веселым. И в быстром скрипе шагов было что-то праздничное. Часто хлопала балконная дверь: соседи выходили "смотреть". А перед парадным на снегу — бесформенная кучка или...

— Ты что, расстроилась? — он заглядывал ей в глаза, и Валентине сначала стало стыдно и досадно, что главное для него во всем происшедшем — успокоить свою слабонервную жену, потом стало стыдно за свою неблагодарность.

— Ну а чему тут радоваться, Пашенька?

— Тебя это не касается, — сказал он. — Знаешь, сколько таких случаев происходит в городе каждый день? Просто об этом ты случайно узнала. Лучше бы о собственном муже поволновалась: у меня через час поезд, а тут уже следователь ходит по первому этажу, всех переписывает, и меня, конечно, на заметку возьмет: убил девочку — и смылся в Николаев.

Он пытался отвлечь Валентину, но пока говорил, сам немного смутился.

— Может, тебе позвонить Федорову, попросить, чтобы поездку отменили?

— Да что ты! — рассмеялся он. — Тогда уж точно что-то заподозрят.

— Ты думаешь, они будут о каждом узнавать?

— Конечно. И я буду одной из версий!

— Мы слишком много прочли детективов...

— Да! — согласился Павлик и начал одеваться. — Впрочем, ты-то этим не гретишь. Если бы ты знала, как мне не хочется уезжать! — он обнял Валентину, и она почувствовала, какой он уже нездешний, легкий, как его уносит от нее...

— Ну ладно. Ты к бабушке зайди.

— Я бы и так зашел, как раз собирался.

Она не пошла его провожать. Стояла у дверей и слушала, как он стучится к бабушке. ("До свиданья, Катерина Андреевна." "До свиданья, до свиданья, Павлик. Будь здоров! Вот тебе на дорогу"), как идет по коридору ("Павлик! Вы слышали? Какой ужас!").

— Никому не отвечает! — добродушно буркнула бабушка Катя.

Соседи не любили и боялись Павлика. Считалось, что он "заносчивый". Раиса Соломоновна говорила, что у него бандитские глаза, и называла "белобрый антисемит". Клавдия Алексеевна рассказала об этом бабушке Кате, и бабушка страшно обиделась.

— Что же он тогда на еврейке женился?! — возмущалась она. — Ведь Валечкин отец, царство ему небесное, был еврей.

Бабушка была единственным человеком на весь блок, которому удалось не поссориться с Раисой. Она хвалила ее фигуру, платье и если видела, что Раиса расходится, гасила огонь под кастрюлями и удирала из кухни. Бабушка искренне жалела Раису и считала ее "из себя, внешне, неплохой".

— Вот скажи, Валентиночка, разве она не похожа на рембрандтовских женщин, если бы еще глазом не косила?

— Похожа-то похожа, но рембрандтовские женщины славятся не своей внешней красотой, — не могла уступить Валентина.

— Ох, как ты ее не любишь! Даже рембрандтовским женщинам досталось!

Бабушка была очень справедливая. Может, за это соседи не чаяли в ней души? А, может, за то, что пекла необыкновенные пироги и всех угощала? Или за ее тактичную незаметность? Она была не маленькая и довольно грузная, но ходила очень тихо, чуть пришаркивая тапочками. Ее серенькая одежда сливалась с сумрачным светом коридоров. Одевалась она всегда одинаково: прямой сарафан и легкая блузка с короткими рукавчиками. Если было очень холодно, она набрасывала на плечи пуховый платок и скалывала его на груди булавкой. Точно, как бабушка Зоя, родная бабушка Валентины, младшая сестра бабушки Кати. Они были во многом похожи, но вот даже эти булавочки... У бабушки Кати они выглядели опрятно. Вообще-то обе были слегка неряшливыми, но беспорядок у бабушки Кати казался уютным. И пироги у нее поднимались пышнее, и герань разрасталась на все окно, и лилии распирала деревянные вазоны, и все цвело, пахло. У бабушки Зои эти же цветы выглядели куда беднее.

Пожалуй, бабушка Катя была и скрытна не меньше, чем сестра, но люди с ней были откровенны. И даже злоупотребляли ее доброжелательностью. Как только дверь за Павликом захлопывалась, кто-нибудь обязательно являлся посоветоваться (хотя она никогда не давала советов), пожаловаться, что-нибудь сообщить, не считаясь с ее мигренью, планами и тем, что за стеной работает Валентина.

— Слышите, Катерина Андреевна, в шесть часов вон те, с седьмого этажа, погорельцы, вывели собачку...

— Тише, Любочка, тише.

— ...а она там лежит. Прямо перед дверью...

— Любочка, я не хочу, чтобы слышала Валя. Она такая впечатлительная...

Валентина болезненно усмехнулась. Она знала, что бабушка видит в ней существо необыкновенное, и немного тяготилась этим: она не казалась себе такой.

Там, где Валентина родилась и выросла, ее считали странной, "с причудами". Она не обижалась и почти не замечала одиночества. Только как-то сразу и легко отвыкла от своей семьи, будто всю жизнь прожила с бабушкой Катей в ее доме. Верней, не в доме, дом-то менялся, а оставалась тенистая зеленая путаница на окнах, тишина, сосредоточенная растущая в комнатах, как цветок, и бережное, ненавязчивое внимание бабушки...

Вот и сейчас бабушка наивно пыталась уберечь ее от подробностей. Валентина и сама старалась не думать о случившемся. Причесывалась, прибирала в комнате, но все это не отвлекало, а наоборот, вызывало угрызения совести. Она непрерывно ощущала, будто ходит рядом с какой-то стеклянной стеной, за которой остановилось время. Тишина, глухота... А из этой тишины уже катится с грохотом весть и с минуты на минуту догонит и рухнет на людей, которые ее совсем не ждут... Или уже предчувствуют: ведь девочка, должно быть, не ночевала дома... Что же случилось с ней в эту ночь? Или еще раньше? А, может, ничего и не случилось. Ведь это такой возраст... Сколько раз девчонкой она, Валентина, стояла на подоконнике, сжимая зубы от отчаянного восторга мести и свободы выбора... А все из-за того, что поссорилась с мамой... Контрольную не решила... Чулки разные надела. Но все-таки не бросилась? Да. Из-за мамы. Она считала бы себя виноватой. И все бы так считали. А еще боялась стать предметом бесстыжего любопытства, как эта девочка...

— Слышите, Катерина Андреевна, лицо совсем целое! Такая красивая девчонка! Ой, Валя, привет! Слышь, я бабушке рассказываю. Брови ч-черные (при слове "черные" Люба сжала кулак), носик такой аккуратненький (Люба очертила двумя пальцами свой широкий нос), во-

лосы длинные, ровные, черные-черные! И так хорошо одета! Слышите, натуральная дубленка, сапоги такие, рублей сто двадцать, не меньше, джинсы американские. Она так стукнулась, что эта вот, бедренная кость пробила прямо через джинсы, — Люба поежилась, как от кислого. — И такая маленькая грудка, как у ребенка! Ну, может быть, первый номер. Не больше!

— Господи! — ужаснулась бабушка. — Да ее там что, раздевали?!

— Ну, а вы как думали? Это же экспертиза. Следствие. Надо было с нами пойти. Я же вас звала.

— Господь с вами, Любочка, зачем мне смотреть. Я лет десять назад видела, как парня сбила машина, и он у меня до сих пор стоит перед глазами. Зачем?

— Несут, несут! — крикнули в коридоре, и все бросились туда.

Бабушка Катя прикрыла дверь. Вдохнула. Встретилась глазами с Валентиной и покачала головой.

— Кого мне жалко — так этих несчастных родителей.

Валентина ушла к себе. Поставила на мольберт холст. Провела шершавую черную линию. Смахнула ее тряпкой. Еще одну. Уголек скрипел и крошился.

Она хотела написать "дуэт", мальчика и девочку, лет по семнадцати. Она за роялем: руки над клавишами, голова чуть выдвинута вперед... Он прижал щекой скрипку, поднял смычок. Они ждут, сейчас они подадут друг другу знак и заиграют... На заднем плане — большое окно и голые ветки — голые, но уже живые, разноцветные. И бешено чистое небо в открытой форточке. Валентина давно задумала эту картину. Мысленно она почти написала ее. Было уже теплое пространство и набирающийся клубами цвет...

И вот теперь она стояла перед холстом, как перед стеной, глухой и холодной. Не было в этом ничего страшного. Валентина не впервые с трудом начинала картину, но всегда знала, что надо только пересилить себя и не останавливаться, пока не завяжется на холсте что-то верное, живое, пусть даже не похожее на замысел.

Валентина взяла другой уголек. Набросала несколько линий. Нет. Она не могла писать. Рука мгновенно устала, онемела, заломило плечо...

Она с трудом вызывала в памяти выношенный образ, но картина являлась ей одновременно расплывчатой и застывшей. Зато резко разворачивалась перед глазами белая плоскость снега с неприметной бесформенной кучкой в углу, а в этой "кучке" вдруг выступала сломанная розовая кость, и черные прямые волосы брызгами, как тушь из разбитого пузырька, бледное, неправдоподобно целое лицо и детская грудь, слившиеся с белизной снега...

Зачем они ее раздели? Там, на улице! Перед зрителями! Выскочили полуодетые и боятся что-нибудь пропустить.

Из оживлённого гула на кухне Валентина уловила, что милиции уже известно что-то. Говорили о каком-то звонке. Зиновий Карлович возмущался ходом следствия.

— Идиоты! — громыхал он. — Вертятся! Выспрашивают — вместо того, чтобы сразу прислать собаку. Она бы моментально привела к нужным дверям! А они явились тут со своими фотоаппаратами и затоптали сами все следы.

— Вы совершенно правы! — подхватила Раиса. — Это только в кино показывают, как они раскрывают все преступления.

Зиновий Карлович, конечно, не ответил, но в его молчании не было обычной гранитной непроницаемости, и Раиса, окрыленная, продолжала:

— И что вы хотите? Вы этого следователя видели? Что-то он не похож на следователя.

— А где вы видели живого следователя? В кино? — ядовито поинтересовался Коленька, забирая у отца дымящийся чайник.

Он поспешил скрыться в своем блоке, но Раиса бросилась за ним в коридор и там, перед запертой дверью, громко ответила Коленьке, что со следователями ей дела

иметь не приходилось, потому что ее отец не делал золотых зубов.

— Зиновий Карлович тоже не делает золотых зубов, — ни к кому конкретно не обращаясь, заметила Клавдия Андреевна.

— А я совсем не имею в виду вашего мужа! — зашпорила Раиса. В такой день ей не нужно было скандала. — И между прочим, у меня есть знакомый следователь! В высшей степени интеллигентная женщина! Я познакомилась с ней, когда оформляла документы по усыновлению Лены. Тоже жизнь не сложилась у человека. С мужем разошлась. Детей нет. Она теперь моя самая близкая приятельница. Я все буду знать через нее, как и что. Завтра же схожу и узнаю, что показала экспертиза?

— Кстати, у вас уже были?

— У меня нет еще. А у вас?

— У нас тоже. Я просто не знаю, что делать. Мне нужно уйти.

— Ну и нечего их ждать. Не можем же мы целый день сидеть на привязи...

Однако из дому никто не ушел. Все ждали следователя. И в этом ожидании тоже таилось особое, праздничное возбуждение. Оно передалось даже Валентине и пульсировало где-то внутри, рядом с мутным комком непроходящей тошноты, рядом с черными брызгами волос на окровавленном снегу.

Если бы не снег, Валентина, пожалуй, не посмотрела бы на свое простуженное горло, ушла куда-нибудь, чтобы отвлечься, но она боялась увидеть и запомнить этот снег. Хотя воображение все равно не подчинялось ей, и она час за часом двигалась, не оставая, за девочкой, покрытой белою простыней... по улице... в морг... ударялась затылком о холодный каменный стол... экспертиза... опознание...

\* \* \*

— Видно, девочка была не очень аккуратная. Я так



посмотрела: футболочка на ней несвежая... — Надежда Петровна, как всегда, вошла без стука, без приглашения уселась, расставив жирные колени. — Я вам скажу: не исключено, что она была просто босячка. Не спорьте, Катерина Андреевна! Вы же не знаете! А я вам скажу: как это так? Почему девчонка ночует в общежитии, когда у ее родителей в этом же городе есть квартира!

— Но говорят же, что она звонила...

— Да ничего подобного. Никто никуда не звонил. Это с утра так говорили!

Бабушка Катя, хотя и прожила с Надеждой Петровной в одном доме тридцать лет, была с ней едва знакома. Но с тех пор, как дом их поставили на капитальный ремонт, а жильцов временно поселили здесь, в общежитии, Надежда Петровна на правах старой соседки стала ходить к бабушке в гости. И бабушка, краснея и немея от стыда, выслушивала ее сплетни. Вообще-то это были даже не сплетни: Надежда Петровна всегда говорила правду. Одно было непонятно — как она эту правду развела.

Валентине иногда хотелось услышать, что Надежда Петровна рассказывает о ней, о Павлике, о бабушке. Особенно о бабушке: были вещи, о которых Валентина никогда не решилась бы спросить. Тем более у родственников. И конечно уж — не у всеведущей соседки. Валентина не то чтобы ненавидела Надежду Петровну, — она вызывала у нее невыносимую гадливость своим бородавчатым лицом, быстрым и тайным взглядом, хриплым голосом, строгими суждениями о чистоте и аккуратности. В старом доме она часами сидела на лавочке перед веревками, на которых развешивали выстиранное белье, и, придирчиво рассматривая чужие вещи, выносила приговоры. Зато стоило посмотреть, с каким видом она встряхивала и раскидывала свои белоснежные простыни. Стирать ее дочки умели. Надежда Петровна хвастала, что они у нее "большие аккуратистки". В остальном она их не жаловала, и именно от нее всему дому было известно, что тощая "старая дева Верка" падает в обморок от запаха мужских

носков, а девятнадцатилетняя "шлюха Тонька" сделала уже шесть аборт. Отчего же было Надежде Петровне жалеть чужую и мертвую девочку? Вот она и ходит, и рассказывает всем "про футболочку"...

— Чаю? Нет. Не надо, Катерина Андреевна. Я сегодня даже обедать не могла. Как вспомню эти вывороченные кости...

Она крякнула, сморщилась и потрясла головой, будто пропустила рюмку.

"Ужасно, — сжала зубы Валентина. — Для нее это кино! Для всех кино. И для меня тоже. Мы участники детективного фильма. Играем свидетелей... Разве сама я не жду следователя? Разве не будет позы в том, как я стану отвечать на его вопросы?"

\* \* \*

Следователь пришел только под вечер. Он и вправду не был похож на следователя из кино. Ему было неловко в чужой квартире. Он не снимал пальто и все вытирал со лба пот концом теплого шарфа.

Следователь разговаривал с бабушкой, но Валентина видела его через незапертую дверь. Он разложил на углу стола журнал со списком жильцов и тетрадку, в которую вписывал анкетные данные — год рождения, место работы... — и ответы на стандартные, как в кино, вопросы. Он явно устал и торопился закончить обход.

Бабушка Катя отвечала за всех, подробно и обстоятельно.

— Муравьев Павел Алексеевич. Муж моей внучки. Его дома нет. Он уехал в Николаев, в командировку. Сегодня в одиннадцать двадцать.

Валентина заметила, что данные о Павлике следователь записал отдельно, в особом списке.

В другой список попала Вика.

— Это моя внучка. Точнее, внучатая племянница. Она уже два месяца гостит в Алма-Ате у родителей. Уехала где-то перед Новым годом.

Бабушка лгала. На самом деле Вика уехала еще в конце августа, и не в Алма-Ату. Вика училась в Москве, но бабушка скрывала это от посторонних. Она не "выявляла" Вику. Сначала на всякий случай, хотя было известно, что Вика, если получит свободный диплом, все равно вернется по месту прописки; если уедет по распределению — никакая прописка ей не нужна. А вернее всего — об этом бабушка мечтала — Вика выйдет замуж и останется в Москве. Но после того, как начался капитальный ремонт старого дома и выяснилось, что из бабушкиной громадной, но нелепой квартиры сделают вполне современное и удобное жилье, многие соседи в ее присутствии, как бы между прочим, стали возмущаться, что большие семьи вернутся в тесные квартирники, а в "хоромы" поселят по три человека... Соседи обещали, что "так это не оставят".

Бабушка слушала с невозмутимым лицом. Несколько лет назад, чтобы избежать суеты, она сама отказалась бы от своей квартиры, но теперь намерена была бороться: она считала, что квартира необходима Валентине. В последнее время Валентина работала дома. Она почти не бывала в небольшом заплесневевшем подвальчике, пышно именуемом мастерской. Когда-то это была ее гордость и святыня. Крутые скользкие ступени, бледные грибы, вырастающие под умывальником... даже запах сырости волновал ее, вызывая желание работать. Теперь все это пугало. Не хватало воздуха, ломило и выворачивало суставы. Здесь, в общежитии, было тесновато, и Валентина мечтала о большой, светлой комнате, где можно будет писать на громадных холстах, с утра до ночи...

Бабушка ходила к юристам со справками о состоянии здоровья Валентины, каталогами выставок. "Это все неплохо, — говорили юристы. — Главное для нее — поскорее вступить в Союз художников. Тогда она получает право на лишние десять метров площади. А вообще все будет зависеть от того, кто будет претендовать на вашу квартиру. В принципе, эта площадь не существенно превышает норму на четырех человек".

Увы, про неустойчивое положение Вики бабушка ничего им не сообщала... Сама Вика чувствовала себя совершенно спокойно, даже умудрилась устроиться без прописки в университетское общежитие и где-то подрабатывать, но для бабушки Кати это называлось "нарушение паспортного режима". Бабушка не любила нарушать законы. Она жила в постоянном страхе и особенно мучилась, когда приходилось лгать.

Валентина покраснела. Она была уверена, что по бабушкиному голосу следователь тут же догадается, что она говорит неправду.

— Простите, — следователь оторвался от своих бумаг, — а как получилось, что племянницы живут с вами, а не со своими родителями?

— Ну, это сложная история, — замялась бабушка. — У них рано умер отец... мать дважды выходила замуж... неудачно... А я человек одинокий... Короче, — неожиданно перебила себя бабушка, — начальство сочло возможным, а начальству виднее.

Здесь у нее все было в порядке.

— Муравьева, Валентина Борисовна, сорок седьмой год рождения. Профессия и место работы?

— Живописец. Выполняет дома заказы, скоро должна поступить в Союз художников.

— А я не мог бы поговорить с ней лично? — оживился следователь.

— Пожалуйста. Валечка!

Валентина явно произвела на следователя впечатление. Он смутился, заспешил, стал спрашивать, какой она окончила институт, когда, нет ли у нее учеников.

Валентина почувствовала тоскливое раздражение: сейчас он станет навязывать ей вундеркинда.

— Нет, — сказала Валентина, — учеников у меня нет. Я так понимаю, у вас кто-то хочет поступать в художественный институт? Я могу, конечно, посмотреть работы. Но это не имеет смысла: у меня московская школа, я не знаю здешних требований. Одно могу вам посоветовать: учиться надо по возможности в том городе, где собира-

ешься жить, а то будешь всем чужой. Это я на своей шкуре испытала.

— А у вас нет никаких знакомых в институте?

— Нет. Никого. Впрочем, знаете, на пятом этаже, в 82-м блоке, живут художники — муж и жена. Они здесь кончали. Очень славные ребята. Вы поговорите с ними.

— Да-да, — следователь что-то записал на бумажке.

— А что вы можете рассказать о сегодняшнем происшествии?

— Ничего. Разве что... Знаете, я сильно болела летом... Так, разные глупости шли на ум. Я однажды подумала, что этот дом очень удобный для самоубийства. Ведь балконы обычно в квартирах...

Следователь слушал внимательно, с понимающей улыбкой, но, кажется, это был интерес к самой Валентине, а не к ее соображениям относительно происшествия.

— Представьте себе, в каком состоянии находится человек, а ему надо бить стекла на лестничной клетке, подставлять ящики. Или пойти в гости и сделать людям неприятность. А здесь — пожалуйста. На лестничной клетке — открытый балкон, никто никого не знает.

— Да. Это точно. А вы не знаете, здесь есть еще художники в доме, кроме вас и тех двоих?

— Прямо под нашей квартирой живет пожилая женщина, я как-то видела ее с этюдником.

— Нет, это все не то. Мы ищем, понимаете... — следователь повернулся к бабушке, — может, здесь есть какой-нибудь холостяк? Или художник, который имеет учеников? Так у вас точно нет учеников?

Валентина рассмеялась.

Вам, наверно, Раиса наговорила про учеников. Просто все наши знакомые и друзья ходят с папками, вот она и решила.

— Нет-нет, дело не в этом. Дело в том, что пострадавшая учится, верней, училась, на первом курсе художественного института. На театральном факультете.

Почему-то слова его поразили Валентину. И бабушка прижала руку к груди и вскрикнула: "О господи!".

Странно, что следователь как будто такой реакции и ожидал.

— Ее зовут Лена Сергеенко. Вы не сталкивались с ней где-нибудь? Постарайтесь вспомнить.

— Нет, Где же мы могли встретиться? Разве что случайно. Фотографии у вас нет?

— Нет еще, — смутился следователь.

— А где она училась до института?

— В студии Дома культуры метростроевцев.

— Нет. Я там никого не знаю. Я занималась в студии Дома учителя.

Валентина знала уровень студии Метростроя. Там могли подготовить в училище, не больше. А девочке было семнадцать лет, значит, она поступила с первого раза, сразу после школы...

— Может, у нее были какие-нибудь неприятности со специальностью?

— Нет, наоборот, — ответил следователь. — Она хорошо сдала сессию, — он заглянул в бумажку, — две пятерки и две четверки. Она была очень довольна. Они, понимаете, студенты и педагог, пошли праздновать окончание сессии. Проводили ее до троллейбусной остановки. Оттуда она позвонила домой и сказал, что будет через полчаса... Так вы ничего не можете сказать?

— Ничего, кроме своих соображений.

— Пожалуйста-пожалуйста.

— Я сначала думала, что она сама сбросилась, но вряд ли это так. В художественный институт поступить невозможно трудно (я сама сдавала четыре раза), и когда влезешь туда, года три не можешь опомниться от счастья.

Следователь кивал и улыбался. Ему было интересно, но безотносительно к делу...

Наконец он попрощался и ушел, а с его уходом кончилось кино и вернулась реальность.

Сырая черная тьма давила на окна, просачивалась в комнаты серой мутью по углам.

— Конечно, — вздохнула бабушка, — какая уж тут

разница, но лучше бы она действительно оказалась "босячкой"...

Валентина понимала, почему соседи с такой готовностью подхватили версию Надежды Петровны: всем хотелось, чтобы девочка оказалась плохая. А она сама? Почему ее так ужасает именно то, что девочка — художница? Подумаешь, большая важность — художник! Ничем не лучше других... Можно, кстати, быть и художницей, и босячкой одновременно. Еще как! Валентина поспешила лечь. Вообще-то она любила спать одна, но тут вдруг испугалась широкой пустой постели. Сна не было, а были мысли, рассыпающиеся, навязчивые, как сны.

"Павлик, Павлик! — выдохнула она в подушку. — Если бы он был здесь... Еще целая неделя! Господи! Да ведь меня это действительно не касается! Каждый день случается такое, еще хуже!"

А девочка с прямыми черными волосами набирала номер своего телефона и обещала родителям прийти через полчаса... Однокурсники ждали ее в сторонке, потом шли все вместе к троллейбусу, она уехала первая, помахала им через заднее стекло и уплыла, растаяла в темной февральской метели, чтобы утром страшно и реально возникнуть здесь, внизу... Почему именно здесь? Почему друзья отпустили ее одну? Так поздно... Совсем девочку... Ведь она наверняка была младшей на курсе.

Странно. Очень странно все-таки то, что она сразу поступила. После студии Метростроя... Да Чернов-то и сам не умеет рисовать... Очень талантливая? Возможно. Но вряд ли талантливее Нади Фроловой. Или кто-то из корифеев протащил за "внешние данные"? И такое бывало. Встретил девочку в коридоре, толстый, знаменитый, снисходительный. Облаготетельствовал мимоходом. Благодарно. Может еще и портрет для выставки написать. Даже и жениться может. Перед смертью. Они тут холостяка ищут, а вдруг это не холостяк, а интеллигентная дама, которая "сделала человека" из своего Николай-Николаича?

Черная кружевная шаль проплыла по длинному коридору, заставленному книжными шкафами... блеснул золотой ободок камеи, рука медленно, привычно задвигала рычажками замков, потянула дверь... А за дверью — такая нереальная среди чопорной лепнины и томных изгибов перил — девочка... в дубленке... с черными волосами... с непрошибаемой уверенностью в глазах. Они сейчас храбрые пошли, знают, чего хотят. (Надо завтра же позвонить Вике!) Господи, какой бред! Я прямо, как Надежда Петровна. А может, девочка просто любила его? Может, это и не корифей вовсе. А...

Женя! Как же я сразу не подумала! Ведь он преподает в институте. И частные ученики у него есть! Может, он-то ее и подготовил? Протащить, конечно, не мог. И никогда не стал бы, если бы даже мог. А уж сделать какое-нибудь зло, тем более убить? Смешно... Разве? Разве не могут такие вот добрые, мягкие сделать зло самой своей добротой? Видит: девочка влюбилась, мучается, и вместо того, чтобы разом объясниться, избавить ее от иллюзий, обращается с ней особенно нежно и бережно, а она истолковывает это как взаимность. Наконец, сама является для решительного разговора и узнает, что у Евгения Михайловича чудная сероглазая жена, которую он очень любит. И маленькие двойняшки — Маша и Аня. С ней ласковы, ее заставляют остаться ужинать... Наконец, девочка уходит. Несколько минут стоит, раздавленная, на лестничной клетке, сжав зубы. Ищет, как больнее отомстить, дергает на себя балконную дверь. Метель быстрыми колючками касается ее лица. Свешивается через перила... А внизу ничего не видно, только заплетаются клубы снега в темной манящей глубине...

"Я выдала их! — страх и тоска сдавили горло Валентины. — Кто меня тянул за язык?! "Муж и жена, художники, славные ребята..." Но и без меня бы узнали! У всех же спрашивали: специальность и место работы! А вдруг они хотели скрыть? Как?! Глупо, невыносимо! Что теперь будет с ними? Как он объяснит? А Оля? Как страшно за Олю!"

Валентина увидела светлые Олины глаза, усталое движение ее детских губ. Мутная волна, мутная и грязная, как вода, в которой мыли кисти, расплзлась, приближаясь к этому милому лицу...

"Да я же с ума сошла! Причем тут они!"

Валентина накинула халат и тихо прошла в ванную. Она не знала точно, зачем. Потянулась к выключателю и услышала за стеной низкий задыхающийся голос Клавдии Андреевны:

— Умоляю тебя, скажи мне правду!

И возмущенный шепот Коленки:

— Да что ты ко мне пристала?! Не знаю я ее! Честное слово; не знаю!

\* \* \*

Валентина проснулась от боли. Ломило пересохшее горло. Она несколько раз сглотнула, прислушалась: с ночи заложило или развезло. Похоже, ничего страшного. Она вспомнила о вчерашнем. Казалось, что это произошло когда-то давно. "Забудется, — подумала Валентина, — все забудется. Уже забывается."

В коридорах было тихо. Бабушка Катя жарила оладьи. Из кухни доносилось равномерное шипение, будто она отмеряла время. Чуть пахло пригорелым. Валентина накинула домашнюю куртку Павлика (когда его не было, она часто надевала его вещи), открыла форточку, присела на подоконник. Долго смотрела на выпавший за ночь снег, на старый клен, сияющий инеем. Это дерево... Ей всегда казалось, что его поставили перед ее окном, как перед постелью больного ребенка ставят дорожную игрушку.

Через заснеженный сквер уже была протоптана узкая тропинка. Возле черного хода стояла Оля. Одной рукой она покачивала свою широкую коляску, в другой держала открытую книгу. Оля читала. Она переворачивала страницы неловкими от мороза движениями. Почувствовала на себе взгляд, подняла голову, заметила Валентину, помахала...

"У нее все хорошо, — подумала Валентина, — а я-то каких страхов напридумала."

Потом Валентина писала этюды. Широкое поле снега, кривой домик под высокими черными деревьями, Оля с коляской (Оля совсем крошечная: три штриха, размазанных пальцем, а похоже до испуга) и ветки, ветки, с белыми уголками снега в развилках. До вечера, до синевы за окном.

— Прости меня, Валечка, я вижу, ты уже кончила, — бабушка нерешительно заглянула в дверь.

— Входите, входите, бабуля! Ну как?

— Ты же знаешь, я в живописи не понимаю. Мне все нравится, что ты делаешь. Только меня огорчает, что ты портишь в темноте глаза и не обедала до сих пор.

— А вы обедали?

— Я перехватила. Я — другое дело. Ну, отмывай кисточки, а я пойду греть.

В коридоре уже стучали каблук, зажгли свет. Валентине захотелось к людям, на кухню. По вечерам, если Раиса задерживалась на работе, посидеть на кухне было очень приятно. Просторно, тепло и не так скучно чистить картошку, жарить, печь, стирать и чинить.

— А-а! Валечка! Добрый вечер! Присоединяйтесь к нашей компании.

— Здравствуй, милая. Я тут рассказываю, как мне пенсию присудили, — пояснила Марья Тихоновна. — Да, так вот, раскинула она, значит, карты и говорит мне: "Не бойся, не будешь ты по людям мучиться. Будет у тебе и угол свой, и еще копейка своя." А я так удивилась: откуда?

У Тихоновны была гордость: три тысячи на сберегательной книжке, которые она завещала "своему" монастырю. "Вот будет сюрприз! — восхищалась Тихоновна. — Матушка как узнает — да так и ахнет!"

Должно быть, в монастыре Тихоновну считали нищей и подкармливали. Она бегала туда каждый день, как на службу, с восьмью до двух. Дома она ничего не ела. Только один раз за весь год Тихоновна затеяла варить суп.

— Вот, что-то супцу захотелось, — извиняющимся голосом пояснила она удивленной бабушке Кате.

Сначала бабушка пыталась угощать Тихоновну, но та отказывалась. Брала только пироги, да и то для того, чтобы тут же отнести "наверх", куда-то на шестой этаж, где она завела какую-то знакомую. В конце концов соседям пришлось поверить, что Тихоновна голодает не для экономии, а потому, что ей действительно не хочется есть.

— Вообще, скажу тебе, она с большими странностями, — говорила о ней бабушка.

Для восьмидесяти восьми лет странности были не такие уж большие. Тихоновна была старуха шустрая, памятливая и не робкая.

— Я иногда думаю, — смеялась бабушка, — что она, пожалуй, нарочно Раису в туалете закрывает. А может быть, и свет оставляет нарочно!

Тихоновна действительно не боялась Раисы. И даже на соседей сердилась за то, что они не хотят "бороться с ведьмой". Как только в парадном Раиса начинала звякать ключами и рвать дверь, Тихоновна вскакивала и спешила в свой блок, ее гладкое беззубое личико приобретало решительное выражение. Потом был слышен сердитый топот Раисы, снова звон ключей и через несколько секунд — истерический вопль.

— Да что же это такое! Снова миску свою поставила в ванной!

— Ванна общая! — неожиданно крепким визгом отвечала Тихоновна. — Твоя стоит — и моя тоже имеет право!

Крик был слышен во всех комнатах отсека, спрятаться было некуда, разве что уши заткнуть. Сначала было даже смешно, но смеялись нервно, потом начинали пить сердечные капли, и, наконец, кто-нибудь не выдерживал: "Да прекратится это в конце концов?! На дворе уже ночь, людям завтра на работу!" — после чего скандал разгорался с новой силой, теперь уже общий.

— Ну? Нужно оно ей было — эту миску выставять? — сокрушалась бабушка.

Впрочем, Тихоновна появилась недавно, а скандалы были всегда. Избежать их не удавалось, поскольку на шесть семей была общая кухня, общая кладовая, коридор и балкон, а Раиса постоянно носила в себе грозовой заряд. Она всех обличала в стремлении захватить побольше места. Ей отвечали, что стол ее на кухне самый большой, что она пустыми ящиками и гнилыми досками заставила половину кладовки, но возражений Раиса не слышала. Ее светлые разбегающиеся глаза смотрели мимо, по лицу пробежала судорога тайной отрады.

— Я плевала на вас! — грохотала Раиса. — Вы моего мизинца не стоите, чтоб я еще с вами говорила! Да! У меня два диплома и золотая медаль! Вы недостойны со мной рядом стоять! Мало того, что захватили целую плиту, так еще на окно выставили свои кружки!

— Мы ставим кружки, куда хотим! — не выдерживал Зиновий Карлович. — Интеллигентка! Вы свой халат уже год не стирали, наверно! Вы в кальсонах мужских на общую кухню выходите! Это с вами рядом стоять противно!

— Зиновий! Я прошу тебя, — строго повторяла Клавдия Алексеевна, — не унижайся!

— Да! — соскользала на визг Раиса. — У меня нет денег дубленки покупать! Я не жарю кур каждый день! У вас даже гречка есть! Смотрите! — Раиса распахивала дверцу кухонного шкафчика.

— Что вы говорите! — всплескивал руками Зиновий Карлович. — У меня еще икра есть в холодильнике, сейчас принесу, может, лопнете от зависти и дадите людям спокойно жить!

— Я последний раз прошу тебя, Зиновий!

— Папа! — негодовал Коленька. — Ты же ей радость доставляешь! Это же у нее допинг!

И действительно, после очередной сцены Раиса бодро принималась за стирку или глажку. При этом она пела песни гражданской войны. Пела очень фальшиво и громко. До часу ночи.

На следующее утро она, как ни в чем не бывало,

обращалась к Клавдии Алексеевне: "Клавочка, солнышко, одолжите мне стакан молока."

— Ну что поделаешь, — сокрушалась бабушка, — большой человек. Больше ничего не скажешь.

— Она не больная. Это такая порода паршивая, — компетентно объясняла Люсенька, бывшая соседка Раисы по коммунальной квартире. — У нее отец был точно такой. Еще хуже. Я еще тогда удивилась, что люди так глупо меняются: тридцать пять метров на двадцать шесть. А это они от этой красавицы удрали. Она ихнего старичка до инфаркта довела. Она со мной сначала по-хорошему, в гости ходила, делилась своими секретами, прямо подруга. А потом как пошло! В милицию даже меня вызвали: "так и так, к вам негры ходят, соседи жалуются" (у Люсеньки был необыкновенно приятный говорок, будто щебет, но еще прозрачнее). Я говорю: "Хорошо. Что же мне, мужа племянницы в дом не пускать? Или его братьев?" Они говорят: "Нет, нет! Что вы! У нас с Танзанией дружба. Но соседи говорят, что у вас там оргии устраивают, дебоши..." Я говорю: "Знаю, кто это говорит. Вы бы лучше на нее управу нашли!" А после этого она, нахалка такая, является ко мне смотреть Паскалиночку! Что делать? Не выставлять же ее за дверь. После нее, гадины, ребенок всю ночь проплакал, мы даже скорую вызывали! На днях она пришла, а я ее вот не пустила, и все! "Нечего тебе, говорю, смотреть, это тебе не зоопарк. Ты с двумя дипломами, а у меня тут оргии. Я на девятый этаж идти согласилась, только чтоб с тобой на одной кухне не быть, а ты и сюда добралась."

— Слушай, Люсь, у нее же у самой там были какие-то любовники, — Люба пыталась вызвать Люсеньку на откровенность.

— Не знаю, миленькая, не знаю, — Люсенькины голубые глазки становились на секунду непрозрачными.

За то и любили Люсеньку, что она о чужих делах принципиально ничего не знала. За это и еще за веселую приветливость ей прощалась некоторая беспринципность во всех остальных вопросах, а также не

совсем соответствующая ее возрасту игривость. Раиса говорила, что Нина Люсеньке не племянница, а дочь, причем прижитая без мужа, что Люсенька "живет" с родственниками зятя.

— Это ее личное дело, — отвечали соседи.

— А ей завидно, — хихикала Люба, — она ж на этой почве и бесится.

Валентина не любила, когда кухонные разговоры переходили на подобные темы. Но почему-то чувствовала себя обязанной активно в них участвовать. А потом возвращалась в свою комнату, пересохшая от усталости. Давала себе слово, что больше не будет болтать. "Я просто стараюсь понравиться соседям, — думала она. — А зачем? Зачем мне обязательно всем нравиться? Нужно быть самой собой. А какая я? Может, как раз такая и есть. Как звон кастрюльных крышек..."

— Поняла, милая?

— Да-да, хорошо, — невпопад ответила Валентина.

— Главное в рыбе — долго ее варить... Тс-с-с! — подобралась Тихоновна. — Ведьма моя, кажись.

Раиса появилась в дверях кухни, припорошенная снегом, как дед Мороз.

— Ой, кого я вижу! Валечка! Хорошо, что ты здесь. Я уже была у моей подруги, у следователя. Она — девушка! Экспертиза показала, что физически она — девушка. Значит, это не изнасилование. Она обещала, что будет держать меня в курсе дела!

В коридоре щелкнул замок, и за спиной заснеженной Раисы возникла заснеженная Люба.

— Красавица моя, что ж ты оставила за собой открытую дверь? Если бы это кто-нибудь другой, что бы ты тут уже вытворяла!

— Не может быть! — взволновалась Раиса.

— А как же я вошла? Вот даже ключи достать не успела, — Люба показала свою закрытую сумку. — Слышите, в общем, ее, эту девочку, не изнасиловали. Так думают, что ей отомстили. Она была свидетельницей на суде. Там с какого-то деда сорвали пыжиковую шапку...

Вот так. Давай после этого показания, а они потом отси-  
дят и из-под земли тебя достанут...

— Конечно, — снова воодушевилась Раиса, — у них же целая организация! Дружки подкараулили возле дома, а потом сюда подкинули.

— Это неизвестно, где. Может, она вообще не села в свой троллейбус. Они ее проводили только до подземного перехода. Ничего. Выяснят. Вся милиция на ногах. У нее дядя — председатель исполкома.

И снова вечер был мутный, с рассеянным и тусклым светом, пустой, как ночью подземный переход.

Темная фигура загоразивала дорогу, девочка делала шаг в сторону, он тоже, она резко поворачивала влево, он за ней. Обычное хулиганское ухаживание... "Пожалуйста, пропустите." "Иди." "Я закричу." "Кричи." Она хотела бежать назад, но сзади улыбается громадный, тяжелый, а под стенкой — еще один — совсем мальчишка. Четыре фигуры непрерывно движутся, как фишки в бессмысленной детской игре. Унизительная, отчаянная игра.

\* \* \*

— Я бы вас попросила, — услышала Валентина, — не обращаться к ней. Она все равно ничего не знает и только расстроится. У нее ревмокардит, она летом сильно переболела, только стала выравниваться.

— Н-ну ладно... Так значит, вам это лицо незнакомо.

— Нет, — ответила бабушка.

— И ничего подозрительного вы не слышали в тот вечер?

— Ничего. Но, знаете, наша квартира самая дальняя от входа. И окна выходят на другую сторону. Может, что-то и было...

Бабушка увидела Валентину, вздохнула и покачала головой.

— Ну вот. Покажите ей фотокарточку.

Фотография была сделана для паспорта. Может, поэтому лицо девочки выглядело жестким и напряженным.

Чужое, незнакомое лицо... Не такое красивое, как казалось по рассказам, но очень своеобразное, редкое.

Новый следователь, молодой, высокий, сощурившись, смотрел то на портрет, то в глаза Валентине. С ним пришел еще один, тот держался в стороне, молчал.

— Подумайте. Может, вы с ней где-нибудь встречались?

— Нет-нет. Я запомнила бы ее, если бы где-то встречала. Такое лицо... Сразу запоминается...

— Подумайте! — горячился следователь. — Постарайтесь вспомнить! Она ходила в бежевой короткой дубленке и в вязаной серой шапочке. Может, она приходила к кому-нибудь из соседей?

Валентина помотала головой.

— Что это за люди! — он раздраженно ударил себя папкой по руке. — Я уверен, у-ве-рен, что здесь все что-то знают... Ну, не все, конечно... но почему-то молчат, скрывают!

— Здесь никто ничего не знает, — сказала Валентина. — Здесь такой дом. Никто ни с кем не знаком и не собирается знакомиться. Я не знаю, кто живет в соседнем отсеке, понимаете? Кроме одного пьяницы, который иногда путает дверь, я никого не знаю в лицо. И так тут все.

— Извините, я не о вас говорю. Досадно. Я хожу с утра. И ни-че-го. Никакой информации. Все молчат.

— Вы у старух спросите. Тут возле парадного старушки сидят. Всегда одни и те же. И еще! В этом доме жили актеры. Вернее, актеров было не так уж много, но это всё работники театра юного зрителя. Их дом уже отремонтировали, и они месяца два-три назад переселились. Она ведь на театральном училась, может, была с кем-то знакома.

— Правда? — он оживился и вроде немного успокоился. — А адресов вы не знаете?

— Нет. Но их, наверно, знают в здешнем домоуправлении. И еще вот что... — Валентина замялась, — в художественный институт очень трудно поступить...



— Да, мы знаем об этом. Ну, спасибо, извините. До свиданья.

— До свиданья.

Они уже пошли к выходу, когда из своего блока, запахивая халат, выбежала Раиса.

— Подождите, товарищ! Я вот еще что вспомнила! Она ведь человек искусства. Вы сами говорили, что она была поэтическая, романтическая девочка. Просмотрите ее бумаги, наброски. Вот я, например. У меня на работе плохой коллектив, нездоровая атмосфера. И когда у меня неприятности, я всегда пишу об этом, — Раиса стыдливо запнулась, — стихи. Из этих стихов можно все узнать...

— Хорошо, хорошо, — кивал следователь. Тот, что пришел с ним, оглядывал потолок и стены коридора.

Длинный, плохо освещенный коридор... Раиса с всклокоченными, как дым, волосами, на фоне холодного ночного окна, ветер... метель... черная растрепанная тень...

\* \* \*

— Алло! Галя? Здравствуй, Галочка, это я, Валентина.

— Здравствуй, Валя! Что это ты, мать, так долго не показываешься?

— Да так. Закрутилась. Я к тебе по делу звоню. Скажи, ты никому из своих ребят знакомых не давала мой адрес?

— Нет. А на какой предмет?

— На предмет библиотеки по истории костюма или мебели.

— Ой, Валечка! Я совсем забыла! Какая я свинья! Но я буквально на днях привезу твоего Лукса!

— Да нет, Галя, я не к тому. Пользуйся, если он тебе еще нужен. Я хочу знать, ты ни при ком не говорила, например, что вот у такой-то есть такие-то книги по истории материальной культуры?

— Нет, — решительно ответила Галя. — Никому ничего не говорила. А что?

— Да так, ничего. Тебе ничего не говорит такое имя — Лена Сергеенко?

— Нет, а что?

— Ничего, Галь. Ну, а как твои дети?..

— Девушка! Сколько можно? Вы еще не замерзли?

— Сейчас, сейчас.

— Да вы говорите, говорите, пожалуйста. Я просто обратил внимание. Красивая девушка звонит всем своим поклонникам на таком морозе. Жалко стало.

Валентина действительно замерзла. Она оделась кое-как: думала, через пять минут вернется. Хорошо, что кончились двушки. Совсем бы окончена. Глупо. Как глупо! Ну, предположим, дали бы девочке адрес. Явилась бы она за какой-нибудь книгой. Но не в двенадцать же ночи! И к тому же институтская библиотека гораздо богаче...

Бабушка сидела на диване перед телевизором. Она не обернулась к Валентине. Неотрывно смотрела в экран.

— Бабуль, я не буду больше, не сердитесь. Я думала, через минутку вернусь.

— Ты взрослый человек, Валечка, сама все понимаешь и отвечаешь за свои поступки. Я не имею никакого права делать тебе замечания или сердиться.

Бабушка тут же сама испугалась своей строгости.

— Ну ладно, ладно. Сейчас чаю с малиной напьемся. На ночь наденешь шерстяные носки. Ничего. Даст бог... Хоть бы уже скорей твой супруг приехал! — добродушно кончила она.

— Скорее бы! Знаешь, бабуль, я уже совсем измучилась. Ходят, ходят каждый день. Спрашивают одно и то же. У меня уже это лицо в глазах стоит непрерывно!

— Да, — вздохнула бабушка. — Причем, знаешь, раньше я была уверена, что никогда ее не видела, а теперь уже что-то мерещится, как будто видела где-то...

— Мне тоже.

Смутное мимолетное воспоминание. Валентина стоит на балконе, а навстречу ей по лестнице поднимаются две девочки. Одна исподлобья смотрит на Валентину: тяжелый, пасмурный взгляд. Валентина пытается понять причину этой враждебности. Девочка не хочет, чтобы ее

видели здесь? Или с той, которая идет рядом? Почему совсем стерлась в памяти та, вторая? А эта... Теперь воображение дорисовывает ей длинные прямые брови и бежевую дубленку... Почему она так смотрела на меня? Зависть? Неосознанная и мстительная зависть, с которой красивая молоденькая девушка, почти подросток, может смотреть на молодую красивую женщину... Рассказать им об этом? О чем? Что это им даст? Какая-то девочка заносчиво посмотрела. И Валентина посмотрела — подчёркнуто пренебрежительно... Что из того?

\* \* \*

— Слышите, соседи, вы меня послушайте. Не говорите им ничего лишнего. — Надежда Петровна восседала среди кухни. — Я лично ничего не знаю. На даже если бы знала бы, — Надежда Петровна прижала руки к сердцу и вся подалась вперед, — все равно ничего бы не сказала. — Она снова выпрямилась. — Кому это надо? Девочку уже не оживишь. Скажешь что-то лишнее, а потом тебя вот так найдут. Или невинного человека ни за что ни про что подведешь! Вот, например, ты, Рая, имеешь такую привычку!..

— Ничего подобного! — Раиса вся подобралась от своего благородства. — Меня на второй же день стали расспрашивать про Люську. (Там же лежат мои пять заявлений). А я им ответила: "Она человек неблагородный, но врать я на нее не буду. Выпить, погулять, надебоширить — это она может. А чтобы убить — нет. Я говорю: она, если хотите, в каком-то смысле верующая. Он говорит: почему же вы так думаете? Я говорю: потому что ее дочка живет с негром, а его родители не разрешают им расписаться. Один незаконный ребенок уже есть. Теперь она снова забеременела. Я Люське советовала: пусть сделает аборт, а она говорит: нет, Рая, этого делать нельзя, это грех, все равно, что убить ребенка... Он это все записал!

— И правильно, — одобрила Надежда Петровна, но не

выдержала и съязвила, — тем более, что она у тебя теперь лучшая подруга. Каждый день у нее обедаешь.

— Как вам не стыдно! Я всего два раза у нее была! И это не ваше дело! Значит, у меня есть свои особые соображения!

— Надежда Петровна, — поспешила перевести разговор Клавдия Алексеевна, — вы не знаете, как продвигается следствие? Что-нибудь новое выяснили? Соседи уже поговаривают, что ее мертвую подбросили к парадному.

— Ничего подобного. Одна женщина с двадцатого блока слыхала, как что-то скинули сверху. Как будто какой-то мусор, тряпки. Еще говорит: "Я подумала: какие сволочи!"

— Все-таки непонятно: как такое может быть, чтобы человека сбрасывали с балкона, а он при этом не издал ни звука? Это может быть только самоубийство!

— А я думаю, что если бы она даже сама сбросилась, она бы все равно закричала.

— Вот-вот, — со сдержанной компетентностью заключил Зиновий Карлович, — ее где-то в другом конце города сбила машина, а сюда привезли и инсценировали самоубийство.

\* \* \*

— Вы мне скажите, Катерина Андреевна, о чем только люди думают! — возмущалась Люба. — Я про Зиновия Карловича говорю. Знают же, что с сумасшедшей имеют дело, — и такое сказать. Она мне уже какие-то намеки стала делать, что мой Сережа, мол — шофер, часто работает поздно вечером...

— Да не беспокойтесь об этом, Любочка!

— Я не беспокоюсь! Ради бога! Это же любому ясно. Вот вы скажите, стал бы Сережа тащить ее к себе в дом, если бы он ее сбил?!

"Это было бы неглупо, — улыбнулась про себя Валентина. — Пожалуй, Сереже до такого не додуматься."

— Я не ожидала от Зиновия Карловича. Вообще, вы заметили? Они стали с Райкой здороваться и даже раз-

говаривают с ней, — Люба сощурила глаза. — Если бы я им рассказала, что она на них говорит, я бы на них посмотрела. Про золотые зубы и все такое.

— Не надо, Любочка.

— Да что вы, Катерина Андреевна! На что оно мне? Я только рада, что у нас стало тише. А чего, Валя, они снова к тебе приходили?

— Ничего. Снова те же вопросы. Спрашивали, когда Павлик придет. Они не только у нас были.

— Я знаю, знаю. Уже и туда стали вызывать. С девятого этажа соседи получили повестки. Еще и нас, чего доброго, вызовут, — неуверенно усмехнулась Люба. — Конечно, бояться нечего, но все равно неприятно. Особенно из-за этой ведьмы: кто ее знает, что она может наболтать... Слышите, даже Тихоновна с ней помирилась! Сидит в своей комнате и нос оттуда не показывает!

Последний скандал был особенно громким. Раиса обзывала Тихоновну мракобеской и сектанткой. "Надо еще узнать, откуда у тебя взялись три тысячи! — трубно надрывалась Раиса. — Может, это твои сектанты девочку в жертву принесли!" "Дура ты набитая! — расплевалась Тихоновна. — Ты сама хуже любого убийцы! Ты людям жить не даешь!"

Потом Тихоновна ходила к бабушке советоваться. Плакала. Рассказывала истории о том, как страдали невинные, от Христа до мужа ее двоюродной сестры. И, наконец, заперлась у себя, при Раисе даже в уборную не выходила.

— Вот уж кто мог бы не волноваться, так это Тихоновна, — рассмеялась Валентина.

— У меня к тебе просьба, Котусечка, — сказала бабушка, когда Люба ушла, — только ты, пожалуйста, отнесись к этому серьезно. Завтра приезжает Павлик... Попроси его, чтобы он не заводился с Раисой. Я боюсь, что она наболтает им про Вику... Ты ведь знаешь, что она за человек.

Бабушке было неловко. Она разглаживала морщинки на скатерти, скатывала в горку крошки.

— Хорошо, бабуль. Но лучше бы вы поговорили сами. Вы же его знаете...

Коричневый недопитый чай остывал в стакане, торчали из розетки длинные палочки райских яблок.

Валентина испугалась. Но совсем не из-за Вики, не из-за квартиры. Это стало вдруг безразлично. Она вспомнила лица следователей, когда они расспрашивали ее о муже, и их спокойная деловитость стала казаться ей нарочитой. Господи! Ну конечно! Они ведь на каждого смотрят, как на возможного преступника! И это правильно. Ведь на преступнике не написано, что он и есть преступник. Он будет держаться так же искренне и естественно (или, верней, неестественно!), как любой из нас. А Павлик, он особенно уязвим со своим постоянным ёрничаньем, высокомерием, со своими узкими серыми глазами. Да ведь он просто похож на бандита! Раиса права. Обаятельный, интеллигентный бандит... И как, кому объяснить, что он не такой? А какой? Такой, какой он с ней наедине? Ей же самой он когда-то казался несносным. Не сразу. Сначала нравился. Такой умный, столичный — и вот ходит за ней, за нескладной, вечно простуженной, плохо одетой. И смотрит так внимательно, даже заискивающе. Почему? Паша, король, неверный член всех молодежных клубов и литературных секций. Ей нравились завистливые взгляды литературных красавиц. Потом стала замечать, что смотрят и ребята... (На нее, с детства привыкшую к снисхождению и досаде: "И в кого это Валя пошла такая... странная?") Неужели все произошло оттого, что отстригла косу? Или оттого, что девчонки выщипали брови? "Девушка, вы мне не попозируете для картины? Я — художник." "Я тоже." Она хорошо знала свое лицо: натурщиков не было, приходилось рисовать автопортреты, она искренне не находила в себе ничего достойного восхищения, но к восхищению привыкла. Конечно, не из-за этого рассорились. Просто все стало невыносимо: шутки, гундосое насмешливое дребезжание, охота за книгами, заискивающий взгляд. Испуганное: "Тебе плохо?" "Да. Пожалуйста, уйди." В конце концов даже

здороваться перестали. Просто не узнавали друг друга. Думала, что Павлик ненавидит ее. Потом он исчез. Бросил институт. Кому-то приходили от него письма. С Алтая. Из Владивостока. Говорили, что ездит за ним какая-то Марина... И вдруг он оказался на лавочке возле входа в институт (Валентина уже четыре года училась в Москве). Смотрит, улыбается. Опять смесь робости и самоуверенности... И — бывает же! — вырос на целую голову. И лицо изменилось. Был коренастый, сбитый, а стал длинный, развинченный, как подросток... "Я знаешь, зачем приехал? Выходи за меня замуж." И вышла. От удивления, что ли... "А как же твоя Марина?" "Какая? Ах, та-а? Да ничего там не было. Дура она, эта Марина." Все-то они были "дуры", девчонки, которым он нравился. А может ли она быть уверенной в том, что он в этой истории ни при чем? Вот и Оля смотрит по-особому, сочувственно. Ей-то, глупой, за Олю было страшно, а надо было бояться за себя!

Сдавило виски, воздух застрял в горле.

"Сумасшедшая, сумасшедшая! Ведь он всю ночь был рядом! А если выходил, пока она спала? Заспанный, в тапках и полосатом халате, отпирает дверь и тут же просыпается: за дверью стоит о н а . "Я пришла к тебе," И его горячий шепот: "Не сейчас, сейчас это невозможно! Пойми, мы просто убьем ее! Надо подождать..." Нет. Скорее это сонное удивление и скомороший фальцет: "Вот так сюрприз! Вы откуда, радость моя?!" Она решительно бросается плечом в открытую дверь. "Пусти, я не к тебе." "Не смей, слышишь, не смей!" Он теснит ее к выходу. Бледный, глаза почти не видны под опухшими веками, на щеках — пятна, волосы сквозняком прибиты ко лбу...

"Да как же я смею! Как я могу? Откуда находит такая гадость? Я-то не следователь! Я-то знаю его. Но даже без этого, просто, грубо: он всю ночь лежал рядом со мной! Ведь я просыпаюсь от малейшего шороха! А к тому же в ту ночь никак не могла заснуть из-за того, что где-то наверху бессовестно стучали новоселы..."

Стало немного легче, но страх оставался, страх перед подозрением, перед возможной ошибкой. Страх, стыд, усталость, и все это внезапно обратилось досадой и раздражением на незнакомую девочку с прямыми черными волосами...

\* \* \*

— Я такой грязный! Самому себя трогать противно.

— Ну, ну, иди, отмывайся скорей. Вот. Возвращаю тебе твою куртку.

— Не надо уж. Носи. Она тебе больше идет. (Ласковый умиленный взгляд. Ему нравится, что Валентина маленькая). Только без меня не открывай чемодан! (Это уже из ванной.) Слышишь?

— Да!

Наконец он вернулся. В тапочках, в полосатом халате. Вопросительно смотрит на Валентину, подхватывает ее, прямо в туфлях ставит на диван, целует, трется лицом о волосы. "Ну что? Привыкла уже? Привыкла?"

— Почти. Сейчас совсем привыкну.

— Почти-и-и... Ну что ж, так мне и надо! Не ездил в командировки. Но зато я привез тебе разные штучки...

— Дети, к вам можно?

— Можно, можно, бабуля.

Бабушка вошла, мельком взглянула на Валентину, стоящую на диване, повеселела...

— Ну, как ты съездил, Павлушечка?

— Это разговор длинный. Вы не представляете, в каких хоромах я жил и какой у меня был сосед! Но это после.

— Ты прав, голубчик. Давайте пойдем завтракать.

— Нет. Сначала я подарки покажу, — он зашуршал бумагой, задергал веревочки. — Это у меня что? А, это вам, Екатерина Андреевна. И это тоже.

— Ну, спасибо тебе, Павлик!

— А это — тебе. Нравится?

— Конечно! Еще спрашиваешь.

— А вот это?

— Ах!

Подарки были красивые, нужные. Никто не умел выбирать их лучше, чем Павлик. При этом он жаждал восторга и похвал. Главный подарок откладывался на самый конец. Но Валентина почему-то не выдержала и сказала:

— А у нас тут такое творится...

Он повернулся к ней, посмотрел понимающе.

— Что, таскают?

— Нет. Сами приходят. Не в них дело. Такая дурь в голову лезет.

Он кивнул и улыбнулся.

— Я тебя дождаться не могла. Знаешь, эта девочка училась в художественном институте. На первом курсе.

— Правда? А что-нибудь выяснить удалось?

— Пока — нет. Это не кино. Все так ждали, чем кончится... А последнюю серию не показывают.

— Может, там какие-нибудь творческие неудачи были?

— Нет. Наоборот, она хорошо сдала экзамены. Они как раз пошли все вместе праздновать окончание сессии. В одиннадцать она позвонила домой и сказала, что через полчаса будет. Ее проводили до подземного перехода. Возле магазина "Турист". Больше ничего не известно. Ей надо было сесть на восьмой троллейбус. Меньше минуты ходьбы... А оказалась почему-то здесь. Экспертиза показала, что упала она не ниже, чем с пятого этажа...

— А эти, ее приятели, что говорят?

— Ничего. Никто ничего не знает.

— Меня одно очень удивляет, — заметила бабушка, — или времена пошли такие особые — почему никто не проводил ее. Они же, наверно, знали, что это за район, где она живет. Я даже не хочу говорить — до троллейбуса, — как было девочку до дома не проводить? Причем, с ними был парень, с которым она дружила!

— Может, ее не любили? — ответила Валентина. — Например, за влиятельного дядю, который дубленку достал и в институт устроил. Может, кто-то упрекнул ее? А она — много ли надо? — прибежала сюда и...

В тот день никуда не выходили. Валялись на диване,

смотрели телевизор. Несколько раз к бабушке забегала Раиса. Спрашивала, как съездил Павлик. "Я уже прямо соскучилась за ним", жеманный смешок, потом шепот, пылкий и назойливый, не разобрать слов.

— Видишь? — Павлик указал рукой на стену. — Мы лучшие друзья, а ты говоришь "не заводись".

Валентина давно уже заметила, что после очередной ссоры Раиса к Павлику теплела. Собственно, это были не ссоры — какие с ним могли быть ссоры. Павлик Раису "оскорблял". Эти оскорбления были весьма своеобразны, ошарашивали Раису, и она на время умолкала. Впрочем, однажды она притащила с улицы милиционера. Милиционер был растерян и куда-то спешил.

— Что тут такое, — спрашивал милиционер, — не понимаю, он что, матерился? Кто-то еще слышал?

— Нет, — отвечал Павлик, — я никогда не матерюсь, тем более при свидетелях.

— Он ругается хуже, чем матом! Я даже повторить не могу, как он меня обозвал!

— Так все-таки, что он сказал? — строго заинтересовался милиционер.

— Он сказал, — Раиса замялась, — "кривая задница"...

— Ничего подобного! — возмущенно гундосил Павлик. — Этого я не говорил!

— Говорил!

— Я сказал: "криворотая задница"!

— Так какая разница?!

— Большая!

— Никакой!

— Большая!..

Вид у Павлика был непроницаемо серьезный.

После этого случая Раиса стала говорить бабушке, что Павлик — ее "любовь". "Он такой юморист!" Но это в свои лучшие минуты. Надо отдать Раисе справедливость: она умела так сказать человеку что-нибудь приятное, что у того портилось настроение. Бабушке Кате она хвалила Валентину: "Валечка у вас такая интересная, умница. Просто удивительно, как она вышла замуж за Павла!"

Когда из Ленинграда на недельку приезжала мать Павлика, она ловила ее на кухне и пылко восхищалась: "Только высокоблагородная и культурная женщина могла позволить сыну жениться на такой больной девушке..." Хотя, как и все, догадывалась, что не было ни благородства, ни разрешения. Притом Раиса считала, что дружит с бабушкой. Называла ее "моя Катериночка Андреевна" и делилась своими "секретами". "Только дайте мне честное слово, поклянитесь, что никому не расскажете!" Правда, в течение дня Раиса успевала поделиться и с Любой, и с Валентиной, и с Женей, племянницей Клавдии Алексеевны, — короче, с любым, кого удавалось поймать за рукав или пуговицу. Бабушка знала об этом, но слово блюла свято.

Поэтому Валентина только через день узнала о том, что Раиса в с п о м н и л а девочку. Люба рассказала.

— Слышишь, Валя, Райка говорит, она ее видела у Люси. А что, такое может быть. Вот смотри: она жила на Летунова, точно против общежития для иностранных студентов. Может, гуляла с негром, и он ее к Люське водил... Или тряпки у нее покупала...

— Нет. Вряд ли. Не верится мне, чтобы эта девочка могла оказаться в Люсенкиной компании.

— Я тоже не верю. Райке соврать — недорого взять.

А вскоре заявила и сама Раиса. С подробным чертежом Люсиной комнаты, на котором крестиком было обозначено место, где сидела девочка.

— Я ее так и вижу! Они там выпивали. Она вот так сидела, — Раиса выгнулась на табуретке.

— Что же ты сразу не сказала следователю?

— Сразу я не вспомнила. У меня какое-то затмение было. А теперь она у меня вот так вот и сидит перед глазами! Вот вы, девочки, не верите, — начала обижаться Раиса, — а я вас спрашиваю: почему она вдруг отправила Нинку к родственникам в Калинин?! Я уже с ней десять лет живу, и никогда они туда не ездили. А теперь срочно уехала с ребенком, и в такой холод. А?

— Ну и что, Рая? Мало ли зачем? Ну хоть для того, чтобы ей голову не морочили: она же в положении.

— А почему тогда она меня угощает?! — у Раисы победно сузились глаза. — Раньше я приходила, а она меня старалась сразу выставить, даже сесть не предлагала, а теперь: "Рая, оставайся обедать, Рая, возьми пирожное"...

— А ты, Рая, пользуешься случаем. Вон — даже поправились.

— Знаешь, Люба, я к таким шуткам не привыкла!

Раиса вскочила и решительно направилась к выходу, но в дверях остановилась, бурно задышала, явно вдохновляясь на новый скандал.

— Ты не понимаешь, Рая, — не растерялась Люба, — я же о тебе волнуясь! Чтоб у тебя не было неприятностей. Ты ходишь, всем рассказываешь... Небось, и подружке своей рассказала.

— Она обещала, что это останется между нами.

— А ты уши развесила!

— Не волнуйся. Это такой человек, — Раиса сделала уверенный жест рукой, дескать, с тобой такие знакомство не водят. — С кем попало я не болтаю.

Однако вскоре явилась Надежда Петровна выяснять "подробности". И Раиса с удовольствием показывала ей чертежи и высказывала соображения.

— Я ей говорю: "Это ужасно! Такая молоденькая!" А она говорит: "Так им и надо, босячкам! Пусть не шляются!" Спрашивается, откуда она знает: босячка или не босячка? Я говорю: но ведь экспертиза показала, что она девушка. А Люська — знаете, как она умеет: тю-тю-тю! — говорит: "Ну и что? Подумаешь! Они... (Бабушка замахала руками и бросилась из кухни). А потом выходят замуж как ни в чем не бывало. Мы, — говорит, — такими не были!"

\* \* \*

— Валюшечка, зачем ты, дорогая, слушаешь там эти гадости? Уши вянут.

— Да я не слушала, бабуля.

"Слушала, слушала. Теряла время. На мольберте — недописанная картина, а я стою на кухне, с Раисой и Надеждой Петровной сплетничаю. И не тянет работать."

Картина шла туго, но кое-что получалось. Плотно завязана композиция, и в цвете понемногу выбивается то, что задумано. Надо только еще тушить. Лицо мальчика — вот что действительно удалось. Даже страшно трогать. Каждое утро она начинала с того, что шла смотреть на своего скрипача. Насупленный, лобастый, с выпяченными губами, очкарик. Очень похож на виолончелиста Гену, который когда-то, в шестнадцать, своей суровой влюбленностью тяготил и мучил до слез. Он стал солидным процветающим музыкантом. Но, видно, не совсем повзрослел: до сих пор избегает ее. И странно: сейчас этот тоскливый роман превратился в невыносимо нежное воспоминание. Гена получился у нее наполовину случайно. Хотелось сделать что-то типичное, а получился он.

А вот девочка не давалась. Валентина никак не могла на чем-то остановиться. Смывала, писала, снова смывала к огорчению Павлика и бабушки. Им картина давно казалась готовой. В таких случаях лучшим выходом было найти подходящую натуру, но найти не удавалось. Она ходила к школе. Даже к музыкальному училищу. Было много красивых лиц, но все казались почему-то очень взрослыми, меркантильными, что ли. Не было того выражения старательной взрослости, одержимости и простоты, которое так запомнилось с детства. Неужели они теперь действительно какие-то другие?

"О! Да я — как Люсенька!" — подумала Валентина и рассмеялась, представив себе Люсенькино честное негодование против нынешней распушенности.

\* \* \*

Валентина все реже вспоминала девочку. То ли потому, что время прошло, то ли потому, что девочку, наконец, похоронили. Тетка Клавдии Алексеевны случайно присут-

ствовала на похоронах. "Такие похороны! Вся школа, где она училась, пришла! Цветов — море! Родители такие положительные! Мать считает, что это изнасилование. У нее..."

Или потому, что Павлик был рядом. Смотрел на все трезво, не давал разыгрываться фантазиям. "Ну хорошо. Пойдешь ты к следователю. И что скажешь? "Какая-то девочка зло на меня посмотрела". Что им это даст? Чем это полезнее показаний Раисы?"

Подруга Раисы слово не сдержала. Раиса получила повестку из прокуратуры. Там она все рассказала, но прибавила, что твердой уверенности у нее нет. Тем и кончилось. Подруга была предана анафеме.

А ко всему навалилось множество собственных проблем. Выяснилось, что на бабушкину квартиру претендовали Лихачев и Терещенко. И у того, и у другого семьи были маленькие, и капитальный ремонт давал единственную возможность расширить площадь.

— Куда мне против них, — устало разводила руками бабушка. — Один — полковник, другой заведует кафедрой в институте. Я бы уже сдалась. Пусть бы уже мы пошли в двухкомнатную квартиру, квартира как раз очень хорошая. И я в конце концов не вечная... Но там же совершенно негодное для работы освещение! И потом, как только Валечку примут в Союз, она хочет родить ребенка. (Это был самый больной вопрос в семье. Врачи не советовали Валентине рожать. Да и Павлик боялся, но Валентина знала, что он ребенка хочет.) А Вика? Ведь совсем не исключено, что Вика вернется домой.

Бабушка за Вику очень боялась. Звонила ей без конца и просила хоть работу оставить. Вдруг выяснится! Но Вика отвечала, что следователям, которые занимаются убийством, нет никакого дела до ее прописки. Павлик считал, что Вика совершенно права, но и он немного струсил, когда достал из почтового ящика четыре повестки. Одна из них была выписана на Вику.

Явиться следовало через два дня, и бабушка хотела

вызвать Вику из Москвы. Но сама рассудила, что та не приедет.

— Надо хоть позвонить ей и договориться, что она будет отвечать, если ее там вызовут, — бабушка ходила по дому подавленная, рассеянная, даже волосы почему-то растрепались. — Я им сказала, что она на Новый год поехала к матери, в Алма-Ату. Давайте будем говорить, что оттуда она уехала к подруге в Москву. А когда вернется, сразу явится в милицию. Если мы увидим, что это необходимо, мы ее вызовем.

— Ну что вы так беспокоитесь, Екатерина Андреевна? Она не представляет для следствия никакого интереса, ведь ее здесь в то время не было, а это для них — главное. — Павлик пытался погасить панику, но ничто не помогало.

Валентина торопила время: что угодно — лишь бы скорее кончилось. Она и сама не понимала, почему так боится. Все сходилось на бабушке: только бы с ней ничего не случилось. Хотела ехать с бабушкой в прокуратуру (ей назначили на одиннадцать, а Валентине с Павлом — на три), но бабушка отказалась. Валентина ждала ее на балконе. Дрожали колени, болело сердце, непрерывно, будто там застряла острая косточка, но Валентина не стала ничего принимать, хотя все это бабушке не могло помочь. Так и стояла, пока бабушка не появилась на дорожке перед домом.

— Да ничего, знаете, особого не спрашивали. Спросили Викин адрес. Я сказала, что не знаю его. Вот и все. Одно меня беспокоит: они спросили, не слышала ли я ничего особого в ту ночь. Я сказала, что нет. А я слыхала какой-то стук, вроде забивали что-то. А сейчас я думаю: может, это стучали в нашу дверь. Я уже спрашивала у всех соседей. Все говорят, что никто в дверь не стучал. А они бы скорей слышали, чем мы. В первую очередь должна была услышать Люба и Женя с Гариком. Они тем более поздно ложатся... А теперь мне как-то не по себе.

— Ну что вы, бабуля! Мы с Павликом тоже слышали. Это бетон шлямбуром пробивали где-то над нами. На-

верно, милиционер, который въехал в квартиру Варламовой. Что они там никак не устроятся? Не мешало бы попросить их хоть после одиннадцати не стучать. Ну, мы пошли.

— Да, не задерживайтесь, дети. Не надо опаздывать.

\* \* \*

— Ну вот, видишь, трусиха?

Валентине казалось, что она впервые вышла из дому после долгой болезни. Было очень солнечно, легко. Кое-где из-под обсосанных останков льда выбивалась первая травка. Павлик шел рядом, так непривычно, в будний день... Они долго и весело искали прокуратуру. Это оказалось скромное помещение со скромной вывеской. Только очутившись в длинном коридоре с обитыми кожей дверьми, они снова вспомнили, зачем сюда шли.

Следователь был занят. Он говорил по телефону, и в коридоре было все слышно.

— ...а я тебе повторяю: не было ничего! Никакой царяпины, — сердился следователь. — Ты же знаешь, как они обращаются с трупами... Да... Да... Есть еще один Витя... Нет. Не тот, — в голосе почувствовалась ухмылка. — Это другой. Она с ним ездила в Чернигов.

Наконец он выглянул в коридор.

— Вы ко мне? Проходите, пожалуйста, но по одному.

Валентина осталась в коридоре. В кабинете говорили тихо, нельзя было разобрать, о чем. Потом подсел старичок с заявлением на собственного сына. "Вы поймите, полгода прошло, а он и не думает устраиваться на работу! Чем это кончится? А я вам скажу: тюрь-мой!" Потом у входа резко затормозила машина, вошли два милиционера и один, маленький, в штатском. Он забегал по кабинетам, раскричался. "С кем мне прикажете ехать?! На Варшавской — труп, на Малиновского — труп! А у вас один дежурный! Возмутительно!"

Следователь вышел вместе с Павлом. Застегнул на ходу пальто, неловко развел руками.



— Вот, видите, какая работа. Ничего не поделаешь, надо ехать. А вы, пожалуйста, приходите завтра прямо с утра, документ я выпишу.

"Знаешь, сколько таких случаев происходит каждый день?" — вспомнились давние слова Павла.

Валентина видела, что и он думает об этом же. Они возвращались домой в сумерках. Город казался чужим и холодным, полным безвыходных тупиков и коварных теней.

— Между прочим, у меня тоже спросили адрес. А я его, совершенно честно, не знаю.

— Ну и что?

— Сказал, чтобы у тебя узнали.

— Да что тут скрывать, все равно найдут ее, если это нужно.

\* \* \*

Но адрес у Валентины не спросили. Следователь (молодой, интеллигентный, красивый — как в кино) извинился перед Валентиной, снова задал те же вопросы, на которые Валентина уже много раз отвечала.

— Не слышали ли вы в ту ночь ничего подозрительного?

— Нет. Хотя в ту ночь долго не могла заснуть... Знаете, у нас район очень шумный. (Он криво усмехнулся и покачал головой: "Бывшая Халявка...") И никто уже ни на что не обращает внимания. Особенно в нашем доме. Одни вселяются, другие выселяются, вечный тарарам.

— В котором часу примерно, вы заснули?

— Не знаю, даже приблизительно не знаю. Когда не спишь, время так тянется...

— А вы нигде не сталкивались с пострадавшей?

— Нет, — ответила Валентина. — Где же мы могли встречаться?

— Ну, по работе, ведь она же училась на художника.

— Знаете, у нас в союзе только в секции монументальной живописи числится шестьсот человек... И потом, художники держатся как бы кругами... Как касты... В

более высокий круг проникнуть трудно. Почти невозможно. А она ведь была студентка, первокурсница, почти ребенок...

— Ну, не скажите! — Под светлыми усами мелькнула снисходительная улыбка. — Семнадцать лет — сейчас это не ребенок. Кстати, а вы к какому кругу относитесь?

— Я? Не к самому высокому, — улыбнулась Валентина.

— Почему так? — высоко поднял брови следователь.

— Да разные причины... Болею много...

— Это плохо, — почти серьезно заметил он, — мужчины этого не любят.

— Ну почему же! Есть любители.

— А в этом что-то есть! — засмеялся следователь. Задумчиво помолчал, глядя прямо на Валентину. — Кстати, соседи по дому ничего не говорят между собой? Может, ходят какие-то слухи?

— Ходят, конечно, но, по-моему, это то, что люди узнают здесь. (Он закивал.) Одна старуха возле морга говорила с матерью девочки. Та считает, что это изнасилование.

Он досадливо покачал головой.

— Это совсем не доказано.

— Еще говорят, какая-то женщина слышала, как она упала...

— Да-да. Это слышали пять человек.

Он дал ей прочесть протокол. Протокол был очень краткий, и поэтому удивила приведенная полностью фраза: "...не слышала ничего подозрительного, хотя долго не могла заснуть."

\* \* \*

— Что же тут странного? Они должны закрыть дело. Все. Конец.

— Значит, правду никто не узнает.

— Ну, кто-то знает ее.

— Вот это и страшно: убил и живет себе, не подает вида. Время пройдет, он успокоится, все забудет.

— Почему ты, Валюша, считаешь, что это обязательно убийца? Может, хороший знакомый, встретились в троллейбусе, пригласил к себе, снежная ночь, тихая музыка... Короче, он заснул, счастливый, а она пошла и сбросилась с балкона.

— Но ведь экспертиза...

— Не знаю, откуда твои сведения, а по моим — ее друг Витя сознался, что жил с ней с восьмого класса...

— Откуда ты знаешь? Неужели следователь сказал?!

— Какая разница? Что ты?! Что с тобой?!

Улица накренилась и поплыла перед глазами Валентины. Грубые руки в резиновых перчатках потащили ее тело и бросили на кучу голых задубевших тел...

— Ну что ты, что ты, цыпленок!

Он крепко держал ее обеими руками. Руки дрожали, и в глазах было то же неприятное заискивание, которое когда-то оттолкнуло ее.

— Ничего. Просто, когда побываешь в этом заведении, становится страшно жить.

— Да господи! Что же страшного? Ах, вчера-а... Так там не было никакого убийства. Это две одинокие старушки. Померли в положенный срок. Соседи их обнаружили. В таких случаях эксперт и следователь должны дать заключение. Они вернулись меньше, чем через час.

— А это кто тебе сказал?

— Это — следователь. Он, кстати, отличный парень и умница.

— Что же он тебе такого умного сказал?

— Сказал, что жена у меня красивая. А давай-ка мы махнем куда-нибудь. Ну хоть в кино!

— Нет, Павлик. Не надо оставлять сегодня бабушку.

— По-моему, она уже в порядке. Ты это здорово придумала. Про шлямбур.

— Как — придумала? — Валентина остановилась.

— А разве ты в самом деле слышала?

— Конечно. И ты слышал. Я же тебя разбудила!

— Ничего не помню, — виновато заморгал Павлик. — Я, наверное, спал.

Ну да. Конечно! Это часто случалось: он отвечал вполне вразумительно, не просыпаясь при этом. А она-то! Ведь и ей тогда пришло в голову: не стучат ли в дверь. Это длилось несносно долго, она не выдержала и разбудила его. "Мне кажется, кто-то стучит в дверь." Он приподнялся на локте, прислушался. "Нет. Это наверху выбивают в стене дырку под шуруп. Нашли время, свиньи."

\* \* \*

— Господи! Если бы я тогда встала и открыла дверь! И знала бы сейчас, что там действительно никого не было!

— Ты пойми, — горячился Павлик, — если бы за ней гнались, разве стала бы она стучать так нудно и деликатно?! Разве не естественнее было позвонить в один из семи звонков?! Или во все сразу!

— А может, она ползла? Не могла уже подняться...

— А потом обратно уползла и легла в лужу собственной крови? Или заползла на пятый этаж и оттуда сбросилась?

— Почему ты кричишь на меня?

— Я не кричу, — ответил он, — я боюсь за тебя. Ты как будто помешалась на этом.

\* \* \*

Каждый раз, когда где-нибудь стучали в стену, он звал ее и спрашивал:

— Ну что? Похоже?

Звук был точно такой же. На какое-то время она успокаивалась. Павел даже провел "эксперимент": она сидела в своей комнате, а он стучался в дверь. По-разному. Тихе, громче. Ничего общего! Звук всегда получался очень характерный — дребезжащий.

А время шло. В старом доме кончился ремонт. Поскольку на бабушкину квартиру было два неразрешимо сильных претендента, решили, что преимущество на стороне прежних жильцов.

Но за всеми этими радостями, разочарованиями и хло-

потоми ничто не забывалось. К тому же летом Валентина случайно узнала, что девочка училась в той же студии, что и она. Валентина изредка заходила к своему старому учителю. Мало кто из бывших учеников поддерживал с ним отношения. К концу обучения студийцам обычно становилось ясно, что Захар Николаевич не может подготовить в институт, и они искали себе других учителей. Это означало скандальный разрыв с Захаром. Но Валентина любила и жалела его, ей удалось скрыть свою "измену". Видно, и девочке это удалось. Захар ничего не знал о студии Метростроя...

— "Мы — худо-о-жники!" — возмущался Захар. — Подумаешь! Сессию сдали! Отправились праздновать! Велика важность! А девчонку проводить никто не додумался! "Иди, будь здорова!" Вот скажи, Валя, разве возможно было такое в твоё время?

Двадцать головок повернулись к Валентине. Им было по пятнадцать-шестнадцать. И "время Валентины" было для них далеким-далеким.

— Нет, — улыбнулась Валентина.

Она подумала о том, что никак не могла встретиться здесь с этой девочкой: когда она кончала студию, Лена Сергеенко только родилась.

И не она тогда смотрела на Валентину, поднимаясь по лестнице.

Не было никакого стука в дверь.

Но от этого уже не избавиться. В черном провале ночи вьется спиралью серая снежная пыль, девочка стоит под чужой дверью...



Людмила УЛИЦКАЯ

## ВЕТРЯНАЯ ОСПА

На добротный и широкоплечий американский сундук с металлическими скобами и ручками в торцах девочки побросали потертые на задах ледяными горками шубы, скукоженные варежки и мокрые рейтузы. Одежда их вымокла и заледенела, пока шли они от школы к Алениному переулку: через два проходных двора, мимо барачного городка с нежным китайским именем Шанхай и крашеной полуразрушенной церкви.

Дорогой немного поиграли, дважды поссорились. Гордая Пирожкова обиделась и ушла, толстая Плишкина побежала ее возвращать и тоже исчезла. Их подождали минут пять в Аленином дворе, но так и не дождавшись, вошли в подъезд.

Дом был во всем районе лучшим, с башенками на углах крыши и с лифтом. Впятером девочки набились в лифт, потоптали, попрыгали, и он отозвался чугунным вздрогом.

Бедная Кольванова, жительница Шанхая, окоченела от страха: в лифте она оказалась первый раз в жизни. Гайка

Оганесян, обещавшая стать со временем восточной красавицей, нажала на белую выпуклую кнопку "6", а ее сестра-близнец Вика, красавицей стать вовсе не обещавшая, через мгновение нажала на кнопку "стоп", и лифт, грузно поднявшись на полметра, остановился. Глаза у Колывановой выпучились и стали похожи на эмалированные кнопки с черными цифрами в середине.

Гайка весело взвизгнула. Лиля Жижморская, по прозвищу Жижя, потянулась к табло, но Вика ее оттолкнула. Челышева Маша расстегнула портфель, — она сегодня была дежурной и потому не успела зайти домой, — вытащила из портфеля чернильный карандаш и деловито помусолила его во рту. Пока возле кнопок шла ватно-тяжелая зимняя возня, она маленькими кривыми буквами выводила на деревянной раме зеркала ужасное слово из пяти букв, которое до конце своей жизни ни разу не произнесла вслух. Слово это представлялось ей противно-коричневым, с бездонным провалом посередине и похожим на вывернутую наизнанку клизму.

Колыванова, научившаяся произносить его вскоре после слова "мама," и знакомая со многими другими словами, изумленно сморгнула.

Она, конечно, не знала, что приглашена была в гости исключительно благодаря всплеску демократизма, случившегося у Алениной матери при обсуждении списка гостей дочери. Дипломатическая мама неожиданно для себя обнаружила, что теория равенства и братства, последовательно прививаемая ребенку с рождения, просла непредусмотренными плодами: Алена исключительно тонко оценила имущественное равенство нескольких обеспеченных девочек из класса и именно их избрала для братского общения в этот вечер.

Алена получила соответствующее внушение, и в число приглашенных по родительскому настоянию была включена бедная Колыванова.

Пока девочки возились в лифте, Алена, уткнувшись носом в подушку, тихо лежала в алькове, на широченной

родительской кровати, отделенной от мира плотно задвинутой шторой.

Русская девочка Алена Седых родилась в стерильной клинике в Вашингтоне, где во время войны исправлял дипломатическую службу ее отец. Хорошая сибирская порода отца, качественное детское питание и гигиенически-правильное воспитание, без российского расслабляющего кутания и баловства, сделали из Алены идеального ребенка: с густыми блестящими волосами, крепкими белыми зубами и чистой розовой кожей. Россыпь веснушек поперек курносого носа и неизвестно почему по-американски выпирающие зубы, не подправленные еще корректирующей пластинкой, были последними штрихами этой американизации.

Веселая и здоровая девочка Алена плакала, отчаявшись дожидаться своих вероломных гостей. Елка была густо увешана сказочными игрушками, стол был накрыт на восемь персон, под каждой тарелкой лежала бумажная салфетка с Микки-маусом, еще не известным в здешних широтах зверем, а на тарелках лежали подарки, завернутые в бумажки большой красоты.

Гости приглашены были на четыре. Но часы уже показывали начало шестого, и Алене ясней ясного было, что никакого праздника не состоится, — и потому галдеж на лестничной площадке и неугасающая трель звонка показались ей голосом счастья. Она вскочила с кровати, подтянула съехавшие белые носки-гольф с кисточками, расправила бордовое бархатное платье, купленное когда-то матерью впрок с многолетним запасом, а теперь уже тесное, и побежала открывать.

Все девочки, кроме Тани Колывановой, уже бывали в этом волшебном замке в виде отдельной двухкомнатной квартиры, в которой одна комната была таинственно и неизменно заперта, что придавало этому жилью еще больше привлекательности. Можно было только гадать, что же хранится в той, запертой, если жилия была переполнена нездешними драгоценностями: морскими ракушками, игрушками из перьев и цветного стекла — бесхит-

ростный выбор железнодорожного рабочего, вынесенного социальным ветром в дипломатическую службу.

Девочки, озираясь, топтались возле стола.

Сестры Оганесян еще возились в прихожей возле сундука, потому что из четырех туфелек, уложенных бабушкой в хозяйственную сумку, осталось почему-то только три. Гайка ожесточенно трясла пустую сумку в надежде вытряхнуть четвертую недостающую, а Вика торопливо застегивала пряжки, чтобы таким образом право на потерявшуюся туфельку полностью оставалось за сестрой.

Так и вошли они в комнату в трех туфлях на двоих, и девочки покатались со смеху.

— Там, в бумажках, всем подарки. Где кто сядет, то и берет, — объявила Алена.

По размеру сверточки были не больше спичечной коробки, все почти одинаковые, но обертки разноцветные, красные, золотые, и перевязаны были цветными шнурками, тоже необыкновенными — пестрыми и шелковистожесткими. Внутри тоже оказалась не чепуха: пластмассовые брошки, все разные, только сестрам Оганесян, Гайке с Викторией, достались одинаковые — гном в красном колпачке с корзиной за спиной. Еще была Красная Шапочка, принцесса, корзинка с цветами и лебедь в короне. Колыванова получила самое лучшее — белого ангелка с золотыми крыльями. А два подарка остались нераскрытыми, пирожковский и плишкинский. Все хотели их раскрыть, но Алена не разрешила.

Девочки проткнули себя длинными булавками, к которым были припаяны эти чудеса, и стали усаживаться за стол. Угощение было почти совсем обыкновенным: бутерброды, пирожные, ваза с домашним печеньем. Но вилочки, двузубые пластмассовые вилочки, торчали из желтых сырных и розовых колбасных спинок бутербродов, и это было невиданно шикарно. И лимонадом грушевым весь подоконник был заставлен.

— Ален, а вилочку можно взять? — поинтересовалась Вика Оганесян.

Всем про это хотелось спросить, но остальные не решились.

— Не знаю, — растерялась Алена, — это надо у мамы спросить.

— Я только одну, красненькую, — попросила Вика.

— Ты бессовестная, ужас просто, — шепнула Гайка на ухо сестре.

Голодной была только Маша Чельшева. У нее на тарелке лежало множество вилочек, а она все тягала и тягала. Колыванова голодной не была, но ей тоже хотелось, чтобы разноцветные вилочки лежали у нее на тарелке, да она стеснялась брать. Стеснялась она также своего большого роста, больших материнских ботинок, чулок с заплатами, красной сестриной юбки, которую сама же долго выпрашивала, и, главное, всегдашнее — своей заячьей губы, хотя порок этот был слабо выражен, почти незаметен. Так и лежала у нее на тарелке только обертка от подарка. Ангелка же она приколола к ковбойке и придерживала на всякий случай, чтоб не потерялся.

— Она сейчас вилочку проглотит! — закричала Вика, указывая на Чельшеву, обкусывающую по краю бутерброд. Голову Маша наклонила так низко, что русые косички с распутившимися лентами лежали в тарелке.

Вика схватила вилочки с ее тарелки и засунула все черенки в рот, так что наружу торчали разноцветные зубья.

— Как ты себя ведешь, бессовестная, — громко зашептала Гайка. — А тебе какое дело, мне так родина велела! — шепеляво ответила Вика, и все снова покатались со смеху.

Не смеялась только Лиля Жижморская. У нее между форменным платьем и фартуком лежал сюрприз, и она терпеливо ждала подходящей минуты. Ей казалось, что минута эта настала уже, и она нащупывала пальцами пачечку, но в это время Вика вылезла из-за стола и вытащила из алькова, с многоспальной кровати, большого нежного мишку — узкоплечего, с толстым задом и волнисто-плюшевым телом.

— Это Тедди, — сказала Алена.

— Точь-в-точь дядя Федя, — немедленно отозвалась Вика.

И опять все засмеялись. Он и впрямь своей похожей на грушу фигурой и высунутой вперед мордой смахивал на школьного дворника дядю Федю.

Всем было по десять, только Колывановой исполнилось одиннадцать, и они по обязанности своего зрелого возраста вынужденно расставались со своими куклами. Новые, книжно-школьные обстоятельства превращали кукольную игру во что-то детское и постыдное, требующее укрытия. Хотя бы под ночным одеялом. Даже у серьезной Жижморской была такая подподушечная куколка, которую она по утрам прятала на книжную полку, за учебники. Одна только Вика, страстная душа, влюбленная в каждое свое ежеминутное желание, ничего не стеснялась. Она усадила медведя на колени, прижала к боку и сладким голосом начала его уговаривать:

— Еще ложечку, мишенька! За маму! За папу! И, не выдерживая роли, сбивая обряд кормления в потеху, добавила: "За всех мишек в зоопарке!"

Глаза у них с мишкой были совершенно одинаковые: коричневые, пуговично-блестящие, с нежной розовой обводкой.

Хозяйка же, не стерпев искушения, уже вытягивала из ящика раздвижного дивана целую труппу разнокалиберных фигуранток. Алена уже несколько месяцев к ним не заглядывала и испытала теперь мгновенную сладость встречи с Элис, Кити, Бетси, Джун, американскими красотками, уже двинувшимися в том опасном направлении, где спустя несколько десятилетий их ждала окончательная смерть в виде миллионной армии Барби, похожих между собой, как стурублевки.

Гайка впиалась в длиннокудрую Бетси. Вика, безжалостно бросив медведя, ухватила себе чернокожую Джун, пламенный ротик которой был завлекательно приоткрыт, и оттуда, из красной глубины, мерцали настоящие фарфоровые зубки.

На колени Колывановой великодушная Алена положила младенческую Кити в ползунках, с болтающейся впереди настоящей пустышкой.

Жижморская и Чельшева деликатно, но настойчиво тянули каждая в свою сторону длинноногую Элис, и та совсем по-человечески мотала льняным хвостом, завязанным на маковке...

Алена отобрала у них Элис, свою излюбленную старшую дочку, и вынула из прямоугольной диванной темноты еще двух кукол, кудрявую барышню в пелерине и куклу-мальчика в матроске, в совсем настоящих кожаных ботиночках на пуговицах. Эта пара была так небесно-прекрасна, что до них и дотронуться было страшно.

— Мама мне их никогда не давала, — сказала Алена. — Говорит, это семейная лериквия, а не игрушка.

Алена иногда путала трудные слова.

Девочки склонились над лежащей на краю кровати парочкой и осторожно потрогали шелковистые волосы барышни, кожаные ботиночки мальчика. Глаза у них, лежащих, были закрыты, но не плотно.

— Ресницы моя мама им подрезала, когда была маленькая, — сообщила Алена. — Маме было обидно, что они слишком уж длинные.

От этих слов девочки притихли и даже трогать кукол расхотелось. Посреди задумчивой тишины раздался вдруг звонок в дверь.

— Мама ваша, — в тихом ужасе прошептала Колыванова.

Алена пожала плечами:

— Нет, это не мама. Они сегодня поздно придут, у них вечер в министерстве.

Действительно, пришли Пирожкова с Плишкиной. Толстая Плишкина все-таки уговорила Пирожкову и сияла теперь ангельски-дебильной улыбкой, и пухлые щеки ее промялись глубокими ямочками.

Гордая Пирожкова, младший отпрыск знаменитой цирковой семьи, давно уже запущенная в семейную стезю

акробатики, небрежно взяла Счастливику и сказала равнодушным голосом:

- У меня такой же есть.
- "Врет!" — подумали все.
- Врешь! — сказала Вика.

Только что они были готовы тронуться в стройно-вымышленную жизнь, но теперь играть почему-то расхотелось.

Это и была та минута, когда Жижка достала свой сюрприз и торжественно произнесла:

- Смотрите, что у меня есть!

Сначала показалось, что ничего особенного. Это был всего-навсего набор довольно старых открыток. Жижка разложила их на на покрывале, и девочки встали на колени перед кроватью, чтобы их рассмотреть. Из лиловых и желтых одежд выглядывали длинноносые красавицы с почти сросшимися глазами под одной, с изгибом над переносицей, бровью.

Одна танцевала, другая любовалась своим отражением в круглом бронзовом зеркале; две обнимались, сплетая ошарованные ноги. Впрочем, возможно, одна из них была мужчиной, но это, вообще, значения не имело.

Всё на этих наивных картинках взаимно любило и ласкало, всякое прикосновение рождало наслаждение: шелка к коже, пальцев к кувшину, веера к воздуху, и это любовное притяжение материи, как жар от печи, изливалось наружу, пронзив девочек новизной и требуя от них чего-то, а чего именно — неизвестно.

— Сейчас! Сейчас! Я знаю! У меня есть! — догадалась Алена и понеслась, скользя на плоскодонных кожаных подошвах в коридор, к сундуку, заваленному густо-воняющей мокрой шерстью и мехом.

Она сбросила всю эту гору на пол и маленькими пальцами с глубоко обрезанными ногтями стала отковыривать глухую плоскую защелку сундука, с трудом подняла крышку, и на всех повеяло сладким нафталиновым духом. Ворох пожелтевших иностранных газет лежал сверху. Але-

на сбросила их и нырнула в сундук, сверкнув ярко-белыми трусиками.

Она вынимала распластанные вещи одну за другой: черное бархатное платье с вышитым как будто рыбьей чешуей лифом, еще одно вечернее платье с гербарным букетом у сердцевидного выреза и целую кучу шелка: бледно-табачное кимоно в багровых хризантемах, еще кимоно и целый выводок шелковых пижам фантастических для этих широт оттенков.

Девочки с благоговейной осторожностью передавали с рук на руки эту драгоценную шелуху, вышедшие из моды дипломатические туалеты жены, чувствовавшей себя комфортно исключительно в темно-синем бостоновом костюме, с его добротной двубортностью.

Сам дипработник, влюбленный в жену и исполненный нескончаемой благодарности за то неопишное счастье, которое он ежевечерне находил, возвращаясь домой, щедро заваливал ее в те американские годы недорогими американскими туалетами. Жена благосклонно принимала их. Эту материализованную благодарность и восхищение давних лет раскладывали теперь десятилетние девочки на счастливом супружеском ложе, меж прекрасных, немецкой печати, репродукций поздней иранской живописи.

— Я надена вот то, красное, — решительно сказала Вика и стала натягивать поверх клетчатого байкового платья пунцовую тунику в хищных золотых цветах, — и буду вот той! — ткнула она пальцем в облюбованную картинку.

— Да ты платье-то сними, — посоветовала Гайка, и Вика стянула с себя серо-коричневую клетку.

Исподнее девочек тех лет было придумано врагом рода человеческого. На короткие рубашечки надевался сиротский лифчик с большими, в данном случае желтыми, пуговицами. К лифчику крепились две ерзающие резинки, которые пристегивались к коротким чулкам, впивающимся в плотные Викины ноги уже под коленками. На все это надевали просторные штаны, именуемые не по чину "трико", и вся эта сбруя имела обыкновение впиваться, на-

тирать красные отметины на нежных местах и лопаться при резком движении. Белые взрослых женщин в ту пору мало чем отличалось и должно было, вероятно, гарантировать целомудрие нации.

— Быстро все переодеваемся! — приказала Алена и, заломив руки за спину, растянула трудные мелкие пуговицы, увязающие в еще более мелких петлях.

Ира Пирожкова проворно выскочила из скучной одежды и, сверкнув мускулистой спиной, сунула ноги в широкие рукава черно-полосатой пижамы и с цирковой лихостью плотно обмотала ткань вокруг мальчишеских бедер. Представленная двумя бледными прыщиками будущая грудь требовала достойного прикрытия, и глаза ее под длинной челкой заметались в поисках подходящего предмета.

Челышева, растягивая коричневое форменное платье, шевелила лисьим носиком с острым подвижным кончиком, прикидывая, что бы ей выбрать, и ее просыпающееся чутье безошибочно остановилось на бледно-табачном.

Колыванова, опустив тяжелые руки, стояла столбом посреди комнаты, осмысливая заманчивое и пугающее предложение.

Лиля Жижморская меланхолически стягивала плотный резинчатый чулок и все поглядывала на открытку со змееупорным старцем. Слабый режиссерский позыв шевельнулся в ней:

— А Плишкина пусть будет волшебником!

Алена возмутилась:

— Какая Плишкина? При чем тут Плишкина? Волшебником будет Колыванова, она самая длинная!

Это прозвучало убедительно, но Колыванова, держась большой красной юбки, полыхала смущением и никак не могла решиться.

Кукол отодвинули. Та, прежняя игра, едва тронувшись, увяла. Разложенные по краю кровати открытки приглашали к новой. Акт переодевания был уже состоявшимся прологом, но условия были неизвестны, наступила заминка.

Жижа, все еще в одном чулке, некрасиво выглядыва-

ющем из-под сладко-розового шелка, обернулась к книжному шкафу и прицелилась обещающим близорукостью взглядом в корешки.

С Колывановой содрали юбку и напялили сине-зеленый халат с большим горящим драконом на спине. На голову ей надели меховую ушанку Алениного отца, обмотав ее оранжевой пижамой и елочной канителью. Малиновые пижамные штаны, преобразованные в шальвары, выглядывали из-под халата. Неподвижно и величественно стояла Колыванова, пока Алена рисовала ей усы и бороду, макая тонкую кисточку в фарфоровые квадраты с жирной мягкой краской, изъятая из материнского туалетного стола. Усы получились, а борода не удалась. Пришлось прилепить к подбородку кусок новогодней ваты.

Все завертелось пестро и стремительно, и само время, дрогнув, отступило. Прижимая к животу толстую большеформатную книгу в картонно-жидком переплете, Жижа выскользнула из комнаты и приткнулась в кухне, на табурете, уютно уложив под зад голую ногу.

Книга раскрылась на случайном месте, и Лиля прочла: "Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный..." Ей понравилось.

Вслед ей из комнаты выплеснулось немного скрипучей патефонной музыки, но Лиля уже ничего не слышала.

Растопырившую острые колени Колыванову усадили на кровати. Она сидела болван болваном. Вата лезла в рот, головное сооружение валилось то на одну сторону, то на другую, и от него было жарко. Пирожкова стояла над ней с голым животом и делала какие-то цирковые движения, которые еще не были танцем, но собирались им стать.

Сестры Оганесян распустили свои конского волоса косы, окончательно зачернили могучие армянские брови и покрасили густо-кровавым рты.

Вика сверилась с открыткой, заключительным движением провела бордовые жирные стрелы от наружных углов глаз к вискам и твердо сказала:



— Ты, Ир, танцуй, ты, Колыванова, сиди, а мы будем жених и невеста.

— Ты дуручка, что ли? — добродушно удивилась Плюшкина. — Кто невеста, тот в белом платье.

Пирожкова уже растанцевалась: выламывала крылышки, задирала свои куриные ноги выше головы и не обращала никакого внимания на интересную дискуссию.

— Тебе нравится, ты и надевай белое, а мы так будем. Ты что, не понимаешь, здесь же все турецкое! — объяснила снисходительно Чельшева.

При слове "турецкое" Гайка с Викторией переглянулись: про турецкое они кое-что слышали, и то было дело нешуточное, а страшное и тайно-домашнее, о чем с чужими не говорят.

Плюшкиной все-таки была выдана белая простыня — в сундуке не нашлось ничего белого, кроме двух теннисных юбок такого размера, какой Плюшкиной никогда не суждено было носить.

Невест, следовательно, образовалось три, да и Алена уже стягивала за подол расшитое платье, чтобы надеть что-нибудь невестинское.

— Ален, ты что? — забеспокоилась Чельшева. — Ты посчитай, сколько невест получается? Четыре, да? А женихов? Я и Пирожкова, два!

— Я не буду женихом, я танцовщица! — крутя подбородком и выворачивая кисти, бросила Пирожкова. Дед ее, воспитатель и тренер, не только веревчато-крепкие мышцы ей нарастил, но и в характер ей вплел такие нити, что любое дело она делала насмерть, дотла, до полного уничтожения. Вот и теперь она раскручивала свое тело, чтобы принять ту позу, которую держала девица на открытке и к которой она все приближалась, но не окончательно. Особенно не получались именно кисти рук.

— Что же я, одна на всех жениться буду? — возмутилась Чельшева.

— Пусть, пусть, даже хорошо, — обрадовалась Алена, отпуская тяжелый подол. — Колыванова будет отец-шах,

я шахиня, а они дочери, три сестры и невесты, и мы их разом за одного жениха и выдадим.

Вид у Алены был такой довольный, как будто она первой контрольную по математике написала.

— Нет, вы как хотите, а я так не хочу, я хочу себе отдельного мужа, — разрушила Вика Оганесян стройный Аленин замысел.

— Да ведь все равно, Вик, играем же, — с глупой улыбкой пыталась всех умиротворить Плюшкина.

— Раз тебе все равно, вот и будь женихом, а не невестой! — живо отреагировала Вика.

— Хорошо, — легко согласилась Плюшкина и стала стаскивать обмотанную вокруг цилиндрического туловища с толстенькими бесполоыми грудными складками простыню. — Я могу и женихом, пожалуйста.

— Отлично! — обрадовалась Вика. — Мой жених будет Чельшева, а Гайкин — Плюшкина!

Все уже почти сладилось, но Гайка, которая все искоса ловила в большом зеркале свое отражение в профиль, неожиданно взбунтовалась:

— Нетушки! Машка Чельшева будет мой жених, а ты бери себе Плюшкину!

— То есть как? — изумилась Вика.

— А так... — Гайка влажным взглядом посмотрела на сестру. — Я не хочу Плюшкину.

— Это почему же? — угрожающе спросила Вика.

— Не хочу, — кротко, но окончательно заявила Гайка. — Сама бери себе Плюшкину.

Плюшкина замерла с простыней. Алена сосредоточенно занималась спадающей на нос диадемой. Страшное предчувствие коснулось Вики. Горло ее сжалось так сильно, что пришлось несколько раз глотнуть, чтобы прошло это ощущение замыкания и тесноты. Тень будущего упала в сегодняшнее существование, и тень эта была ужасна: у Гайки оказались какие-то дополнительные права, по которым она без усилий будет получать от жизни то, что Вика должна будет вырывать с боем...

— Нет, — твердо сказала Вика. — Плишкина мне не нужна.

— Значит, как я сказала, — обрадовалась Алена. — Мы трех дочерей выдаем замуж за одного жениха. Зато он королевский сын и зовут его... Мухтар!

— Только не Мухтар! — засмеялась Чельшева. — У нас на даче овчарка Мухтар!

— Тигран, — хором воскликнули сестры Оганесян. Был у них троюродный брат в Тбилиси, бровастый, сероглазый, с сиреневым румянцем, просвечивающим сквозь тринадцатилетний пух.

— А мне чего делать? — робко спросила Колыванова, которой давно уже хотелось в уборную.

— А ты сиди. Я сейчас рядом с тобой сяду, — сказала Алена, и Колыванова, поерзав, снова замерла врозь коленями.

...Потом все опять сели за стол, разлили остатки грушевой воды, стали катать из фольги и цветных ниток обручальные кольца. Стройный жених с кухонным ножом за поясом держал в горсти целых три, чтобы оделить каждую из сестер, а невесты стояли у стола в затылок друг другу.

— Горько! — закричала истошно Алена. Все подхватили. Тигран обменялся кольцами с Викой, поцеловал ее и лихо вскинул стакан с лимонадом. Далее последовали Гайка и Плишкина. Три толстых кольца из фольги украсили мужественную руку жениха. И все же свадьба в общем прошла как-то неуверительно. Явно чего-то не хватало. Впрочем, и во взрослой жизни тех лет тоже отмечалась какая-то нехватка, заполнявшаяся обычно пьяным свадебным безобразием, выраставшим, как глухая крапива на пустоши.

Гайка же, не заметив незаполненного пространства, уже пеленала на кровати куклу Кити, по величине приближающуюся к натуральному младенцу.

— А теперь у меня будет как будто дочка! — объявила Гайка.

— Как же, дочка! Быстрая какая! — заметила скепти-

чески Колыванова-шах. — А это самое? — и она просунула указательный палец правой руки в колечко, сложенное большим и указательным левой.

Все замолчали.

— Что? — переспросила Гайка.

— Это самое, от чего дети бывают, — уточнила Колыванова, работая указательным пальцем правой руки в означенном направлении.

Неукротимая Пирожкова, как заведенная, все продолжала танцевать руками, но уже перешла в партер. Она лежала на полу, прижав ступни к затылку, и крутила кистями в надежде их все-таки вывернуть.

— Тань, — просительно, умоляюще сказала Гайка, всей душой надеясь, что ей удастся переубедить Колыванову. — Ну, женятся мужчина и женщина, и от этого дети бывают...

— Ты что, не знаешь? — Колыванова покрутила пальцем у виска. — Маленькая совсем, да?

— Единожды один — приехал господин, — эпически начала Колыванова, — дважды два — пришла его жена, трижды три — в комнату вошли, четырежды четыре — свет погасили...

— Да знаю я это, знаю, — перебила ее Гайка.

— Да ничего ты не знаешь, — сурово ответила Колыванова. Не так уж много чего она знала, но это уж она знала точно...

— Пятью пять — легли на кровать, шестью шесть — он ее за шерсть...

— Не надо, — попросила Гайка, но Колыванова жестоко продолжила:

— Семью семь — он ее совсем, восемью восемь — доктора просим, девятью девять — доктор едет, десятью десять — ребенок лезет! Поняла, да?

— Это когда... это называется... — забормотала пораженная догадкой Гайка. Алена была светским человеком и, почувствовав неловкость, сразу нашлась:

— Ты спроси у Лильки, как это называется. Она все знает.

Гайка, прижимая куклу к груди, пошла на кухню. Жиж сидела на табурете, уже поменяв ногу, так что болталась теперь голая, и зрочки ее быстро-быстро бегали по строчкам.

— Лиль, — тронула ее за плечо Гайка, — скажи, только честно, как называется, от чего дети родятся?

Жиж подняла отвлеченный взгляд, немного подумала и сказала очень серьезно, немного охрипшим голосом:

— Косинус! Бабушка ей все честно, по науке рассказала еще в прошлом году.

У Гайки стало легче на душе. Косинус — это все-таки косинус, а не то ужасно-ругательное заборное слово. Однако по дороге в комнату ее неприятно поразила мысль, что, пожалуй, и ее собственные родители, желая произвести их с Викой на свет, тоже делали этот косинус... Впрочем, может быть какой-то более приличный способ, о котором и Лилька не знает...

Она вошла, когда Чельшева, Плишкина и Вика барахтались втроем на кровати, изображая великий акт, а Кольванова, переминаясь с ноги на ногу и снисходительно улыбаясь, махала рукой и повторяла:

— Да не так, не так, и не похоже совсем! Ноги подымать надо!

...Училась Кольванова плохо, в школьной столовой сидела за отдельным столом, где кормили "бесплатников" дармовыми завтраками, форму ей покупал родительский комитет. И всегда у нее чего-то не хватало: то тапочек, то мешка для галош, то физкультурной формы. Последний, совсем последний человек была она в классе. И вдруг оказалось, что она знает о вещах взрослых и тайных, и знает как-то запросто, и таким бесстрашным ежедневным голосом об этом говорит. Из сонной верзилы-второгодницы она на глазах превращалась в очень значительную персону. Все смотрели на нее с выжидательным интересом. Но Кольвановой так хотелось в уборную, что она даже не могла оценить своего неожиданного взлета.

— А как, Тань? — спросила Вика, стоящая на четвереньках на кровати.

— Да здесь вообще не годится, — критически постучала та рукой по кровати. — Слишком широко. Надо, чтоб место было узкое и тесное. И темно.

— Так под столом же! — обрадовалась Плишкина.

Кольванова с сомнением подняла край скатерти, заглянув под стол.

— Две подушки надо, — наморщила она лоб. — Ну, и постлать там надо. И сверху чем прикрыть.

Организовали брачное ложе.

— Чур, я первая! — нетерпеливо подпрыгивая, закричала Плишкина.

Жених уже лежал в темном низком доме со стенами из шевелящихся сквозь скатерть полос света, движущихся ног и неподвижных ножек стола и черных стульев. Эта подстольная тьма обязывала его к чему-то страшному и таинственному.

А толстая Плишкина, сдвинув могучим плечом Алену вместе со стулом, шумно лезла под стол. Затолкавшись туда, она тихо хихикнула:

— Эй, жених, где ты?

Своим глупым хихиканьем она сбила все, и жениху пришлось перестроиться:

— Ползи, ползи сюда.

Невеста приползла и полезла обниматься. Она любила всякие объятия, касания и тайные телесные движения. Был у нее некий малый, но приятный опыт. Она обняла жениха, сразу стало тесно и душно.

— Давай по-настоящему поцелуемся, как в кино, — предложила Плишкина, — как дяденьки с тетеньками, — и подставила раскрытый рот прямо к носу жениха.

Он пытался вывернуться, но изгородь ног и ножек не выпускала, и ему пришлось приложиться сухо-обветренными зимними губами к горячему и мокрому Плишкинскому рту.

— Я сейчас покажу тебе, как сделать очень приятно. Так горячо, горячо, — пообещала Плишкина.

Пригнув голову, она села на низкую перекладину, задрала простыню и, положив одну толстую ногу на другую, указательным пальцем влезла в самую середину треугольничка.

— Дай руку, я тебе покажу! — зашептала на ухо Плишкина.

— Дура ты, — фыркнула Челышева. Она про этот номер и сама знала. Только не знала, что и другим он известен.

Плишкина немного поколыхалась, попытала и сказала обижено:

— Честное слово, я не вру: так хорошо там делается...

Но жених шарахнулся и выскользнул из-под стола. Плишкина, розовая и влажная, как испувавшийся поросенок, вылезла на поверхность.

— Гайка, полезай теперь ты! — пригласил жених, и Гайка, цепляясь широкими рукавами за спинки сразу двух стульев, нехотя полезла под стол. Жених протискивался с другой стороны.

— Это я, Тигран, — услышала Гайка хриплый шепот. И закрыла глаза. В прошлом году, в бабушкином саду в пригороде Тбилиси они играли с Викой, а Тигран, пришедший в гости вместе с их общей теткой, смотрел с высокой веранды в их сторону. Вика сказала сестре тихонько, не поворачивая головы: "Смотри, на нас смотрит".

Гайка лежала, сильно сжав веки. Он склонился над ней, опершись одной рукой о подушку возле ее головы и больно прижав прядь волос. Второй рукой он раздвигал колени.

Дыхание перехватило. Такой глубокий и полный ужас она испытывала только во сне; Тигран лег на нее сверху.

— Ты не бойся, тебе будет приятно и горячо, — прошептал он.

— Ты что, по правде? — ужаснулась Гайка. — Не надо, Тигран.

— Дура ты! Понарошке же! — засмеялась Челышева, и тут только Гайка поняла, что никакого Тиграна и не было. И она тоже засмеялась.

Бахрома приподнялась, и просунулось криво повернутое лицо Вики:

— Ну, давай скорее, моя же очередь! — торопила она.

Пока жених осваивал последнюю невесту, Алена деловито привязывала к Гайкиному животу, под лимонную пижаму, большую куклу.

— Так? — уточнила она у Кольвановой.

Кольванова кивнула.

— Ну все, сейчас обоссусь, — подумала в отчаянье Кольванова и, плотно сдвигая ноги, пошла к двери.

— Ты куда? — удивилась Алена.

— Домой, — лаконично ответила Кольванова, чувствуя, что у нее внутри все разрывается, отметив про себя, что хоть ковра-то она теперь не испортит.

— Еще не доиграли, — растерянно сказала Алена.

— Мамка заругает, — сумрачно ответила Кольванова, почти не разжимая губ. Ей казалось, что разожми она губы, так и польется. Спросить же, где уборная, ей и в голову не приходило.

— Самое интересное начинается, а ты... — разочарованно протянула Алена, огорченная потерей столь ценного эксперта.

Но Кольванова уже натягивала пальто, удачно оказавшееся поверх всей кучи. Шапка была в рукаве, а рукавицы и шарф она искать не стала. Оттянув легкий блестящий рычаг замка, она выскочила на площадку. Внизу урчал лифт. Наверху, полу-пролетом выше, была укромная тьма перед низкой чердачной дверью. Она поднялась туда и чувствуя, что уже опаздывает, стянула с себя штаны и надетые поверх жгуче-малиновые шаровары, присела, и в тот же миг из нее брызнул лимонад, химически низложенный, но не изменивший своего соломенно-желтого цвета.

— Сейчас поймают, — мелькнуло у нее, и она хотела остановить поток, но это оказалось невозможным. Ручеек из-под ее подбранного пальто стекал по лестнице вниз, намереваясь предательски излиться на нижнюю площадку, но замедлился и стал растекаться грушевидной лужи-

цей. Она проворно натянула штаны, обтерла ладонями мокрое от незамеченных слез лицо и, грохоча ботинками, понеслась вниз по лестнице. Переживая остатки волнения, едва не состоявшегося позора, она вприпрыжку бежала домой, где мать ее вовсе не ждала, поскольку вышла сегодня в ночную смену.

И только дома, под ошалелыми взглядами старшей сестры и трех младших братьев, она опомнилась, что убежала в чужом, а сестрина красная юбка и ее новая ковбойка с приколотым на груди ангелком остались у Алены.

Дома, в их узкой комнате с половиной окна, пахло керосином, старым ночным горшком и свежими пирогами, которые перед работой напекла мать, и было так хорошо и так плохо, что Кольванова бросилась на материнскую кровать, пережившую на Таниной памяти четырех отчимов, и, сверкая золотым драконом на сине-зеленой спине, громко заплакала в подушку...

...Беременные жены лежали поперек кровати и собирались рожать.

— Вика и Плишка пусть мальчишек родят, а Гайка девочку, — высказал пожелание муж, но Алена неожиданно грубо отшила его:

— А ты иди коляску покупай, вот что!

— Ты что, я же принц! Какая коляска! — возмутился незаметным для себя самого способом свергнутый принц Тигран.

— У нас уже давно другая игра, а ты все принц! — дернула плечами Пирожкова, которой в конце концов надоело танцевать и она преобразилась в доктора.

Алена на большой тарелке раскладывала фруктовые ножички из серванта и какие-то неопределенного назначения щипчики.

— Это будут инструменты, — объяснила она, ставя на кровать тарелку. — Все стерильное.

Не так давно ей удаляли аппендикс, память была свежей.

— Да зачем инструменты? — удивилась Плишкина.

— Ты не знаешь? Лилька говорит, что когда через пиписку не проходит, живот разрезают, — пояснила Пирожкова. — Операцию делают. Очень даже часто. А чего ты так лежишь, ты стони. Это же ужас как больно. Мне мама говорила.

Плишкина громко и очень удачно застонала. Басовито подхватила Вика. Гайке эта игра давно надоела, она придерживала на животе куклу, вспоминала, как Тигран стоял на веранде и смотрел на нее. "Вырасту и выйду за него замуж", — решила она.

— Ну, давай скорее, надоело! — заныла Плишкина.

— Все, все готово! — докторским голосом сказала Пирожкова. — Штаны снимайте.

Роженицы стянули шелка пикам. Они уже забыли, с чего это они развели все это переодевание и даже не замечали, что лежат заголенными задами на Лилькиных открытках.

— Ой! Ой! — очень натурально сказала Плишкина. Она была большой притворщицей и натренировалась на своей любвеобильной матери. Пирожкова тупым фруктовым ножом раздвинула пухлую складку. Плишкина захихикала — щекотно!

Алена стала потихоньку толкать вниз по животу куклу.

— Да нет, не так! Не похоже! — вмешался отосланный было за коляской разжалованный принц. — Лучше вот эту возьми, но откуда надо, по-настоящему, — ему, как отцу, хотелось правдоподобия, и он сунул в руку Алене маленького целлулоидного голыша.

— Лилька говорит, они рождаются головкой вперед! — предупредила Пирожкова.

— А я как будто не могу родить и вы мне делаете операцию, — попросила тщеславная Вика.

Пирожкова, под тонкое хихиканье Плишкиной, уже ввинтила голыша в нужное место, и маленькая его головка с парикмахерской прической торчала наружу, как розовый пузырь.

— А теперь схватывайся! Схватки должны быть! — посоветовала Алена.

— Ну, давай, что ли! — торопил врач. — Рожай!

Пирожкова потянула голыша за голову, но Плишкина как-то удержала его внутренним усилием. Тогда Пирожкова надавила на головку, так что она почти исчезла из вида, а потом дернула. Плишкина вскрикнула:

— Ты чего, больно же!

Ребенок родился. Пирожкова положила его на тарелку рядом с инструментами, и Алена помогла ей совершить запланированную подмену, сунула ей в руки большую куклу, которая, собственно, и должна была родиться, но временно была отставлена.

Плишкина пеленала куклу и капризно требовала:

— Пап! Ну ты давай, встречай! Ты должен меня встречать! Из роддома всегда встречают!

Алена делала Вике кесарево сечение, проводя фруктовым ножом поперек живота.

Гайкина очередь так и не подошла, поскольку позвонила бабушка и спросила, не пора ли за ними прийти. Почти одновременно раздался звонок в дверь: за Челышевой пришла домработница Мотя, и Маша, у которой как раз разболелась голова, без всякого сопротивления дала себя увести — к большой неожиданности для Моти, собиравшейся долго и терпеливо выманить Челышеву из гостей.

Все вдруг почувствовали себя усталыми. Плишкина даже и проголодалась, доела последние бутерброды. Вилочки лежали на столе, никому не интересные.

Снова зазвонил телефон. Это была Бела Зиновьевна, Жижина бабушка.

— Белочка! Ну еще полчасика, пожалуйста! Мне совсем немного осталось!

— Чего тебе немного осталось? — удивилась Бела Зиновьевна.

— Дочитать. Старуху Изергиль... Там совсем немного... так интересно... — умоляла Лиля, такая же розовая и возбужденная, как и все остальные.

... Пришедшие в половине двенадцатого Аленины родители были ошеломлены: дом был разгромлен, буквально

вывернут наизнанку. Алена спала на их кровати, в алькове, среди смятых открыток и серебряных фруктовых ножей, в старом вечернем платье матери. Отец поднял спящую девочку, и мать увидела, что лицо ее пылает. Она тронула ладонью лоб и покачала головой.

— Аспирин? — тихо спросил муж.

...Плишкина заболела в ту же ночь. Она сильно металась, сбивая в ком одеяло. Мать простояла над ней до утра. Просыпаясь, девочка просила пить, и мать бережно подносила к ее губам синюю фарфоровую кружку с теплой кипяченой водой. Она выпивала и снова оказывалась в том же страшном сне: над ней угрожающе склонялся большой старик с острой черной бородой, дышал на нее горячим воздухом и был он фининспектором, которого так сильно боялась ее мать, домашняя портниха, много лет работавшая без лицензии.

К утру Плишкина проснулась окончательно, улыбнулась матери своими очаровательными ямочками и выпила еще кружку воды. И лицо ее, и большое жидковатое тело было усеяно красными шершавыми звездочками. Она пописала над большим горшком. Внутри немного пощипало, но она не обратила на это внимания. Дефлорация была столь нежной, что она даже не сохранилась в памяти, и ото всей этой истории остался у Плишкиной на всю жизнь мистический страх перед фининспектором, который склонялся над ней с неопределенной угрозой.

Девочки Оганесян заболели только через сутки, но высокой температуры у них не было, их ветрянка прошла в легкой форме. Бабушка велела им лежать в постели и всячески убажала и развлекала. Пела уныло-прекрасные песни огромным и тонко вибрирующим на высотах голосом.

Заболели также Маша Челышева и Ира Пирожкова. У Кольвановой был иммунитет с младенчества.

Лиля Жижморская тоже не заболела. Но и ей в эту ночь приснился ужаснейший сон: как будто за ней приехали родители и почему-то не в городскую квартиру, а на дачу. И она сидит в какой-то телеге и странным

образом, спиной, видит за стеклом террасы очень белые лица бабушки и дедушки и замечает, что терраса похожа на вольеру зоопарка — есть какая-то дополнительная железная сетка за стеклом, как в обезьяннике. Телега начинает двигаться сама собой, но это почему-то не вызывает удивления. Сама Лиля сидит между родителями. Мать придерживает ее крупной рукой, а рука ее покрыта жесткими колючими волосами, как щека небритого мужчины. Последнее, что сохранилось в памяти, была шелковая толпа восточных красавиц, встречающих ее на въезде в сырую темноту.

Вместе с ветрянкой кончились и каникулы, но начались сильные морозы и младших школьников освободили от занятий. Когда девочки встретились в классе, казалось, что прошло не три недели, а три года, и то, что происходило у Алены, было с ними в далеком детстве. Что-то сдвинулось и изменилось: они немного стеснялись друг друга, никогда не упоминали о том вечере, будто дали обет молчания как соучастники страшного и тайного дела. К Колывановой же с тех пор относились с уважением.



*Игорь ЯРКЕВИЧ*

## ДВЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Хорошо всем известно, что западная литература опирается на богатую и веками проверенную традицию.

Русская литература даже на журнальный столик не может опереться. И сил у русской литературы не осталось, совсем уже старая, а когда молодой была — не знает, и журналов она боится, и столики нынче совсем хрупкие пошли.

Для русской литературы все навсегда кончено. У западной литературы, можно не сомневаться, впереди большая и светлая дорога. На этой дороге западную литературу ожидает невероятное количество таинственных приятных встреч и сюрпризов.

Западная литература имеет сильных и надежных покровителей. Русская литература не может похвастаться даже случайным кивком в ее сторону.

Если с западной литературой, не дай Бог, что-нибудь случается, ее тут же подхватывают, лечат, сдувают с нее

каждую пылинку. На русскую литературу давно всем насрать.

Больно ли за русскую литературу? Больно. Больно-больно. Даже у выдавших виды людей опускаются руки и дрожит голос, когда они задумываются о судьбах русской литературы. А что можно поделаться? Ведь о западной литературе пекутся, а жива русская литература, или уже не жива — никого не волнует.

Поэтому западная литература в прекрасной форме.

А русская литература поэтому же скурвилась и опустилась.

Западная литература вся нараспашку, вся каждый момент готова к услугам своего любимого читателя.

Русская литература ожесточилась, спряталась, до читателя ей и дела нет, от одиночества совсем уже озверела, а если и появится случайный читатель, то для него у русской литературы за пазухой всегда припрятаны газовый баллончик, анонимный пасквиль, кастет и противотанковый еж.

Западную литературу любят, помнят и ценят. Против русской литературы на крыльце у приличных людей всегда наготове бешеные собаки — чтобы русская литература ближе, чем на два километра, не подходила.

На западной литературе опять новая кофта. На русской литературе она бы тоже смотрелась, но прокаженные должны носить особую одежду, вот почему на русской литературе балахон, а в правой руке — палка с трещеткой. Балахон и трещетка не напрасно — глаза у русской литературы, что у Медузы Горгоны — берегись, случайный прохожий — увидишь — тут же ебнешься. Из-за этого русская литература обязана заранее предупреждать о своем появлении.

Западной литературе удалось всех своих детей пристроить на теплые места. У русской литературы все дети — незаконные, мыкаются, побираются, а родная мать им даже какашки в голодный год не подбросит.

Западная литература парит, как чайка, высоко среди неба, солнца и престижных издательств, а русская лите-

ратура ужом под камнем вертится, сушит вонючее тело, лижет собственный хвост, если там, конечно, еще есть что лизать.

Русская литература пугается одна переходить дорогу. А западная литература может хоть неделю скакать на лошади без седла.

У западной литературы чистые, добрые, детские сны. А вот русская литература во сне храпит на всю Россию, сон ее — тяжелый, ей снятся зловонные ямы и нагруженные черепами колесницы. Во сне русская литература вечно куда-то бежит и проваливается. Словом, сон у русской литературы такой, что даже врагу своему русская литература не может пожелать такого сна.

У западной литературы ясная и светлая улыбка. Русская литература улыбаться не умеет, и слава Богу! Ведь на русскую литературу и так смотреть страшно, а если она еще и улыбнется, то птицы разлетятся, а у кормящих женщин пропадет молоко.

Западная литература смеется легко и серебристо. У русской литературы такие скверные привычки, что с такими привычками только и возможно быть русской литературой.

Когда западная литература кого-нибудь пугает, то всем становится очень страшно, но потом снова весело и немножко грустно, Русской литературе и пугать никого не надо, она сама всего боится.

У русской литературы на глазу бельмо. К западной литературе и соринка в глаз не залетит.

Западная литература исправно беременеет, рождает легко. Бесплодие русской литературы давно уже вошло в поговорку.

Западная литература опять в расцвете. Издатели не успевают издавать, читатели — читать, масса новых имен, рассказ обгоняет рассказ, одна повесть лучше другой, что ни роман — то классика. И это не предел, скоро западная литература поднимется на новую для себя ступень. И это тоже будет не предел.

Русская литература там, где страх, боль, холод, тоска,



одинокая старость в замызганном приюте. Хоть и поделом ей, хоть и сама виновата, но все сочувствуют, вздыхают, жалко, очень жалко русскую литературу, хоть и русская, хоть и литература, но все-таки живая тварь! А не полено у забора...

Русская литература — это мир темных страстей и полового безразличия. Западная литература твердо стоит на трех китах: нравственность, только нравственность, и еще раз нравственность. Плюс сострадание к маленькому паразиту.

Западная литература — это просто фантастика! О русской литературе такого не скажешь.

Так и хер с ней, с русской литературой! О западной литературе такого не скажешь. Западная литература идет по жизни, как по мягкой траве. Русская литература пришла, понюхала воздух жизни и ушла.

Русская литература — вавилонская блудница, поистрепалась вся, поистаскалась, вот и не знает, куда теперь деваться от стыда и позора. А западная литература — чистая, опрятная девушка, благоданная, кавалеры на нее дышать боятся.

Поэтому русскую литературу гонят, а о том, чтобы ее к приличным людям допустить, вообще не может быть и речи.

Западную литературу привечают как только могут, а к приличным людям ее пускают и тогда, когда она даже сама этого не хочет. Западная литература уже несколько устала от приличных людей.

Непослушных детей, когда дети расшались и не хотят есть по утрам манную кашу, мамы пугают русской литературой. Придет, говорят, мамы, большая буква русская литература, покрошит в кашу и съест вместе с кашей; дети сразу становятся тихими и послушными. Разумеется, западную литературу детям всегда ставят в пример.

С западной литературой всегда все в порядке: и сейчас, и раньше, и потом. В тот самый момент, когда русскую литературу зачала ее мать — Россия, она уже была обречена.

Западная литература — желанная дочь любимых родителей. Русская литература — неправильно вынутый из чрева плод по халатности врачей-акушеров.

Западная литература очень привлекательная и даже красивая. У русской литературы все болит, дурной взгляд и постоянная перхоть, вот беда! А все потому, что русская литература моет голову не тем шампунем!

Вчера ночью русской литературе снова приснился плохой сон: козявки, изба в тараканах, рвущиеся во время прыжка парашюты. К тому же во сне русская литература не только храпит, но и сопит, с ней сложно находиться в одной постели.

А что приснилось западной литературе? Как обычно, цветущая весенняя трава, которая помахивала всеми своими стебельками и листиками. Делить постель с западной литературой одно удовольствие.

Русская литература четыре года просидела в одном классе. Западная литература — прекрасная ученица, играючи окончила школу, в университет прошла без экзаменов, получила прекрасное распределение.

Западной литературе вчера днем подарили цветы. Русскую литературу опять послали на хер. Когда ей как-то раз, по ошибке, подарили цветы — тогда она действительно удивилась. Цветы русская литература после продала в цветочном ряду на привокзальном рынке.

У русской литературы за душой три прочитанных книжки, одна из которых — букварь, а две других она, скорее всего, придумала. Читать русская литература не читает, может, и хочет, да не может, чтение доставляет ей настоящие муки. У западной литературы — лучшая библиотека в Европе. И в Америке. И в Японии.

Русская литература целыми днями спит, дом запустила, штопает и стирает только из-под палки. Русской литературе проще выбросить грязную посуду, чем помыть ее, а потом есть руками из кастрюли.

На русскую литературу уже лет сто ни у кого ничего не стоит. "Наша западная литература разбудит и подни-

мет даже парализованного кастрата", — шутят известные западные сексопатологи.

Западная литература так хороша, потому что родилась под очень хорошим знаком Зодиака. Русская литература появилась на свет под таким созвездием, что на него крещеному человеку в безлунную ночь смотреть стыдно.

На русской литературе последняя шапка горит. Слезы наворачиваются, когда начнешь думать о русской литературе, но сделать уже ничего нельзя, все решено, все кончено, час возмездия пробил над русской литературой! Над западной литературой он не пробьет никогда.

Вот двадцать первый век на носу, западная литература входит в него уверенно и достойно. Хорошо потрудились, выросла, окрепла... Начнешь издавать "Избранное" западной литературы за двадцатый век — глаза разбегаются, в сто томов не уложиться, хочется еще и еще. Русская литература весь двадцатый век тратила себя на пустяки, чужого не отведала, а своего не припасла.

У западной литературы есть вкус, она себя очень любит. У русской литературы, надо отдать ей должное, тоже есть вкус, она себя терпеть не может. Все-таки она не без таланта, эта самая русская литература... А вдруг свершится чудо, и она из бедной Золушки превратится в прекрасного лебедя?

Русская литература сама себя высекла. На западную литературу никто руку поднять не смеет, а на себя западной литературе не то что руку поднять не дадут, а мимоходом плохо подумать не позволят.

Западная литература понимает, что писатель Кафка — это одно, а психиатр Фрейд — совсем другое, художник же Дали не имеет с ними двумя ничего общего. Русской литературе что Кафка, что Фрейд, что хуй с горы уже давно разницы нет.

Если западной литературе показать пальчик, то она захохочет. Если русской литературе показать пальчик, то она всю руку откусит, поэтому никто русской литературе руку и не протягивает, зная о ее скверных привычках.

Русская литература — это униженные и оскорбленные

бесы в мертвом доме, мертвые души в подполье, и сумасшедшие подростки во тьме, и преступление на дне, а наказание в котловане. Западная литература — это всегда фиеста, праздник, волшебное место, путешествия и пикники, счастливые концы.

У западной литературы удивительно нежная и чистая кожа лица. Нос русской литературы вечно измазан в дерьме, а на носу огромная гнойная шишка.

От Запада его литература получила все. В России ее литература даже как подстилка не подходит. Как все-таки жаль русскую литературу, как хочется иногда что-нибудь для нее сделать и чем-нибудь ей помочь! Но слишком все безнадежно.

У западной литературы нет проблем. У русской литературы нет ничего кроме проблем. Да и самой литературы русской тоже нет, вся она — фантом или мираж, или что-то такое. С западной литературой проще, ее можно прямо сейчас взять и потрогать. Что касается камешка в огороде, то русской литературе его некуда бросать — и литературы-то нет, а когда была, то огорода не имела.

Русская литература не научилась жевать. Казалось бы, русская революция — ерунда, мелочь, а торчит и торчит костью в горле русской литературы. Западной литературе что? Она таких русских революций по восемь раз за один присест проглотит и не заметит.

Русская революция, мало того, что моет голову не тем шампунем, она — каталог венерических заболеваний. А у западной литературы под рукой отличные превентивные средства.

На дальнейшее существование западной литературы самые радужные прогнозы. В отношении русской литературы любые прогнозы бесполезны, только зря время терять.

Западная литература, даже и плевать трижды не надо, здорова. Русская литература, увы, больна. Впрочем, на иное и не надеялись. Но не надо дразнить русскую литературу, не стоит говорить в ее доме о здоровье, пусть даже и дома нет, а то русская литература снова

начнет царапаться и биться в истерике. Болезнь запущена, исправить ничего нельзя, русской литературе остается только смириться и занять свою привычную скромную тихую нору и, поудобнее свернувшись там калачиком, кусать ногти, издавывая завидуя своей прекрасной сестре — западной литературе. А западная литература не забывает свою несчастную русскую сестру, обязательно раз в год помянет ее минутой молчания и стаканом лучшего западного коньяка. Она даже собиралась прислать своей русской сестре гуманитарную помощь, да только вот не знает куда и не поздно ли уже присылать.

Говорили, правда, что у русской литературы есть потенции, и если с помощью этой потенции русская литература себя реализует, то ее тоже обнимут приличные люди, у нее появятся хорошие сны, нарядные одежды, а дети ее будут счастливые и толстые, каждому из них достанется по упаковке жвачки и литру свежего молока. Будет трудно, но как-нибудь, ползком, незаметно, маскируясь, русская литература приблизится к своей недостижимой западной сестре.

Горько, обидно за русскую литературу, но ничего — так просто она не исчезнет, она будет как тень, как призрак, как страшная семейная тайна приходить в сны к западной литературе по ночам, а если западная литература днем заснет, то русская литература и днем придет, и тогда западная литература, сука, блядь такая, все узнает, что испытала и вынесла русская литература. Хороший тогда сон будет у западной литературы!

## БЕРИЯ, ИЛИ БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

... Дыша духами и туманами,  
Она садится у окна.

*А. Блок. "Незнакомка".*

Какая же тварь догадалась устроить в Москве метро?! Зачем? Ну какая? Плохо нам было разве без него?

Каждому из нас хотя бы раз не грех повстречать свою незнакомку, не беспокоясь о результатах!

Бывают же такие удивительные сладостные минуты, когдаходишь в вагон, как белый человек, и думаешь — вот оно — прогресс! цивилизация! — едешь под землей, и лампочки горят, диктор объявляет, что "Измайловской" больше нет, а ведь еще совсем не так далеко начало века, всеобщее господство сифилиса, когда вряд ли кого в Мытищах можно было удивить отсутствием носа.

Я увидел ее, и любовь задела меня плечом, как пьяный полковник, и я пожалел в сто двадцать девятый раз, что я не Берия. До этого я жалел об этом сто двадцать восемь раз между прочим, но теперь все, я пожалел себя уже конкретно и четко, что нет у меня машины со шторками, и я не могу утащить ее туда внутрь!

Меня всегда удивляло, как это русские люди могут так не любить Берию. Что он им сделал? Скажем, Сталин, фигура значительно более отталкивающая, вызывала и вызывает всеобщее уважение и почет. На каждом шагу только и слышишь рефрен: Сталин — ля, Сталин — бля-бля, Сталин — му, Сталин — муму, а вот Берия — давно и безнадежно пал в глазах русских людей. И никто не спрашивает, где же его могила, и никто не заплачет о нем, все равно — кто, все равно — где, можно даже в задней комнате, украдкой, вытирая глаза краешком платочка, но нет, его продолжали проклинать за самые невинные вещи, в частности, за гусарство и молодечество, когда Берия, то один, то с помощью своих дятлов увозил на машине вдаль привлекательных незнакомых женщин.

Все Берию ругали, а мне с каждой минутой становился ближе и родней этот скромный, мудрый и веселый человек, большой оригинал и мономан. Я мог часами стоять под окнами его великолепного дома на углу Садового кольца и улицы Качалова, где теперь африканское посольство, и мечтать о встрече с незнакомкой.

Тем более, что много лет назад однажды попал в его знаменитую машину мой папа. Дело в том, что папа в

молодости был необыкновенно хорош собой, изящен-изящен, и как-то раз Берия его подкараулил... Дело было вечером, человек за день устал, вполне можно было и перепутать, перед папой извинились и выпустили, но поразительно другое — десять лет спустя, день в день, час в час, приблизительно на том же самом месте — я родился!

Я посмотрел на нее, мы встретились глазами, она не отвернулась, как она была хороша, однако! Как козочка, или казачка, или, как и положено романтической героине, казашка или хохлушка, нет, скорее всего она была мордвин!

А может, секретный агент...

Я отвернулся, потому что накануне у меня были жуткие неприятности с властями. Шел я домой, пьяный, но довольный, вокруг Лубянка шумит, незнакомка в сердце поет, Берию стало жалко до слез, как никогда, я и поссал возле камня жертвам репрессий, очень хотелось, сил моих больше никаких не было, а в другом месте разве нельзя? — кричали мне вслед сотрудники КГБ и стреляли в воздух, это же святое, стой! А ссать, отстреливался я, это не святое? Это что, все просто так, невзрачные пустяки, болотные шорохи в заброшенном лесу под Рязанью?

И тут она подняла два пальца вверх! Как та, как боярыня! Неужели?

Раз в жизни, ведь только раз встречаешь незнакомку, а она оказывается боярыней Морозовой. Почему же все так всегда сложно в московском метро? Специально его, что ли, придумали, чтобы нас разочаровывать?

Точно, вот и голос рядом, не диктора, английский, где же тут Третьяковская галерея? Какой же русский не объяснит заезжему англичанину, где Третьяковка, в каком месте пересадку надо делать и выходить куда, раз уж он в метро попал? Но что плохого я сделал вашей королеве? Может быть, я попытался отнять у ваших бифитеров национальный костюм? Чем же я заслужил такие вопросы? Я вздрогнул, потом задрожал, но было уже поздно,

беда никогда не приходит одна, а раз пришла, давай, открывай ворота, я и открыл, и вот уже бабушка, или няня, или бабушка и няня вместе, впрочем — это вряд ли, откуда такая роскошь, впервые приводит меня туда, где всегда два пальца вверх и куда так рвется англичанин.

Честно говоря, мне там не понравилось. Сюжеты большинства картин — печальные и мрачные, а кое-какие и просто пугали, колорит почему-то везде тусклый, народу много, утомленный всем этим купеческим мещанством, ходил я из зала в зал, как вдруг наткнулся на злобную пожилую тетку кисти какого-то разночинца; не то она уезжала сама, не то увозили ее куда-то — понять было сложно, но она на прощанье машет всем двумя пальцами.

Я сразу понял, что все это не так-то просто, но в чем именно здесь дело, догадаться, разумеется, не смог.

Я стал дергать за рукав бабушку, или няню, чтобы она мне все поскорее объяснила, зачем два пальца вверх и почему именно два, а не один или три, как у людей, но моя спутница только заметила, что я еще маленький и мне еще рано, а вот когда подрасту, тогда все и сам пойму: и про пальцы, и про их количество, и вообще... Но такое меланхолическое обещание меня мало удовлетворило, ждать я не хотел и, как только заметил экскурсовода, которая торопилась в окружении почти что лубочных мужиков от передвижников к декадансу, сразу же подбежал к ней.

— Тетенька экскурсовод, — доверчиво произнес я, — а куда это тетя боярыня хочет засунуть два пальца?

К этой минуте, как мне потом неоднократно объясняли, мужики уже полностью и окончательно охерели от галереи, а экскурсовод — от жизни, поэтому ответила она мне просто и ясно:

— В задницу!

Я думаю, что этот ответ был именно тем камнем, который, по Ломброзо, попадает в голову всем нам, после чего мы становимся гениями. Но я уцелел. Воспитание мое проходило в практически замкнутой среде, о многих

вещах я еще не был осведомлен, и только так же доверчиво переспросил:

— Куда? В розетку?

Мужики замерли, спутница моя увела меня скорее прочь, от греха подальше, но детство мое с тех пор разделилось пополам. С одной стороны, я мечтал стать боярином Морозовым, чтобы нас вместе везли в Сибирь! в ссылку! в лагеря на широких санях, с другой стороны — я боялся близко подходить к Третьяковской галерее, потому что вдруг экскурсовод сказала правду?!

Я забыл сверстников и родных, стал замкнутым и молчаливым. История семнадцатого века превратилась в мой второй дом, а однажды ночью, клянусь машиной, где папа уцелел, мне приснился коньяк "Раскольник" какой-то малоизвестной английской или финской фирмы. А может быть, так называлось пиво; или одеколон... Я никогда не умел запоминать сны...

Вся переписка злосчастной боярыни с протопопом Аввакумом была выучена мной практически наизусть, я мог цитировать ее кусками в любое время суток. Но все равно — конфессиональные разногласия между партией двоеперстия и оппозицией троеперстия меня ни в чем не убедили, направление двух пальцев по-прежнему оставалось для меня загадкой. И тут, когда меня уже практически осенило, выяснилось, что подобная катавасия не прошла для меня даром, и я здорово переутомился — в мои сны стали прилетать русские люди и жаловаться, жаловаться... Это продолжалось без конца, все они были с давно не стриженными бородами и ногтями. Впрочем, прилетали и другие люди, но я запомнил почему-то именно русских; вероятно, им было хуже всех и поэтому они больше жаловались.

Того нет, сетовали они, другого нет, славы, например, да и вообще ничего нет, сколько же так можно, чтобы в России всегда все было плохо? Да ладно, обещал я им также невразумительно-меланхолически, как мне когда-то в галерее бабушка или няня, подождите, через лет сто, или двести, подрастете — и все будет, что вам и не

снилось, надо только потерпеть, по крайней мере — Берия и боярыня всегда будут с нами!

Русские люди слушали, горестно качали головами и шевелили ушами, не спеша расходились...

И я оставался наедине с советским обществом, которое в ту пору относилось к моей опальной боярыне крайне подозрительно и настороженно. Ее продолжали считать садисткой и фанатичкой, также истеричкой, что было абсолютно несправедливо, потому что в семнадцатом веке садизм, истерия и фанатизм были делом самым обыкновенным, и наша боярыня ничем не отличалась на общем фоне.

И религиозный пафос боярыни меня также совершенно не занимал, как это православные могут что-то делить, Бог-то один! И мимо места расстрела Берии, что на набережной, я тоже проходил совершенно равнодушно в часы моих одиноких прогулок, мечтая о незнакомке, которая будет чем-то напоминать боярыню, не в лоб, конечно, а неуловимо, и мы вместе уедем на секретной машине в Сибирь. А никаких пафосов и расстрелов я не потерплю, у меня с этим строго, времена, слава Богу, не те!

Но потом я никаких пересечений между боярыней и незнакомкой уже не хотел. Незнакомка — это ведь любовь, а у любви свои законы, а боярыня — это боярыня, и на хрен нам такое боярское счастье, когда любовь заденет плечом? Нет, моя незнакомочка будет естественной и чистой, двумя пальцами грозить не должна, сколько можно, объяснил я англичанину, хватит, и вот тебе на!

Англичанин поблагодарил меня за то, что я ему дорогу к галерее показал, и мы разговорились. В московское метро его привела нелегкая дорога международного бизнеса, разные там поставки компьютеров в дома престарелых и диетические столовые, но русское искусство, особенно литературу, он всегда тоже очень любил.

Я осторожно показал незнакомке два пальца, но не заметил, чтобы она как-то этому обрадовалась.

— О, Достоевский! — воскликнул англичанин так горячо

и проникновенно, как будто бы его любимый писатель только что родился или был арестован.

И тут незнакомка показала мне три пальца вверх! А ведь боярыня никогда себе такого не позволяла!

— Ничего, ничего, — я пытался, как мог, успокоить бизнесмена, — мы тоже здесь все подряд любим Чарльза Диккенса, Жорж Санд и братьев Гримм.

Но это абсолютно не помогло. Он все больше и больше волновался. Вероятно, англичанин был из тех людей, которым можно засунуть два пальца в задницу, или даже три, перед расстрелом, но они все равно будут кричать: "Да здравствует русская литература!", уверенные, что она того стоит.

Я снова покосился на незнакомку, но два пальца ей больше показывать не стал.

Мы уже вовсю переглядывались, она почти что подмигнула мне и смотрела достаточно ласково, колени ее, немного напоминавшие свежую утреннюю траву с капельками росы за час до разрыва гранаты, были как в лихорадке, грудь трепетала, а глаза — глаза если не кричали, то звали, как я ее любил!

Настала пора знакомиться, я решил схватить ее, тем более, что она практически показала, куда и как надо делать, как народ, надо учиться говорить "мы", но я так и не решился, ведь я же не Берия какой, нет у меня той отваги и той охраны, и машины опять же нет, куда утащить можно, к тому же держали меня за талию ледяные морозовские пальцы.

Входили и заходили разные люди, и мне опять захотелось, чтобы у нас была одна песня, чтобы нам плясать один танец и смотреть один фильм, вместе грубо незнакомку ловить... Наверное, все это можно было бы как-нибудь да уладить, но между нами сидела боярыня в санях с двумя пальцами неизвестно куда. И даже Берия не может ей помешать!

Незнакомка вышла, оглядываясь. Все было кончено.

Ушла незнакомка, и хер с ней! Хер с ними со всеми, ведь боярыню мою уже извели в лагерях, и Берию мне

никто не вернет, и вместе им тоже никогда не быть. А жаль — они же словно созданы друг для друга! Берия никогда бы не дал увезти боярыню по приказу в Сибирь, или увез бы ее сам, а она вполне могла успокоить его двумя пальцами и стать его последней любовницей. И их бы рисовал вдвоем, обнявшихся и воркующих, блестящими мазками модный художник-портретист.

Я вышел на следующей. Англичанин, несмотря ни на что, все-таки поехал в галерею, чисто английское любопытство победило. Ты смотри, держись там и будь осторожнее, мой английский брат, всякое может случиться!

Возле метро висели плакаты к референдуму, или выборам, кто-то же должен быть президентом, природа не терпит пустоты, а молодой человек, похожий на всю западноевропейскую университетскую элиту вместе взятую, продавал презервативы с бантиками.

— Купи презерватив! — набросился он на меня.

А зачем? — подумал я. Незнакомка ушла навсегда, бизнесмен тоже в Третьяковке, зачем? Впрочем...

— С удовольствием, — ответил я. — А сколько стоит только бантик?

*Р Е Ж И С С Е Р*



**Canon**

■ КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА: цветная и черно-белая, скорость печати от 5 до 80 листов в минуту

■ ФАКСЫ: цифровые и аналоговые, опция отправки факсов и факсбуков

■ ПРИНТЕРЫ: белочерные, цветные и черно-белые лазерные с разрешением 400 dpi

■ ФОТОТЕХНИКА: полноцветные, зеркальные и компактные, и принтеры для пленки

■ ВИДЕОТЕХНИКА: видеокамеры, видеокамеры и профессиональная техника стандарта DV

**converste**

ТЕХНИКА, КОТОРОЙ ГОРДЯТСЯ

Фирма «Конверс» Тел./факс: 917-0635, 297 9164 Магазины CANON Shop #1: Самолетная, 13, тел./факс: 281-6272



Борис ПИСЬМЕННЫЙ

## СМЕРТЬ ДАРИЯ ИЛЬИЧА

1

К двум начинало сосать под ложечкой. К двум часам приходила почта. Являлся седой представительный негр в голубой фланелевой униформе, похожей на мундиры, введенные на закате сталинского правления для учащихся общеобразовательных школ. Если стояла хорошая погода, Дарий Ильич Корш как бы между прочим оказывался внизу, у подъезда краснокирпичного апартамент-хауза казарменного типа. Из тех, в которых дозволено субсидированное жилье по 8-ой государственной программе для пенсионеров и неимущих. Всякий раз, неизвестно зачем, Дарий принимался исполнять пьесу неожиданной встречи почтальона: он панибратски бросал ему "Хай!", а чаще, забываясь, приветствовал по-русски, что было не суть важно, так как только интонация имела значение. Дарию было приятно, что почтальон седой и солидный, на седьмом, видимо, десятке, и его ровесник, он чувствовал к

нему род товарищества — вот они оба, немолодые, в сущности, люди, из разных миров, сошлись и занимаются делом на перекрестке нью-йоркского Квинса, почтальон доставляет, а он, Дарий, получает — тоже ведь, как не гляди, а некое звено в соединении человечества.

Пока почтальон Льюис, очки на носу, размещал по ячейкам квартирантов всевозможную корреспонденцию из своей туго набитой парусиновой сумки, Дарий ходил взад и вперед за его спиной, наблюдая в большом овальном зеркале вестибюля отчетливое изображение согнувшегося над серебристыми ящичками Льюиса и сзади, за ним, свой смешно вытягивающийся образ, смазанный и расплывающийся по краям зеркала.

Если Дарию причитались письмо или открытка, почтальон персонально вручал ему и произносил при этом что-то приятельское, кончающееся понятным Дарию: "...миста-Кош". Потом они горячо прощались: "си-я-туморра", и в заключение Льюис бросал на мраморный, в шашечку, пол вестибюля кипу безадресных печатных изданий и удалялся, загребая правой ногой.

Чаще всего, да что и скрывать, почти всегда, за полным отсутствием какой-либо личной почты, Дарий сам формировал себе приличную пачку, со вздохом выбирая из кипы бумаг с пола рекламную брошюрку или проспект, случающееся извещение жильцам от лендлорда или другую бесхозную корреспонденцию. Но почему эти вздохи? Что же это за послание, которое он так настойчиво ожидал получить? Какую решительную весть или знак? Он сам не ведал-не гадал, да и не собирался выяснять, послушно следуя силе новообретенной привычки, скрашивающей его новое, американское пребывание и хотя бы вносящей известный распорядок в его аморфные, необязательные дни.

В свои активные годы Дарий научился планировать время, не паниковать от неожиданно сваливающихся за-

\* До свидания! (Увидимся утром)

бот, когда, казалось, он вечно будет должен всем и каждому и надо успеть, не забыть, и все равно что-то забывалось, и его преследовало чувство вины и массы обязательных поручений на завтра. Теперь же, на шестой год нью-йоркской жизни, никто не нуждался в Дарии, никому до него не было дела. За исключением редких казенных извещений даже собственное имя почти не встречал, на письмах стояла только оскорбительная наклейка "для резидента дома такого-то", т.е. безразлично, кто проживает по данному адресу, — в пустующую квартиру принесут то же самое.

Будто из чувства противоречия, Дарий, чем безнадежнее, тем настойчивее, ожидал почтальона, почему-то отчаянно веря, что придет послание лично ему, Дарию Коршу, и сдвинет с места буксующую жизнь.

И это не будет филькина грамота о выигрыше миллиона, которая производится компьютером, пожирающим один за другим адреса из телефонного файла, это не будет предложение почти даром купить загородное поместье или после пустяковой затраты включиться в увлекательную лотерею-"свипстейк". Это будет аккуратный плотный конверт с именем Дария, написанным от руки, и с личным к нему обращением. Нужно только дождаться...

В промозглую погоду Дарий был вынужден маневрировать на лестничной клетке вокруг окна, единственного, из которого наискосок просматривались доступы к подъезду. Этот вариант бывал обременителен: уже одно плохо, что на дворе холод, дождь или снег, в придачу нужно было придумывать достойную мотивировку для стояния на лестнице; ходили многодетные пуэрториканцы, игнорирующие лифт, гонялись за своей кошкой две придурковатые сестрички из Мелитополя, проползала по стене, ломаясь на углах, тень согбенного румына, всегда в одном и том же поблекшем плаще.

Дарий брал специально заготовленную на такой случай сигарету или неправдоподобно тщательно гуталинил башмаки или просто стоял, как бы машинально задумчивый.

В воздухе витали густонаперченные запахи латиноамериканского чили, приторным несло из негритянской квартиры, откуда утробно бухал транзистор и догоняла самое себя бесконечная сиплая скороговорка рэп-данса.

Часто, войдя в роль, Дарий в самом деле впадал в ступор и очухивался только тогда, когда за окном было темно, и в чайном ореоле парадного освещения отражался в стекле его неясный силуэт и искрила реклама. Дарий сбегал тут же вниз, к ящикам, и, если опять не оказывалось для него личной почты, хуже обыкновенного скребло на душе, как от особо злостного невезения. То ли от возраста и неприкаянности, то ли от неопределенности существования в пустоте иноязычного мира, только теперь обычно невозмутимый, рассудительный Дарий все воспринимал болезненно, как уколы самолюбия, — вот и почтальона проглядел и даже проспекты растащили или, что тоже не слава Богу, вместо негра прибежала мелкая девчонка с металлической скобкой на хомячьих зубах. Ее Дарий отказывался считать настоящим почтальоном, и, будь его воля, никогда бы не позволил такой пигалице подменять черного служащего. Вдобавок ко всему Дария не могло не раздражать, что девчонка, не говоря ни слова, тарасилась куда-то совсем мимо него с испугом или еще чем-то, отчего Дарий чувствовал себя привидением, неприлично старым или, черт знает кем, способным напугать человека.

Собрав улов, Дарий спешил в свой апартмент "4С", во вторую меньшую спальню нанимаемой квартиры, имеваемой русскими "двубедренной", и падал в бурое плюшевое кресло — часть разрозненного гарнитура несколько дикого стиля, любезно подаренного Коршам местной еврейской общиной. Жена, Анна Исаковна, непременно интересовалась из кухни: "Нет ли чего от Сенечки?" — ее старшего брата, пенсионера республиканского или даже всесоюзного значения, оборвавшего с Коршами всяческие сношения после подачи на выезд. Сама Анна изредка еще бросала ему письма, всегда безответно, как



в бездонную бочку, и неизвестно было, живет ли еще на свете брат Сенечка.

"Муся, ко мне никаких звонков!" — как дежурную шутку говорил Дарий, погружаясь в бумаги, хотя никто и не мог звонить в эти часы, разве что Соломон Балкопа, старый знакомый, проживающий в соседнем подъезде. За отсутствием писем Дарий довольствовался рекламками, оценивал качество офсетной печати, красочность и размещение изобразительного материала; понаторев за годы американской жизни в рекламных правилах, знал очередность представления товаров: от ожерелий до игрушек, знал, где искать цену, где скидку. Юмор состоял в том, что ничего он и не собирался покупать — какого черта перетаскивать вещи из магазинов в чужую малогабаритную квартиру! Однако почему бы не пофантазировать, если для этого даже не надо болтаться по торговым рядам, — вот тебе глянцевые прекрасной типографской работы иллюстрации от гоночных автомобилей до алмазных запонок. "Не вышло жить в мире идей, — бубнил он себе под нос, будем жить в мире вещей". Не покидая удобно продавленного кресла, он мог на сегодня отдать предпочтении американскому, чем-то напоминающему яблочный пирог "Олдсмобилю" перед "Акурой", сказав себе с патристическим апломбом: "Хватит кормить Фудзияму!"; перелистав вкусно пахнущие краской страницы, вообразить, что взял бы фунта три плодов авокадо — помогает от рака, и свежую спаржу, чтобы приготовить по-провански на пару, под молодое "Божоле"...

Особенно его занимали товары-кунштютки, предлагаемые в качестве подарков для людей, "у которых есть все" — какой-нибудь настольный вертолетик для снятия стресса у начальства, озвученная корзина, в виде баскетбольной, для конторского мусора, или головка душа, способная мигать всеми цветами радуги.

Разглядывая все это, Дарий как бы беседовал с кем-то, оставшимся в России, показывая ему все эти немислимые изделия и плоды — все самое наилучшее, яркое, — до чего же капризно можно жить в обществе потребления!

В собеседники он воображал безымянного сверстника с судьбой, похожей на его собственную. С таким собеседником, а скорее — слушателем, он мог говорить без конца, и только такому фантому-человеку, которым по разным причинам не могла быть ни жена, ни друг-Балкопа, никто из имеющихся в наличии, был Дарий способен сообщать наблюдения, которые, скорее всего, он бы устыдился высказывать вслух из-за их патетичности и которые сам бы первый записал в разряд "мелихлюндий".

В молодые годы жизнь, как в перевернутый бинокль — все в бесконечной манящей многоцветности калейдоскопа, в старости, наоборот — далекое перед носом. Ведь Дарий еще помнил картонный рупор, поскрипывающий кремлевские указы вперемежку с песнями Лебедева-Кумача, и свой "ХВЗ" — харьковский драндулет и все прочие наши допотопные кособокие товары, за которыми нужно было драться в очередях, записываться чернильным карандашом на руке и потом по этому накожному номеру узника страны победившего социализма ходить отмечаться, всегда почему-то в ночи или в страшное предрассветное морозное утро, когда оказывалось, что списки украли или подменили; какая-то сволота из враждебной группировки подкупила старосту и поэтому честным членам очереди не достанется детское пальтишко, холодильник или набор простыней.

Попадись такой глянцевый рекламный проспект Дарию в итээровском бараке, в Кемерово, во время его доверенной сибирской командировки, он смотрел бы на него, как на послание с Марса, он сдвинул бы прочь с этажерки Жюль Верна и "Аэлиту", и материалы вечной политучебы, он бы обвернул проспект лучшей чертежной калькой и укрепил обложку картоном, он разглядывал бы его под барачным ночником как зримое обещание светлого завтра. Но и сейчас, на шестой год своей американской жизни, семидесятидвухлетний Дарий Ильич все еще смотрел глазами восторженного юнца из кемеровского барака...

Когда из-под двери квартирному коридорчику тянуло

гороховым супом и шаркали шлепанцы, Дарий, тяжело вздохнув, сгребал в кучу проспекты, сегодняшние и прошлые, и отправлялся в кухню выбрасывать их в мусор.

— Пардон, господа, — думал он, — осточертели картинки. С таким, как я, непокупателем, вам бы капитализм не построить.

После супа жена подавала котлеты с картошкой и кислой капустой, завершая все чаем с печеньем типа пряников. Анна называла пищу по-американски: котлеты — "гамбургеры", печенье — "куки", пили "коку", так что хотя бы на слух получалось вполне американское меню. Артишоки и спаржу, конечно же, можно было приобрести, однако ели свое, всегдашнее.

## 2

В первую ночь Хануки случился тот самый день невезения, когда Дарий, встав с неверной ноги, проворонил и почтальона, и почту, даже реклам не оказалось. Не сложился день. Еще засветло спустившийся за почтой, Дарий Ильич вернулся в квартиру в полной ночной темноте, с горя, действительно, выкурил, причем безо всякого вкуса, свою дежурную сигарету с искусанным мундштуком. После еды никуда не пошел, а немедленно забился и заснул. Проснулся он в два ночи, машинально нашарил в темноте брикет управления и включил телевизор, убрав звук, чтобы не будить Анну. Мелькали беззвучные кадры: опять, накреньясь, падал с постамента железный Феликс, литые, чугунные Сталины, один большой в шинели до пят и два маленьких, уткнулись носами в глину на свалке металлолома. Потом эти же Дзержинский и Сталин стояли на Тишинском рынке свободной России в ушанках с висящими тесемками, в дворницких фартуках поверх пальто, продавали огурцы по сто рублей. Люди в тяжелых, зимних одеяниях хмуρο продвигались по пустым рыночным рядам, стекались на Манежную площадь, где после смены сюжета хроники оказывались в легких импортных курточках; танки волнорезами торчали

из людской массы. На одном из них стоял Ельцин, воздев к небесам руки наподобие римского папы. По стенам комнаты Дария прыгали цветные блики от телеэкрана и еще от красных крутящихся фонарей "Скорой помощи" и полиции за окном, где забирали очередного пациента из дома престарелых напротив. После телевизионных реклам, в которых довольно противные девицы просили звонить им по коммерческим номерам "900" для бесстыдных откровений, снова появились российские сюжеты, в красивом обрамлении автоматчиков изображающие народных героев, одного за другим, включая музыканта Ростроповича. "Жалко, — подумал Дарий, — убрал я звук." Было тихо. Только ходики тикали в спальне жены. Дарий цепенел и забывался. Когда он выключал телевизор, по экранному полю медленно, ногами вперед, плыл на спине Ленин, подвешенный на тросах.

Остаток ночи Дарий провел беспокойно, так и не удалось заснуть по-хорошему: мучили видения, казалось, что продолжает смотреть хронику, понимал, что надо бы выключить, но не мог сдвинуться с места. Бабы в толстых платках и телогрейках брели по черным, в пашню распашанным площадям Москвы, крестились и ковыряли палками — чего бы найти, но не было ничего, ни огурцов ни картофеля, одни черные вороны скакали следом. На фоне низкого белого неба шли отряды юных пионеров с бескровными лицами со свечами, крестами и хоругвями. Бил барабан.

Процессия эта продолжалась в Дариевой памяти, и стучало в ушах, когда утром, или уже днем, он спустил ноги с дивана и поплелся в ванную. Еще оцепеневший, он взял безопасную бритву и взглянул в зеркало над раковиной. В зеркале отражался длинный махровый халат, висевший на дверной вешалке позади Дария, вывешенные на просушку нательные мелочи, щетка для растирания спины и кусок кафелем покрытой противоположной стены. Дария в зеркале не было. Холодными руками Дарий ошупал зеркало впереди и затем свою небритую щетину на подбородке, все было на месте, к тому же он

ясно видел отражение ванной, значит, было и зеркало и был он, тот, кто все это видел. Он только не видел себя, своего лица. Дарий не успел даже испугаться, до того нелепой была чертовщина, то есть он подумал, что можно было бы и струсить, если бы... он отвернул кран и пригоршнями наплескал на себя холодную воду, — нет, он не бредил. Он соображал — крикнуть ли? Позвать Анну? Но тут же устыдился и заметил не без удовлетворения, что вот — он нормально думает и умеет стыдиться, — чем не свидетельство того, что с ним все в порядке? Однако мысль ускорялась в поисках смысла, от давления звенело в ушах. Что же с ним все-таки происходит? Не видит? Плохо с глазами? Нет, он же ясно видит свои руки и ноги в шлепанцах и, наискосок, розовость носа. "Все хорошо, только страха надо страшиться," — повторял себе Дарий, выбегая назад, в комнату, на ходу изобретая верные на этот раз шаги для распутывания происходящей с ним элементарной глупости, надеясь по ходу дела неожиданно зыркнуть, поймать свое лицо в стеклах двери, в окантованных эстампах, в зеркальной горке столовой. Так он дошел до дальней спальни и убедился, что жены нет дома, что, наверное, поздно и она уже в классах английского языка. Он взял с туалетного столика увеличительное зеркальце и поднес к глазам — в зеркале вместе с руками дрожал кусок карниза и портьера, сверкало окно и расползались муары увеличения.

Наспех одевшись, только минимум, необходимый для приличия, Дарий выбежал из квартиры, еще не зная, куда именно, ему хотелось одного — бежать, обгоняя свой пульс. Внизу как раз мелкая девчонка сортировала письма, не обращая на него никакого внимания. Тут же были жильцы, брали почту, шли к лифту. Их тоже Дарий никак не привлекал, но так бывало всегда. Оттого ли они все так спокойны и безразличны, что с Дарием все в порядке? Или его не видят? Выскочив из подъезда, Дарий достиг чахлого садика за углом их жилого комплекса, откуда слышался жестяной грохот и топот, и детские крики, где

дети облепили желтую сварную эстакаду, карабкались по ее сплетениям и с визгом скатывались по желобу. Дарий крикнул: "Гуд-монин-чилдрен!" Два мальчика, что стояли непосредственно перед ним, легко обожали Дария, как досадное препятствие, и, подпрыгнув, повисли на перекладинах.

В углу садика, где стояли пустые качели, спиной к Дарию, медленно пятился Сеймур, местный бездомный, закутанный в стеганое женское пальто с капюшоном и красным поясом. Серые патлы волос выбивались из-под разноцветных лыжных шапочек, одетых одна на другую. В руках Сеймур держал наперевес нечто, похожее на миноискатель, с проводом, тянущимся вверх, под шапочку. Дарий бросился к нему и, крепко схватив за плечи, обернул лицом к себе — будь, что будет! Но ничего особенного не было. Сеймур посмотрел на Дария, хмыкнул и протянул вперед руку в дырявой перчатке, с голыми, сизыми от мороза пальцами, которые он медленно разжал. На ладони лежали три почерневших монетки, какая-то сережка и крышка от пивной бутылки.

— Не надо меня бить, берите!

Дарий оттянул для верности края шапочек над Сеймуrowым ухом и спросил умоляющим голосом — узнает ли Сеймур его, Дария.

— О, я вас хорошо помню, вы есть русский из длинного дома?

Дарий, готовый его обнять за такие слова, порылся в карманах наспех накинутаой своей куртки, нашел только сигареты и предложил.

— Вообще я не курю, — сказал Сеймур, — и у меня нет сигарет. Но если есть сигареты, я курю. Они присели на скамейку и закурили. Дарий напролом, не выбирая слов, бросился по-английски рассказывать свои странные злоключения, про то, как он не мог побриться, и про зеркало, каждую минуту переспрашивая, понимает ли его Сеймур.

— Но-киддин! — смеялся Сеймур, обнажая желтые зубы, — я бродяга, но не дурак. И похвалил: "У вас

замечательный английский, сэра. Прекрасно понимаю, как вы не могли побриться, потому что ничего не видели... Но это, я вам скажу, пустяк, "пис-оф-кейк".

От сигареты голова делалась легкой, плыла, Дарий успокаивался, ему было несколько неловко, что своим неврозом он беспокоит постороннего человека, но в то же время ему было и любопытно, и легко, как никогда раньше в Америке, разговаривать хотя бы и с нищим, забывая инородность и языковой барьер; он уговорил Сеймура пойти выпить с ним кофе или чего покрепче, и они перешли в кафетерий на углу Северного бульвара.

— Уйдем от этих оборотней, — шепнул Сеймур, показывая на детей, — они меня облучают и портят мой прибор.

Окопавшись в углу кафетерия, Сеймур долго, основательно разматывал красный свой кушак, оказавшийся скрученным в жгут платком, стаскивал с себя кофту за кофтой, по-домашнему отправился в туалет и вернулся пить кофе свежим и умытым джентльменом с гладко зачесанными влажными волосами. Он принялся макать булочку в кофе на французский манер и смачно, одними губами, оттягивать разваливающуюся хлебную мякоть.

— Какая еще есть проблема у русского Ивана? Будете сейчас пить свою водку?

— Ну совсем я не пью, что вы, — сказал Дарий, — и не Иван я, и даже не русский, а джу.

— Джи-джи-джу... — запел Сеймур, — еще один еврей нашелся. Я тоже когда-то так думал.

Он рассказал, что евреями были его покойные родители из Италии и Польши, что после того, как они устали быть евреями, они его, Сеймура, решили сделать дантистом.

— Скажите, что плохого еврею быть дантистом? Джи-джи-джу, дантисты богатые, но родители хотели меня сделать назло всем профессором по Данте, если про такого слышали, потому что они думали, что лучше сидеть на Олимпе с лаврами на голове, чем копошиться в штетле. Если бы я лечил зубы, я был бы хорошим евреем в Америке, а со стихами я — "бам"... Не всегда. Летом, —

Сеймур погладил рукоятку своего металлоискателя, — летом я ходил по хорошим пляжам, загорел и жил, как ваш русский царь, мог позволить себе даже женщину. Летом. Потому что осенью мою Беатриче зарезали. Да, что я вам рассказываю...

— Нет, нет, говорите, — поддержал Дарий, больше всего довольный тем, что успокаивается и слушает, и свободно понимает такую длинную для него английскую речь. — Так вы и сами, значит, еврей?

— Уже не уверен, — сказал Сеймур. — Когда я устал быть дантистом, я смылся из дома и поехал в Израиль. Там я увидел, что я совсем не еврей — не то, что про это воображают у нас, в Штатах.

Сеймур попросил еще одну сигарету.

— Вы можете про себя воображать, какой вы дантист или пуп земли, если вам так сказала ваша мама.. Еврей вы или нет, решают другие. Гитлер решает, Сталин решает, даже вот эта буфетчица. Бежим отсюда, она начинает меня облучать. А вы, сэра, может, правда еврей, раз так сомневаетесь, хотя есть вещи важнее, лучше давайте-ка научу, как вслепую подстригать ногти, "пис-оф-кейк"...

Вечером, во время телепрограмм с русским переводом, Дарий никак не мог решиться рассказать жене про свой толстовский "арзамасский" ужас. Не хотелось позориться. Однако, когда передача заканчивалась, и Анна присела рядом, у телефона, Дарий все же вскользь заметил, что, вот смех и грех, не понимает, что с ним делается, не видит собственного лица, — пустое место...

— Дашенька, — наклонилась к нему жена, — я как раз собиралась тебе сказать, признаться, что уже шесть лет, как я себя не чувствую, не вижу. Детям мы не нужны — и хорошо. Пусто все как-то, никого уже и видеть не хочется, ни разговаривать, да и о чем? Интересы нет. "Пустое место" — ты прав.

— Я прав, и ты права, — поднялся Дарий, чтобы отправиться в спальню. — "Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст..."

— Но надо отдать справедливость, — продолжала Ан-

на, — жаловаться нам грех — снабжение здесь исключительное. До чего же замечательное снабжение!

Дарий взял снотворное и лег, уткнувшись лицом в подушку. Оставшись в столовой, жена, как всегда в эти поздние часы удешевленного тарифа, усаживалась за телефон.

— Ну вот, — думал Дарий, — ни с кем говорить не хочет... Где-то он слышал мнение, что женщины легко выговариваются и тем спасаются. Мужское же тугодумие оборачивается глупостью, только увеличивая стресс, — не так ли и я, старый паникер...

Анна могла в Москве часами висеть на телефоне с подругой, мыча и ойкая, повторяя, казалось бы, одно и то же: "Аид? Агой! — И после паузы и смешков опять: "Аид?"... Вопросы хотя и повторялись, но междометия и нечленораздельные звуки делали беседу увлекательной и полной смысла. Так и сейчас, мерно тикали за стеной в столовой ходики, и Анин голос сопровождал: "Американец!... Ру-у-усский? Тик-так-так."

## 3

Одно время они жили в Москве с Балкопой на соседних Тверских-Ямских улицах: Дарий — на 2-ой, Соломон — на 3-ей. В коммунальной квартире Корша окно их соседей Миуссовых выходило на улицу Горького, так что Дарий, для простоты, считал эту магистраль своим адресом. Он говорил Соломону: "Заходи к нам, на Горького, чего-нибудь сообразим."

В хрущевское время Балкопу отселили в Новогиреево, и Дарий добавлял: "Заглядывай к нам, в столицу, не пропадай, Соля". Получилось так, что сначала на Запад уехал Соломон, несмотря на то, что борьбу за выезд первым затеял зять Дария — Додик. Вольнодумство Додика было замечено еще когда тот только ухаживал за дочерью Дария, Ириной. Дарий дразнил его космополитом и стилигой, не только, впрочем, не осуждая, но

даже и с любопытством выслушивая его — какой кошмар передавала вчера "Немецкая Волна из Кельна".

Додик отпустил бороду до самых глаз и расхаживал по квартире в одних трусах вокруг своего божества, магнитофона "Днепр", на котором вечно рвались пленки с уроками языка иврит: "Шлошим-кашкашим-пишпишим...". Даже в те пыльные брежневские времена Додик вдруг зажил красочной и полной опасностей жизнью подпольщика-революционера: ходил на сходки, шифром говорил по телефону, отмечал даже Дарию неведомые праздники каких-то "Кущей". В бельевом шкафчике прятался расплзающийся по листочкам учебник "Алеф Милим", напечатанный "там".

Корша забавляло, что соседи, не разбираясь еще в сущности дела, говорили: "Хорош ваш зятек, под Фиделя — весь в бороде". "И на здоровье", — думал Дарий, глядя, как человек изменяется на глазах: Додик, с его ипохондрией, вдруг отказывался спускаться в метро, заявляя, что "отключается в душном подземелье среди бездушной толпы", а однажды, когда диктор произнес: "Двери закрываются — следующая станция "Кропоткинская", Додик побледнел, рванулся и протиснулся назад, на перрон.

В кино он принципиально садился на самые крайние места, ближе к выходу, и, когда был аншлаг на "Королеве Шантеклера" и таких мест не оказалось, Додик в темноте зала начал сдавать и судорожно глотать воздух. Только чудом явилось спасение, какой-то грузин сзади резанул сквозь зубы: "Кыш, кацо, не вэртис, сияпонтис, шени деда!"

Додик затих и досмотрел фильм до конца. Потом он объяснял, что ему показалось, что грузин раскрыл его, определив "сионистом", может быть, заметил его ермолку под кроличьей шапкой-ушанкой. Друзья-хаверим по ивритскому кружку успокоили, что его называли безобидным "потистом" — "с понтом под зонтом, а сам под дождем", и что, по всей вероятности, слезка органов за Додиком еще не установлена.

К подаче документов на выезд Додик был уже ветераном движения "Отпусти народ мой". Он консультировал колеблющихся и иногородних. Его искали диссиденты из Баку и Кишинева, тайно приезжавшие в Москву для выяснения рыночного соответствия курса доллара, рубля, а заодно, и шекеля. Всем Коршам в визе отказали, "по нецелесообразности", потом по причине "без причин", потом объяснения иссякли, как говорилось, "контора справок не дает". Балкопа, гораздо позже подав, получил документы без запинки и улетел.

Когда Дарию снилась заграница, она ему виделась в ярких кубиках блестящей цветной карамели; знакомые ему люди бегали между ними по солнечным аллеям вприпрыжку, размахивали руками и запускали в небо большие шары. Звука во сне не было.

## 4

К приезду Коршей в Нью-Йорк заграница была полна соотечественников. Им все спешили дать советы, где берутся фудстампы, как отовариться бесплатной ортопедической обувью, которую прекрасно можно носить как обычную... Дарий ходил, как очумелый, не вполне понимая, что ему пытались продемонстрировать старожилы — их автомобили, по два на семью, кондоминиумы, целые собственные дома размером со спальный корпус профсоюзного санатория. Что ни день пировали и чокались. Выходя в туалет, Дарий отмечал идиотскую растерянную улыбку, приклеенную на его физиономию. В те дни он не знал бы, как ответить на обязательный вопрос, что поразило его больше всего. Он бы пожал плечами и растерялся, потому что, в действительности, поразило его только собственное глупо очевидное откровение: "Я, Дарий, в Америке. В той самой!".

Балкопа таскал его, конечно, и в брайтон-бичские рестораны. Ну там-то, Дарию казалось, он уже бывал: еще задолго до войны, когда отца назначили завотделением в киевском военном госпитале. Оглядываясь по сторонам,

Дарий узнавал знакомые картины — вот, скажем, эти налитые мужчины за угловым столиком, чьи загривки лоснятся под люстрами, — известные мануфактурные воры, они там и сидели в киевском "Эльдорадо". Музыка и еда были бесспорно те же самые и те же песни. Разве что бар перенесли на возвышение и переставили пальмы в кадushках. В разгульной компании за его спиной кричали: "И малому налейте, малому, не поперхнется!" Малым оказался пятилетний пацан, которого грузная напомаженная тетка в черных кожаных штанах, прижимая к черной кожаной груди, тащила танцевать "7-40". Разговаривать в ресторане, точно так же, как тогда, в Киеве, было бессмысленно. Соля пробовал перекричать оркестр, только охрип и отчаялся.

Наговорились они с Балкопой и намолчались за шесть лет послеобеденных прогулок. Кружили они обычно по одним и тем же невзрачным улицам своего Риго-парка, которым для придания московского колорита давали экзотически звучащие имена "Харитоньевский", "Зачатьевский"... Игра в слова была лучшим средством приручить чужеватую местность, для которой у Балкопы имелось развернутое определение — "поселок городского типа минско-пинский Квинск". Наподобие чаепития вприкуску, Соломон называл картину Америкой "вприглядку"; хотя Квинс и не очень похож на настоящий город в их, москвичей, представлении, но в безоблачную погоду вдалеке все же можно было различить небоскребы Манхэттена.

Прогулки свои они завершали на детской площадке, где скапливалось русскоязычное общество. Доминошники во главе с полковником Хруновым забивали козла за прочным крашеным столом, сколоченным заодно с лавками. Стол был намертво вкопан в землю на краю газона, и железная мусорная корзина, плетеная, как Шуховская башня, была прикована к столу такой мощной стальной цепью, что захоти пенсионеры похитить ее для какой-либо нужды — не удалось бы.

На отдельной лавочке сидели за шахматной доской два сублильных старичка, Голдин и Гилдин, которых затруд-

нялись различать и которые, похоже, сами с трудом различали друг друга. Болтая ногами в теплых ботиках, не достающими до земли, они, оба глуховатые, кричали по очереди шахматные ходы и возникающие соображения, что пробуждало от дремы выпадающего из игры партнера.

"Аш-два, же-четыре... жизнь-копейка! Чего я хочу? Я лично себе ничего не хочу!".

За шахматной игрой наблюдал сравнительно недавно приехавший пенсионер из Вильнюса — Кичин. Владелец красной тисненой книжки якобы старых большевиков, которую он всем и каждому бегло показывал и тут же прятал, Кичин был хоть и новенький, но строгих правил иммигрант — ругал почем зря и ХИАС, и НАЯНу, и Америку в целом: "Они же к нам не подготовились, нет! Еще в Кеннеди я сунул им в нос мою книжку — вы, паршивцы, не подготовились, извольте признать!".

Слева от шахматистов, по краям песочницы, группировались дамы. Вели себя они на манер первоклассниц, подчеркнуто шушукались и бросали ехидные взгляды на мужской пол, но, скоро утомившись, по-старушечьи обмякали и застывали, вперившись в пространство.

Когда у "девочек" наблюдалась относительно тихая депрессивная фаза, Дарий и Соломон подходили сначала к ним и для реанимации скандировали: "Физкульт-привет!" В другой, маниакально-возбужденной фазе, их обходили стороной, присоединяясь к шахматистам и Кичину.

— Что пишут, господа-товарищи? — спрашивал Балкопа, показывая на стопку "Нового Русского Слова", прижатую от ветра шахматной доской.

— Одни старые майсы, — отвечал, например, Голдин. — Давно мы это прочли и забыли. В "ихних" газетах!

Старички считались на детской площадке знатоками Америки, они могли худо-бедно разобрать кое-что по английски из газеты или текст на упаковке лекарства. Они даже поработали переводчиками — в оранжевых накидках в конце школьных занятий переводили детей через дорогу. Говорить по-английски они выучились сами,

но, странное дело, с разным произношением: так, если Голдин постоянно "ойкал" на букве "р", Гилдин — раскатисто рычал львом. По их собственному определению, Гилдин выработал северно-бруклинскому акценту, а Голдин — южно-бруклинский (в Бруклине жило большинство их знакомых). Например, объясняя, что нормальная рабочая неделя — 40 часов, Голдин говорил — "ноймал-войк-фойти-аус, сойтанли", а Голдин рычал в ответ — "ай-гар-р-рыт, фор-ри ар-рс". Гилдин, покрутив в воздухе ферзем, поставил его на место, оценив свое, видимо, шахматное положение — "нихт-гут", на что Голдин возразил, что "взялся—ходи" — и добавлял, что все "нихт-гут, во всей стране депрессия, пусть хотя бы детям будет хорошо". Кичин язвительно фыркал и начинал свое: про определенные обязательства заевшегося Запада, которые надо потрудиться выполнять". Дарий обыкновенно склонял Балкопу еще пройтись, еще два круга, ничто не облегчало так душу, как простая пешая ходьба.

На первый день Хануки почтальон Льюис вручил Дарию два письма, адресованных Дарию лично, с его именем, полностью написанным от руки.

Одно письмо было в устарелом первомайском конверте из Эссентуков. Какой-то незнакомый Дарию пионер Садык Мамеев писал округлыми детскими буквами: "Дорогая дядя Даша! Приезжай к нам в Эссентуки!". В письме говорилось, что мама и сын Мамеевы очень любили покойного Семена Исааковича, "Сенечку", который всегда хорошо отдыхал и поправлялся в Эссентуках, в их санатории XX партсъезда. Заключалось письмо дипломатическим заявлением, что, если Корши не могут быстро приехать в Эссентуки, маленький Садык и его мама и шофер санатория Гога сейчас же готовы сами приехать погостить в Америку и тем самым "утереть всем нос в 4-ом грязелечебном корпусе".

Второе письмо, в плотном аккуратном конверте со штампом меноры, похожей на ветку ханаанской пальмы, оказалось приглашением на воскресенье в местную синагогу.

## 5

На это же воскресенье выпадал день рождения душанбинки Цици Рахмуновой, соседки по дому. Впереди маячили бесконечные праздничные дни, сверкающее ма-рево, через которое нужно было перескочить в новый год. Дарий, решив перебороть свой психоз, уже который день избегал даже испытывать судьбу, не искал своих отражений и брился вслепую, как Рэй Чарльз.

С ночи выпал легкий снег и тут же стаял почти весь, если не считать слабых улик по краям тротуаров и крыш, по гребням внавал оставленных холмиков листьев. Было солнечно и зябко, но не морозно — обычный нью-йоркский декабрь, неуверенный — превратится ли ему в зиму или еще помедлить под видом поздней осени. Так же неустойчиво вели себя и жители: выпал бы большой снег, что было вполне по сезону, они бы счищали его лопатами и снегометами, а при солнце и наплыве теплых воздушных масс откуда-нибудь с Карибов, они во власти безусловного рефлекса, будто осенью, принимались собирать и сдувать эжектором опавшие листья — всегда ведь найдется неубранный закуток; а временами, по случаю особо редкого потепления, запускали, что было совсем уже странно для декабря, тарахтелки-травокосилки.

Как раз в эти часы улица вокруг районной синагоги "Бет-Тефила" была заставлена автомобилями плотнее обычного. Русские пенсионеры, жившие поблизости, приходили пешком, американских привозил микроавтобус дома престарелых. У входа в синагогу активисты раздавали ермолки и ажурные наколки, пришлепывали на грудь наклейки "Хэлло, я Ханна", поддерживали шатких старушек и вкатывали инвалидов на колесных креслах. Зал быстро заполнялся. Сверкали на просвет витражи длинных восточных окон с многоцветной мозаикой из букв, менор и языков пламени. Раввин, полосатый от талеса и косых лучей солнца, назвал страницу. Зашелестели. Началось чтение. Зал шумно вставал. Облегченно шумно садился. Пел кантор. Дарий и Анна ("Ханна" на нагрудной

наклейке) не раз уже бывали в этой синагоге, знали, как отыскать нужное место в книге, знали, когда можно просто бормотать, а когда произносить вслух и завершать, говоря "Амэн".

Наблюдая детей в молящейся толпе, Дарий представлял, как должно быть просто и естественно для них совершать все это и как в старости привычка может стать утешением. У него самого таковой, увы, не было. Дарию было несколько совестно, хотя так поступали почти все иммигранты из Союза, тарабанить сущую абракадабру, попугайничать слова и звуки, как балбесу, не приготовившему урок, разве что разыгрывать прилежание. Он видел, что многие делают то же самое, и бывало смешно. С другой стороны — возникала тоска и делалось грустно оттого, что он, жизнь уже проживший человек, какой-то ненастоящий, не еврей, не русский — "малаец" из анти-семитского анекдота, только обозванный евреем, а по сути запутанный еще больше, чем бродяга Сеймур. Хотя и случалось, что Дарию чудились знакомыми давно слышанные слова, помнил, как их повторяла мать, все вперемишку с терпким запахом выделанной кожи (дед занимался кожевным ремеслом); помнил, как отец в сапогах вел его за руку вдоль высоченных дровяных сараев, по лужам и лопухам, по гомельской улице в воскресенье. Шли в синагогу? Молитвенник в лоснящейся обложке на туго накрахмаленной скатерти, коптящую керосиновую лампу, осколок сахара или жменю халвы в липкой золотой бумажке... Законченность этих сладеньких воспоминаний, неверность их — так ли все было? — смазанность лиц, еще сильнее тревожили душу и, в конце концов, могли даже выбить слезу, когда вдруг делалось смертельно жалко себя самого, свою ускользнувшую жизнь, потраченную, кажется, на одни ожидания — вот-вот что-то начнется, вот-вот кончится; чуть перетерпеть — боль пройдет, кончится плохое, а там уже совсем немного — и начнется хорошее. И заживем!

Еще ему хотелось верить, что где-то "там" есть, не нам чета, мудрейшие люди, гении знания и предвидения,



всемогущие исцелители, для которых смехотворны наши детские страхи и сомнения, и вдруг, с возрастом, стало закрадываться тоскливое подозрение, что ничего и никого "там" нет и никогда не бывало, даже и не могло быть, потому что все точно такие же» как ты сам, — одинокие и голые, безнадежные однодневки.

Когда Дарий мычал в унисон со всеми темные слова еврейской молитвы, покачиваясь и уставившись невидящими глазами в ленточный узор святой книги, так вдруг окончательно и светло прояснилось ему, что страхи его не беспочвенны, что на самом деле он сир, гол и одинок перед вселенским ужасом, что вдруг слетали путы и поднималось в душе облегчение, щекотало в носу, и глаза свои он обнаруживал на мокром месте. Скосив взгляд, замечал он что-то подобное и у своих соседей, улавливал в их интонациях скрываемый вздрагивающий предплач и удивлялся, как это удалось им проникнуть в "его" случайные мысли. Себя же он тотчас одергивал, упрекая в сползании в деменсию и элементарный старческий ма-разм. Стариком Дарий себя еще не считал, "еще нет, извините", и саму ермолку-то он надел из чисто бескорыстного притворства, из приличия или любопытства. Что ему синагога? Что знал он о пятикнижии Моисея или о Талмуде?

Однако же Дарий клял и осуждал себя и не мог ничего с собой поделать, когда ему, например, был неприятен какой-либо человек или дело, считающееся еврейским. Он ругал себя антисемитом, когда он не мог вызвать в себе симпатию, например, видя массу празднующих хасидов, рядовых, в черных шляпах, и других — важных, в меховых торбах; ему тогда виделась одни черные ползающие жуки и делалось гадко. Как и в случаях, когда пытались апеллировать к его еврейству, пытались расшевелить плоскими, заезженными идиш-шуточками, мелкотравчатыми примитивными сусальностями или действовали слепыми аргументами в защиту чего-то только потому, что это "что-то" выдавалось за еврейское. Он заходил в тупик каждый раз, когда рождались такие "неправиль-

ные" чувства. Приходилось признать, что сам он — продукт другого времени и переделываться поздновато. В такой солнечный денек, как сегодня, например, Дарию гораздо легче было припомнить что-нибудь бодро спортивное: каток "Динамо", футбольный марш "ну-ка, солнце, ярче брызни...", хрипотцу "у микрофона Вадим Синявский", имена спартаковских форвардов, страну мечтателей, страну ученых... Что за злая ирония, уже зная про все надувательства и кровавый обман, сохранять в себе советский ералаш и готовность петь песни веселых ребят! Дарий еще помнил, как завидовал старшему брату, тот был "ашейгец" — отщепенец в семье — из Мотла Корша превратился в комсомольского вожака Михаила Коршунова, печатал в газетах первомайские стихи, начинал сниматься в кино, даже попал в делегаты партсъезда. В свой черед оказался "разоблачен", в том числе и за сокрытие национальной принадлежности, и, как водится, пропал бесследно. С тех пор канула целая вечность. Но и сейчас, оглядываясь на евреев, собравшихся в Квинсовской синагоге, Дарий видел, что мечта прекрасная, еще неясная, Мишки Коршунова — красного командира, если и не зовет уже вперед, то все равно где-то упрямо застряла и зудит. И не только у него. Что-то забавное можно было заметить даже в выходном наряде пожилых его соотечественников. Нет, они особенно специально не наряжались, с какой стати будут заниматься этим отяжелевшие и хворые перемещенные лица, они просто по случаю Хануки выбрали надеть что-то "приличное" из того, что у них оказалось, хотя здесь, в Америке, можно нарядиться кем угодно. Но и в случайной одежде этих людей Дарий узнавал ту же самую зудящую мечту прошлых лет: кто-то был в чкаловской куртке авиатора, кто-то в кожаном кителе "партайгеноссе" с ремнями и погонами, попадалась буклистая кепка вратаря Хомича, тяжелое ратиновое пальто засекреченного главного конструктора, а у женщин — шарфы и накидки фильмовых артисток. Не то, чтобы это был буквально задуманный маскарад, но все равно почему-то мерещились сталинские соколы,

трофейные кинокартины, свободный Париж — мура 40-х, 50-х, когда всем этим людям было по двадцать лет.

После окончания молитвенной службы в синагоге раздвинули стенные перегородки и присутствующих пригласили в открывшийся позади баскетбольный зал иешивы, где уже были накрыты столики с легким ханукальным угощением. Разносили картофельные латкес, бисквиты с орехами и изюмом, чай, кофе. Американская пожилая пара, сидящая с Коршами за одним столиком, настаивательно рассказывала, почему-то обращаясь только к Анне, словно Дария не существовало, что такое Ханука и как правильно готовить кугель и кашу "Варнишкес" на курином жиру.

Во время чая принесли нехитрые подарки для каждого и открыли представление силами учеников иешивы. Обстановка удивительно напоминала утренник новогодней елки где-нибудь в детском саду на Красной Пресне, хотя, понятно, о христианской рождественской елке в синагоге не могло быть и речи. Однако, повсеместно соблюдалось осторожное американское равновесие "сезонных" праздников: что-то гоям, что-то евреям. Не рискуя ошибиться, американцы дипломатично желали друг другу "счастливого праздника", не уточняя, какого именно. На улицах и площадях рядом светились огнями елки и меноры, как перевернутые варианты одного и того же символа: у елки ветви спускались углами вниз, у меноры — вверх.

Специально для русских в программе концерта было много песенок на идиш, отдававших легким местечковым хулиганством. Нестройным хором, с поддержкой активистов, пели "Хаванагилу", много и звонко исполняли скрипичную музыку "Клязмер", проходившую в СССР под кошерным именем молдавских народных танцев.

Несмотря на все эти, довольно громкие, с притопами и прихлопами, номера самодеятельности иешивы, многие обитатели дома престарелых — "синьоры ситизены" уже откровенно дремали, пришамкивая во сне. Анна со страхом смотрела на соседку, уронившую голову набок с

высунутым наружу бледным языком, и шептала Дарию: "Кто эти дети, что отдают мать в дом призрения!".

## 6

В тот же день вечером собирались на квартире Рахмуновской. Для любопытствующих сообщалась цифра — 65 лет, но тут же давалось понять, что не следует смешивать официально объявляемый возраст, необходимый по бюрократическим соображениям для плавной проходимости пенсионных бумаг, и чернобровую, плотно сбитую юбиляршу, которой никакой здравомыслящий человек таких лет не даст.

В квартире было жарко натоплено, по стенам висели таджикские ковры, ковры покрывали мебель, на полу лежали ковровые дорожки. Золотились крепко надраенные чеканные тарелки и кувшины.

Над напольным "эмигрантским" телевизором "Зенит" висела сильно ретушированная и неумело подкрашенная фотография Цилиного покойного мужа, на которой лучше всего получились усы и каракулевая полковничья папаха, прозываемая "мозги".

Когда появились Корши, их не без труда рассаживали по разным углам стола, удаляя некоторые диванные подушки и потеснив гостей, пришедших раньше. Уже вкушали влажную, рассыпающуюся кулебяку, несли дымящийся плов с изюмом и урюком, поговаривали о несравненном морковно-медовом кулинарстве хозяйки, от которого проглатывают язык. Чтобы было не скучно кушать и для большей интеллигентности собрания, соседка Лиля Помбрик принесла кассету с сеансами Кашпировского.

— Нам хочется жить тысячу лет, не правда ли? — проговорила Лиля, а между прочим наступает критический возраст. Ее щечки с ямочками смягчили суровую правду. "Кабы не моя кислотность, — сказала хозяйка, — я бы Америку вверх дном перевернула. Чтоб я так жила!"

— Только не это, — закричал Балкопа, — мы же тогда обратно окажемся в Душанбе. За гулом и разговорами

слушать Кашпировского было невозможно. К тому ж Балкопа сцепился с Голдиным, заявляя, что молодежавый гипнотизер не кто иной, как правая рука Жириновского. На что Голдин возражал, что это вранье и не может быть никогда. На спорящих мало обращали внимание, так как заканчивали благоухающий цветами Востока плов и уже разносили розетки для третьего. Однако тут на экране женщины-пациентки принялись вращать головами, кто-то усилил звук, после чего Кичин, медленно поднялся над столом, взмахнул кистями рук, как великий дирижер, и грохнул так, что зазвенела посуда: "Требую вырубить телевизор и прекратить балаган!". Хрунов встал, выключил и в наступившей тишине сказал: "Вам всегда все не нравится и все вас раздражает."

— Кому это "нам", — повысил голос Кичин. "Не позволяю вам здесь юдофобствовать". Он сунул руку в пиджачный внутренний карман, где покоилась его красная книжка. "Расскажите-ка, товарищ полковник СССР, как это вы выехали по израильскому вызову. И почему не доехали до места назначения!" Хрунов так и ахнул: "Ну вот, прямо в поддых, а вы-то сами чем лучше?" Между тем, в каждой руке по стопке, стал дегустировать ликеры, один — ярко-зеленого цвета, другой — канареечного. Окончив эксперимент и выпив тот и другой, он вдруг мечтательно сказал, что крепко подумывает и, видимо, в самом деле переедет на постоянное жительство в государство Израиль. "У меня, знаете, хор-роший друг проживает в Рамат-Авиве и вообще мне там, в Израиле, форменным образом нравится". Оказалось, что он единственный во всей компании, кто бывал там несколько раз. Обращаясь к Балкопе, он сказал, что Соломон прав и что, в самом-то деле — "какие вы тут, господа, евреи, вы и не евреи вовсе. Над вами только издевались и шутили, а я вот захочу и буду."

Дарий дремал в углу, обложенный диванными подушками. Он проваливался как будто в сон и, вздрагивая, возвращался в застолье. Слышал, однако, он весь разговор и вспоминал о Сеймуре с детской площадки.

— Вам, Федор Никанорович, — сказал он Хрунову, боюсь, не просто превратиться в еврея. Это только для тех, у кого нет выбора. Сказано же — "избранный народ". Когда дело дойдет до газовой камеры, выберут все равно того же Кичина.

— Ну уж, позвольте, — всполошился Кичин, — спасибо вам за комплимент!

Дарий хотел еще что-то добавить, но непонятное происходило с его глазами — лица людей перед ним сливались и расплывались, криво плыла вся комната. Он вскочил на ноги, плохо слушающиеся после сидения в мягком логове, поблагодарил хозяйку, распрощался во все стороны и, захватив Анну плотно за руку, поспешил домой. Там он метался по квартире, не зная, собственно, чего хочет, наконец, подставив табурет, забрался в нишу над входной дверью и, разворошив собранные ненужные вещи, вытащил старый альбом снимков из России с оторванной передней обложкой. Усевшись в столовой, принялся деловито листать. Вот он в солдатской гимнастерке в обнимку с таким же бритоголовыми, как он. Вот они с Анной, висок к виску, в свадебных вензелях. Вот их коммуналка на "Маяковке", справляют Женский день; только что умер Сталин, и через месяц не станет отца Дария, его смазанные на фото очки и нос различимы низко над столом под абажуром с кистями, Ирочка в детском саду, Дарий принимает курсовые проекты. А вот парадный снимок Дария с Доски почета института.

Себя Дарий узнавал по памяти, как он узнавал родственников и знакомых, не больше. С тем же основанием можно было сказать, что он себя "не" узнавал, как однажды, пробегая по ГУМу, неожиданно усталился в зеркальную тумбу в центре зала у фонтана и увидел вместо собственного совершенно незнакомое лицо. Так и на этих старых фото он скорее знанием отыскивал себя, но не чувствовал безусловно сердцем, как, например, лицо матери, которое с легкостью мог распознать даже в недопроявленном пятне, на загубленном снимке. Он начинал листать альбом быстрее и быстрее, как будто боялся

опоздать и искал какую-то срочно нужную ему фотографию. Анна, проходя мимо на кухню, спросила: "Перекусишь? Яблочка?" Дарий отшвырнул альбом, дотянулся назад, до им же недавно перевернутого зеркала на тумбочке, накрытого сейчас конвертом из синагоги с лапкой ханаанской пальмы на лицевой стороне. Схватил зеркало и решительно поднес к самым глазам: из зеркала смотрел важный Дарий, такой же, как на снимке с Доски почета, в двубортном габардиновом кителе с массой орденских планок на груди, крепкое, открытое лицо, сильные скулы, глаза глядят с отвагой, чуть насмешливо, даже самонадеянно. Лицо в зеркале не двигалось, только с краев поползли чернеющие пятна, как на засвечиваемом снимке, постепенно поглощая все поле зрения.

## 7

Утром в понедельник, так рано, что Балкопа еще и не начал делать приседания, а только еще зевал, раздался телефонный звонок. "Хуже нет, чем звонки спозаранку, — сказал Балкопа. — Хамство чистой воды." Звонила Ира Корш: "Дядя Соля... В общем, так... вчера папа умер!"

Два конкурирующих предприятия, два похоронных дома стояли по разным сторонам шоссе. Многие приглашенные, ошибаясь, попадали в "Бен-Арам", где было очень мило и вежливый служака радушно приглашал проходить и садиться; только там говорили, похоже, как по-арабски, пела зурна, курился сладкий синеватый дымок и хоронили какую-то девицу.

В правильном похоронном доме "Вэйс и сыновья", том, что ближе к автомобильному переезду, еще и не начинали. Суетился распорядитель, и прибывающие неуверенно толкались в прихожей прежде, чем войти в положенную дверь. Было довольно морозно и зябко, так что многие группировались в очереди перед узкой туалетной дверцей, курили и вполголоса переговаривались.

— Как-то мой Элик успеет сегодня, самые рабочие часы, а ему босс по часам платит.

- А что, покойник тебя спрашивал, когда тебе удобнее?
- Я его мало знал. Это со второго этажа?
- Нет, тот был на прошлой неделе.

Стоял полумрак и застарелый тошненький дух. Душно пахли надраенные мастикой длинные лавки с коробами для молитвенных книг.

У замазанного до половины белилами окна, ближе к отопительной батарее, сидели Голдин и Гилдин, раскачивая ножками, не достающими до пола. Разглядывали входящих, шумно шептали: "Никаких цветов, вы с ума сошли! Жать руки не полагается, возьмите кипэлэ у входа, никаких "здравствуйте", никаких "спасибо"!"

Входящие продолжали дискуссию: "Кого-то еще беспокоят рабочие часы, меня лично никакой начальник в Белом доме не ждет с докладом. У нас теперь один начальник — товарищ велфэр. Отсядем-ка лучше от двери, по ногам холодом несет."

Дверь в зал совсем не выходила наружу, от уличного входа ее отделял вестибюльчик и коридорчик. Это Дарий, или то, что недавно было Дарием Коршем, еще витало поблизости от своего отказавшего тела. Эманация Дария — то, что сейчас, как и тысячи лет назад, гадательно определяют мифической душой или ангелом смерти, реже ангелом жизни, до сих пор необъяснимое и никак не покидающее воображение "нечто", под которое, по мере умудренности, подставляют то дымок и запах, то магнетизм и плазму, — это "нечто" плавало над покинутым своим обиталищем, теперь уже бездушной восковеющей куклой, страшно отяжелевшей, с сосудами, залитыми формальдегидом, как свинцом.

Крышка гроба, изнутри обшита белым шелком, стояла ребром между свернутым в рулон ковром и ящиком со свечами. У входа на амвон сидели жена и дочь усопшего, соседи по лестничной клетке. Чем больше входило новых людей, тем горше принималась убиваться жена, отворачивая в шаль за ночь постаревшее лицо и повторяя без конца: "...спросил у меня яблочка, я только пришла с кухни, а его уже не-е-ет..."

— Хватит, мам, хватит, — говорила Ирина.

— Ой, он кисленького хотел, зачем он мне это устроил! — Анна всплеснула руками с шалью и дух Дария спланировал к Голдину-Гилдину.

— Почему Додик не выходит из автомобиля, уже скоро начнут?

— Он внутрь не войдет, я знаю? Говорят, не переносит, ему нельзя отрицательные эмоции.

Дух Дария сгустился на мгновение у сразу заиндеветшего окна, за которым виднелся Додик, сидящий, нахохлившись, в задраенном "Кадиллаке".

С момента вчерашней полночи, когда Дарий вдруг увидел себя в зеркале и чернота постепенно залила его образ, наступила невесомость, потом длинный и тонкий комариный звон, после которого стали потрескивать бесконечные, продолжающиеся до самого рассвета, мириады точечных вспышек, пока дарованная на срок душа Дария как бы отпарывалась от уже непригодного, опадающего под мертвой тяжестью тела.

Дарий отчетливо слышал в блаженной черноте крики жены, беготню, тонкое, почти ультразвуковое стенание бедного Додика, ночевавшего у них, в Квинсе, приезд бригады реаниматоров, сирену полиции, как это и было почти каждую ночь у дома престарелых напротив.

Додик просил, чтобы его, Додика, спасли. Дарий хотел было встать и помочь ему, но, как во сне, не мог. Непроглядность по мере освобождения прояснялась — чернота разделилась на пятна, они, как амебы, задвигались, затолкались, наплывая одна на другую, раздвинулись, открывая бледнолиловое небо с мириадами вспышек-звезд, появились силуэты, комната, все, что имело отношение к происходящему. Дарий узнал Додика в кресле с полотенцем на голове. Микроскопические ранки, вспыхивающие синапсы, надпарывали слабовольную Додикину душу вслед за Дариевой. Затем в госпитале, при процедурах и перевозке сюда, в похоронный дом, Дарий следовал в намагниченном поле за своим телом, различая кругом образы и звуки. Цицилия Рахмунова сидела в

окружении дородных приятельниц, внимательно ее слушающих: "...потом она мне говорит — "а теперь принеси жар." Какой, думаю, тебе жар, голова садовая, когда от жары и так нельзя было дышать; тем летом я только начала этой американке помогать, убираться, сготовить."

— Ты ей свой цимес угостила, Циль?

— Обожди, слушайте, приводит меня за руку и показывает кувшин с лимонадом, "жар" по-ихнему. Я себе сразу карандашом записала, чтобы в другой раз скажет "жар", я ей сразу — кувшин. Я порядки понимаю, эта Линда в Душанбе у меня... тоже побегала бы!

Подошли и подсели еще две женщины. Циль им скорбно кивнула: "Ему уже хорошо. Дарию уже хорошо".

— Слышали, — сказала вновь прибывшая, — он Ано спросил перекусить, она пошла приготовить и — бац! Вот тебе легкая смерть. Как святой! Я себе бы лично мечтала...

Все дружно согласились и позавидовали.

— Отчего умер? — спросила одна, — болел?

— Да что вы, — сказала Рахмунова, — забыли? Вчера у меня плясал, веселился.

Женщины испуганно поежились.

Зал был уже полон. Будто все русские пенсионеры Риги-парка на этот люто похолодавший день перенесли свои посиделки в отпевальню Вэйса. Балкопа, на правах распорядителя, бегал звонить и к входным дверям — кого-то встретить, заглядывал в узкий, как шкаф, кабинет раввина, чтобы там, мешая идиш, немецкие и английские слова, еще раз напомнить, какой замечательный человек был Дарий Корш. Раввин пил из бумажного стаканчика кофе. Над конторкой висел портрет любавического ребе, похожего здесь на деда-Мороза в черной коммивояжерской шляпе. Балкопа был возбужден, и щеки его пылали. "Милый Соля, — отмечал, проплывая и кружась, Дарий, — никто горячее тебя не берется за доброе дело — свадьба или обрезание, или похороны..."

Соломон был в своем ни разу не надеванном финском костюме-тройке, еще из Москвы, шикарном, сладко попа-

хивающем нафталином, что почему-то было приятно для Дарьиной эманации и притягивало. Не считая почтальона Льюиса и нищего Сеймура, в зале еще находилось несколько американцев, соседей и лиц из службы соцобеспечения, Дарию мало памятных, и оттого в месте их нахождения отмечалось некоторое выпадение инородного пространства.

Наконец, из-за бордовой портьеры, как на сцену, вышел шуплый ребе в черном лапсердаке и черной фетровой шляпе. Все затихли. Даже Анна устала и затаилась беззвучно.

Ребе скорогворкой прочитал заупокойный кадиш, то тут, то там вставляя имена Дария и его отца, Элиягу. При имени мужа Анна снова порывалась сорваться, но слез, видимо, уже не осталось. Откашлявшись, ребе раскрыл книгу и, не глядя в нее, продекламировал несколько параграфов английского текста. Отложил молитвенник. Прикрыл глаза, беззвучно шевеля губами, совершая быстрые наклоны во все четыре стороны. Сказал "Амэн". Потом, прищурившись и вглядываясь куда-то вглубь темноватого зала, начал рассказывать на идиш, выбрав для этого случая подходящие истории и притчи. Он не говорил, а почти пел, закатывал глаза и покачивался в такт рассказа. Русские евреи, те, что постарше, понимали или им казалось, что они понимают отдельные умные обороты и заключения, но помимо слов все понимали вечный знакомый мотив с покачиванием, горестным вопрошением, скептическим пожиманием плеч и бесконечно скорбным, вытянутым выражением лица, вдруг завершающийся взмахом обеих рук и как бы насмешливым хмыком. Молодежь в зале неуверенно переглядывалась, им казалось, что раввин рассказывает хохмы — и это на похоронах! Разве можно? Но они видели, что старшие слушают и принимают как должное, из чего заключали, что, видимо, хохмы уместны всегда, даже на похоронах. Может быть, внимательнее всех слушал панихиду, не важно уже на каком языке, сам Дарий; на этот раз он понимал абсо-

лютно все. Это к нему обращался раввин. Еще больше, чем к сидящим в зале. Дарий не только понимал, он следовал каждому слову притчи и, как одурманенный жарким многолюдным дыханием в молельне, кружился и плясал под все убыстряющийся "Клязмер", рука в руке с отцом скакал по лужам, и куры разбежались от них врассыпную.

8

Кортеж автомобилей с зажженными фарами потянулся к кладбищу вслед за катафалком. Ближайшее еврейское кладбище было тесным донельзя и заброшенным, даже Балкопа с его пробивным талантом смог получить пяточок у самой дальней ограды. Люди вышли из машин и гуськом, по узкому ровику, между участками с ноздреватыми старыми камнями пошли к свежерытой могиле. Кружили и падали белые мухи, снег не снег — пороша.

— Вчера еще в этом часу он не знал, где будет, — сказала одна из женщин.

— Сейчас ему хорошо, — сказала Циля.

— Правда, — сказала другая, — Это нам, окружающим, плохо, переживания — раз, и два — нам это все впереди, прости Господи.

Балкопа шел без пальто между Анной и дочерью, обхватив их за плечи.

— Вот, девочки, я все к нему с глупостями, что, мол, я — первый американец, я первым приехал, зачем же он здесь опередил — несправедливо!

Стемнело, и на горизонте засветились башни Манхэттена. Опустили на лямках гроб. Покидали горстями землю. Еще раз послушали ребе и стали расходиться, уже в сумерках, под стук быстро насыпаемой лопатами замерзшей земли. Выясняли, кто кого подвезет, переключались на дела, на этот еще предстоящий вечер, на завтра, на еще предстоящую жизнь.

— В Могилеве, пишут, жуткий бандитизм. Даже в Минске. Шурин приехал, говорит, а обратного билета не брал, на поеду назад, хоть убивайте на месте.

Лиля Помбрик, поскользнувшись на льду, чуть не упала. Ее поддержали.

— Нет, только не здесь. Расшибаться надо перед богатым домом — и получить миллион.

... Дух Дария покружился над своей табличкой, еще бумажной, временной, но носящей его собственное имя в латинских буквах "Дарий Корш", а не "кто угодно", как на безадресной почте. Силуэты уходящих людей пропадали для него, как на выключенных экранах. Ни времени, ни пространства для него уже не было, то есть был он уже сразу везде и всегда, но где-то его было больше, что как бы имитировало движение. Еще раз пролетел он по Квинс-бульвару, по трассе выставленных в окнах ханукальных свечей, мимо похожих на похоронные рождественских еловых венков с красными бантами, через за рево Большого Нью-Йорка. Миновав ледяной холод Атлантики, пролетел над старой Европой. И мягко втянулся на окраину гомельской земли, на отравленную радиацией несчастную, измученную землю, где дед и отец его, и мать и где на камне менора, как ветка ханаанской пальмы.

ПОЭЗИЯ



*Белла АХМАДУЛИНА*

## ПУЛЬСИРОВАЛА БЕСКОНЕЧНОСТЬ

**ДОМ**

*Борису Мессвврву*

Я вам клянусь: я здесь бывала!  
Бежала, позабыв дышать.  
Завидев снежного болвана,  
вздыхала, замедляла шаг.

Непрочный памятник мгновенью,  
снег рукотворный на снегу,  
как ты, жива на миг, а верю,  
что жар весны превозмогу.

Бесхитростный прилив народа  
к витринам — празднество сулил

Уже Никитские ворота  
разверсты были, снег валил.

Какой полет великолепный,  
как сердце бедное несло  
вдоль Мерзляковского — и в Хлебный,  
сквозняк — навывлет, двор — насквозь.

В жару предчувствия плохого  
поступка до скончания лет —  
в подъезд, где ветхий лак плафона  
так трогателен и нелеп.

Как опрометчиво, как пылко  
я в дом влюбилась! Этот дом  
набит, как детская копилка,  
судьбой людей, добром и злом.

Его жильцов разнообразных,  
которым не было числа,  
подвыпивших, поскольку праздник,  
я близко к сердцу приняла.

Какой разгадки разум ждал,  
подглядывая с добротой  
неистовую жизнь сограждан,  
их сложный смысл, их быт простой?

Пока таинственная бытность  
моя в том доме длилась, я  
его старухам полюбила  
по милости житья-бытья.

В печальном лифте престарелом  
мы поднимались, говоря  
о том, как тяжело старым телом  
терпеть погоду декабря.

В том декабре и в том пространстве  
душа моя отвергла зло,  
и все казались мне прекрасны,  
и быть иначе не могло.

Любовь к любимому есть нежность  
ко всем вблизи и вдалеке.  
Ппульсировала бесконечность  
в груди, в запястье и в виске.

Я шла, ущелья коридоров  
меня заманивали вглубь  
чужих печалей, свадеб, вздоров,  
в плач кошек, в лепет детских губ.

Мне — выше, мне — туда, где должен  
пришелец взмыть под крайний свод,  
где я была, где жил художник,  
где ныне я, где он живет.

Его диковинные вещи  
воспитаны, как существа.  
Глаголет их немое вече  
о чистой тайне волшебства.

Тот, кто собрал их воедино,  
был не корыстен, не богат.  
Возвышенная вещь родима  
душе, как верный пес иль брат.

Со свалки времени былого  
возвращены и спасены,  
они печально и беззлобно  
глядят на спешку новизны.

О, для раската громового  
так широко открыт раструб.



Четыре вещей граммофона  
во тьме причудливо растут.

Я им родня, я погибаю  
от нежности, когда вхожу,  
я так же шею выгибаю  
и так же голову держу.

Я, как они, витиевата,  
и горла обнажен проем.  
Звук незапамятного вальса  
сохранен в голосе моем.

Не их ли зов меня окликнул,  
и не они ль меня влекли  
очнуться в грозном и великом  
недоумении любви?

Как добр, кто любит, как огромен,  
как зряч к значенью красоты!  
Мой город, словно новый город,  
мне предъявил свои черты.

Смуглей великого арапа  
восходит ночь. За что мне честь —  
в окно увидеть два Арбата:  
и тот, что был, и тот, что есть?

Лиловой гроздью виснет сумрак.  
Вот стул — капризник и чудака.  
Художник мой портрет рисует  
и смотрит остро, как чужак.

Уже считая катастрофой  
уют, столь полный и смешной,  
ямб примеряю пятистопный  
к лицу, что так любимо мной.

Я знаю истину простую:  
любить — вот верный путь к тому,  
чтоб человечество вплотную  
приблизить к сердцу и уму.

Всегда быть не хитрей, чем дети,  
не злей, чем дерево в саду,  
благословляя жизнь на свете  
заботливей, чем жизнь свою.

Так я жила былой зимою.  
Ночь разрасталась, как сирень,  
и все играла надо мною  
печали сильная свирель.

Был дом на берегу бульвара.  
Не только был, но ныне есть.  
Зачем твержу: я здесь бывала,  
а не твержу: я ныне здесь?

Еще жива, еще любима,  
все это мне сейчас дано,  
а кажется, что это было  
и кончилось давным-давно...

1974

\* \* \*

Ночью подъехала к дому.  
Кротко сказала вознице:  
— Я здесь пробуду недолго.  
Впрочем, заране возьмите  
и подождите.

Резвилась  
мысль про цветы, ибо цены  
меньше на них в Таганроге.

"Кружка для кваса разбилась.  
Лампа и стекла к ней целы".\*

Огонь на мысу, весть о роке.  
Как веселит и пленяет,  
словно на сцене и в роли,  
мальчик в прихожей, племянник.

Дома проведать родимость  
ночью без знаемой цели.  
"Кружка для кваса разбилась.  
Лампа и стекла к ней целы".

\* \* \*

Лапландских летних льдов недалняя граница.  
Хлад Ладогои глубок, и плавен ход ладьи.  
Ладони ландыш дан и в ладанке хранится.  
И ладен строй души, отверстой для любви.

Есть разве где-то юг с его латунным пеклом?  
Брезгливо серебро к затратам золотым.  
Ночь-римлянка влачит свой белоснежный пеплум.  
(Латуни не нашлось, так сыщется латынь.)

Приладились слова к Приладожскому ладу.  
(Вкруг лада — все мое, Брокгауз и Ефрон.)  
Ум — гения черта, но он вредит таланту:  
стих, сочиненный им, всегда чуть-чуть соврет.

В околицах ума, в рассеянных чернотах,  
ютится бедный дар и пробует сказать,  
что он не позабыл Ладыжинских черемух  
в пред-Ладожской стране, в над-Ладожских скалах.

\* Подлинные слова А.П. Чехова из письма к брату в Таганрог.

Лещинный мой овраг, разлатанный, ледащий,  
мною обольщен и мною приважен к похвалам.  
Валунный водолей, над Ладогой летящий,  
благослови его, владыко Валаам.

Черемух розных двух пересеченьем тайным  
мой помысел ночной добыт и растворен  
в гордыне бледных сфер, куда не вхож ботаник, —  
он, впрочем, не вступал в безумный разговор.

Фотограф знать не мог, что выступит на снимке  
присутствие судьбы и дерева в окне.  
Средь схемы световой — такая сила схимы  
в зрачке, что сил других не остается мне.

Лицо и речь — души неодолимый подвиг.  
В окладе хладных вод сияет день молодой.  
Меж утомленных век смешались полночь, полдень,  
лад, Ладога, ладонь и сладкий сон благой.

1985



Владимир ДРУК

## ИЗ СТАРЫХ ТЕТРАДЕЙ

*С. Седову*

А ты читал стихи Бориса Пастернака,  
Качая головой, качая головой.  
Сплетались в узелки таинственные знаки,  
Стекали по стеклу, по дымке голубой.

Сидели у окна, на нашей старой даче,  
Где раннею весной, где раннею весной  
Оттаявший от сна, бревенчатый, чердачный,  
Раскачивался дом, набухший и хмельной.

А ты читал стихи, как шепчут заклинанья,  
Хлестало по стеклу, крушило и рвалось —  
раскачивалась ночь.

Мы распахнули ставни...

Под утро нам взлететь впервые удалось.

## ИЗ СТАРЫХ ТЕТРАДЕЙ

131

\* \* \*

Лихой солдатик  
в зеленой каске,  
в зеленой каске  
на тонкой шее,  
о чем задумался ты,  
солдатик,  
прижавшись телом к сырой траншее?

О том, что август  
роняет звезды  
безумно щедро?  
И — нет предела  
ни звездам этим,  
ни нашей жизни?

О том, что звезды,  
земля и небо  
полны значенья,  
любви и смерти?  
О том, что надо  
легко и просто  
свое исполнить  
предназначение?

О том, как сидя с тобою рядом,  
На звезды смотрит и курит жадно?..  
Проходит лето.  
А ты насвистываешь мотивчик  
Из старой песенки Окуджавы.

## Ноябрь, 92

...день за днем открывается правда.  
Беспощадна ее пустота.  
Был парад. Но уходят с парада.  
И кумира снимают с креста.

И пустеет парадная площадь.  
 Барабанов не слышно и флейт.  
 И так страшно, так странно — наощупь  
 В барабанной идти тишине.

## Два неотправленных письма

1

Ваш образ — он передо мною:  
 В изломе губ, в прищуре глаз,  
 В движениях... я поневоле  
 Везде припоминаю вас.

Какой вы? — добрый, как загадка,  
 Иль одинокий, как ответ?  
 Я ваш портрет пишу в тетрадку,  
 Как дневники в шестнадцать лет.

Вы ироничны. В остром слове  
 Заметная игра ума...  
 Но слово для души — окова,  
 И, значит, ум для вас — тюрьма.

Вы благосклонны. Сень искусства  
 Вам дарит радость хоть на миг...  
 Но суть искусств — в отдаче чувства,  
 Как жаль их тратить на других!

Крахмал манжет и модный галстук,  
 И отутюженный костюм...  
 Ах, боже мой, какой вы мальчик,  
 Ах, как вы юн!

Вы вежливы. Сердечность боли  
 Внутри. А внешне — твердый наст.

Зачем вы метите в герои?  
 Жизнь проще и умнее нас.

Какой вы? — боже милостливый,  
 Да я любого вас люблю!  
 И знайте, оборотень милый,  
 Вас зельем темным опою,

И знайте, баловень удачи,  
 Что нынче ночью, в точный час,  
 Сведу с ума, переиначу,  
 Вскружу и околдую вас!

2

Ты гадаешь, — смеюсь, — гадай!  
 Разгадай этот странный свет —  
 Тайный символ судьбы моей.  
 Ты — колдунья, а я поэт.

Ночка темная, дальний путь,  
 Возвращение в дом родной.  
 Ты гадаешь, я слышу: "Пусть,  
 пусть я буду его женой".

Полночь пьяная. Боль и свет.  
 Этот странный, далекий свет...  
 Ты колдунья, а я — слепой,  
 Ты уводишь меня домой.

Карта выпадает — черный туз,  
 Дама пик и король бубен.  
 Ты гадаешь, я слышу: "Пусть,  
 пусть он будет в меня влюблен."

Ты гадаешь, смеюсь — гадай!  
 Разгадай этот странный свет!

Я запутался, я умру.  
Ты — колдунья, а я поэт.

"Проживем с тобой сотни лет,  
Внуки, правнуки, дом родной...  
Никуда тебя не пущу, — буду,  
Буду твоей женой!"

Зубы стисну. Кровавый след.  
Манит, манит тот странный свет!  
Нам загадывать толку нет.  
Ты — колдунья, а я — поэт.

\* \* \*

Какая торжественность слова  
Появится в этой глуши,  
Где небо и ветер — основа  
Любого движенья души.

Какая взволнованность жеста,  
Какая пронзительность дня!  
...представь — это время и место  
Для нас, для тебя и меня.

\* \* \*

Я придумал тебя, дом и сад,  
электричку и теплый закат,  
дачный пригород, май, первоцвет,  
старый дом, где меня еще нет.

Я приеду из города в семь,  
и навстречу тебе по росе  
побегу, обгоняя сюжет,  
в старый сад, где меня еще нет.

...Ты читала в саду в тишине,  
вдруг счастливая к дому идешь...

Второпях непридуманный дождь  
на твоём остывает окне.

## Август

На зеркале ночи  
Дыхание теплое тает.  
Качаются сосны  
По черному бархату леса.  
Оступишься — птица ночная  
Надменно и резко взлетает.  
Разбойно и дерзко,  
Как отблеск луны на металле.  
Оступишься,  
                        дрогнешь,  
И сердце замрет и забьется,  
А воздух вздохнуть —  
Как звезду зачерпнуть из колодца.

\* \* \*

Я украдкой помолился Богу.  
И вздохнул, и вышел на порог.  
Ночь прозрачна и луна безрога...  
"Дай-то Бог!"  
В изголовье оплывали свечи.  
Как ребенок, выучив урок,  
Ты спала. Спускалась ночь на плечи...  
"Дай-то Бог!"

\* \* \*

Пришла пора писать стихи,  
Гулять по саду,  
Где огненные языки  
слетают, как птенцы с руки,  
С ветвей — парабол.  
Где свист вращения осей  
Осенних истин

Срывает кожуру с ветвей  
Осин ребристых.

И вот разъяты и мертвы  
Стволы - скелеты.  
И пепел падает с коры,  
Как с сигареты.

\* \* \*

Душа привыкнет к постоянству,  
мятеж угаснет сам собой,  
и суета и вольтерьянство, —  
все отойдет...

и я другой,  
спокойный, добрый, молчаливый,  
усталый и неторопливый,  
к тебе в окошко постучу  
и голову склоню к плечу,  
и назову тебя любимой...  
и ты ответишь мне — любимый...

И, может, на исходе года,  
все между нами прояснится.  
Мы гасим свет. Но нам не спится  
Как пассажирам парохода.

\* \* \*

Я виновен перед этой женщиной  
и не только перед ней одной,  
Я у всех теперь прошу прощения,  
как перед войной...

\* \* \*

Электричка-электричка,  
Черной ночи медсестричка...

В ночи, полные тревоги,

Ночи смуты и невзгод,  
Наши души-недотроги,  
Словно псы в голодный год,

Одичало по дорогам  
Ищут света да тепла  
У холодного порога  
Да сиротского угла...

На перроне — злая вьюга  
Да четыре фонаря.  
Не жалеем мы друг друга  
в середине ноября,

И в отчаянье осторожном,  
Волчий промысел коря,  
Гибнем в тускло-придорожном,  
Стылом свете фонаря...

Электричка-электричка,  
Черной ночи медсестричка,  
Отвези меня домой,  
Обними да успокой...

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ

## ДОЖИВЕТ ЛИ РОССИЯ ДО 2000 ГОДА,

*а, если доживет, то в каком виде?*

Население России устало от апокалиптических прогнозов. Так что боюсь, что вопрос, который мной вынесен в заголовок, вызовет у российских читателей лишь недоумение — а у некоторых даже раздражение. Особенно в лагере "патриотов", у которых на устах только и разговоров, что о русском возрождении. Неважно, какие для этого основания и есть ли они вообще — "патриоты" наитием чувствуют, что ждет Россию великое будущее — и нет таких сил, которые сумеют ее похоронить. Сразу же оговорюсь: я не намерен писать о каких-то злокозненных силах, более того, сам бы я счел глубокой, личной трагедией, если бы на стыке второго и третьего тысячелетий закончилась Российская история. Да и не о конце русской истории речь. Поэтому изложенное следует рассматривать не как статью-прогноз, а лишь как попытку

анализа происходящих событий и намечающихся тенденций — не более того. Я буду опираться в основном на сообщения печати: факты и только факты, в том числе самые прозаические, а читатель пусть делает выводы. Притом только те, которые будут напрашиваться сами собой.

Существует вопрос, на который вряд ли кто-то способен дать вразумительный ответ. Этот вопрос — куда идет Россия? Еще восемь-девять лет назад, на заре горбачевского правления — на этот вопрос отвечали: к свободе, к демократизации, к лучшей жизни. С приходом Ельцина появились другие ответы: к свободной экономике, к рынку, к цивилизованному капитализму. Теперь ответа нет вовсе: то есть, куда идет Россия, неизвестно никому — ни ее правителям, ни ее населению, ни западным советологам. Да, собственно, никто и не задается этим вопросом, возможно, оттого, что он выглядит раздражающе риторичным. При создавшемся положении взоры людей обращены к сегодняшнему дню: удастся ли в конце концов обществу перепрыгнуть через пропасть, перед которой оказалась страна?

### Экономика

Между тем, разговоры о кризисе стали настолько общим местом, что, обращаясь к этой теме, тотчас рискуешь повториться. И в самом деле, о каком кризисе идет речь? Кризис переживала послевоенная Европа. Четырехсотпроцентная инфляция лихорадила Израиль. Один за другим экономические катаклизмы переживают страны Южной Америки. Поэтому правильнее говорить не о наличии в России кризиса (который чувствует на своем горбу каждый россиянин), а о реальности выхода из него, о путях спасения общества. Теперь для всех очевидно, что выход, предложенный правительством Гайдара, его шокоотерапия потерпела сокрушительный провал. Произошло самое неприятное из того, что могло произойти — Гайдару не дали завершить начатую политику, остановив его

на полпути, зато позволили проявиться всем ее отрицательным сторонам. Вот так и разразился еще небывалый кризис производства, развал предприятий до того, как заработала новая финансовая система, ради которой и был затеян весь сыр-бор.

Новое руководство Черномырдина, следуя испытанной советской традиции, валит все шишки на монетарную политику предшественника, Гайдар, как может, защищается, и используя свое еще не растраченное международное влияние, требует от Международного валютного фонда прекратить России помощь, пока она не вернется на протоптанный им путь.

Судя по сообщениям московской печати, в области экономики сегодня существуют четыре программы, которые вкратце можно охарактеризовать следующим образом:

**Программа Гайдара: вернуть его к власти. Денег никому не давать. Государственные долги не платить. Структурно перестраивать экономику путем выживания приспособившихся.**

**(Программа вполне работоспособна, особенно если прибегнуть к методам "военного капитализма". Гайдар от власти пока далеко. Так что его программа несколько несвоевременна.)**

**Программа Абалкина: заморозить цены. (Как выяснилось, наша марксистско-ленинская экономическая профессура слабо разбирается в обстановке внутри страны и пишет программы на основании устаревших статистических данных.) Программа откровенно провальная, обречена на неприятие.**

**Программа Сабурова: заключается в предложении заморозить зарплату. Поскольку никто не позволит сделать это, программу не примут.**

**Программа Глазьева: изъять деньги у "Газпрома" и коммерческих банков для погашения государственного долга. Даже при желании (которое отсутствует) Госдума не смогла бы осуществить этот план.**

Что касается Черномырдина, то пока что он дальше эклектических и нежизнеспособных планов не идет: с одной стороны, де, мы не откажемся от рыночных начал, а с другой, мы — за плановую, централизованную поддержку всей экономики, в том числе ее нежизнеспособ-

ных звеньев и участков. В этом, собственно, весь его обреченный на поражение подход.

Между тем, развал производства достиг такой степени, когда не просто сокращается выпуск продукции и закрываются многие цеха, но останавливаются целые заводы, и прежде всего машиностроительные предприятия Военно-промышленного комплекса, то есть индустрия, еще недавно составляющая становой хребет советской экономики.

**Изношенность основных средств на большинстве предприятий достигает 60%, то есть теперь требуется не просто стабилизация (ибо через 2—3 года производство встанет), а замена основных фондов. Продолжение курса на стабилизацию финансовой системы через механизм правительственных неплатежей приведет к тому, что 75% промышленности остановится.**

**Уже сейчас спад достиг уровня, при котором безработица из скрытой переходит в явную. Оказалось, что для радикальной перестройки российской экономики надо ставить без работы около 50 млн человек.**

Конверсия в основном осуществлялась путем закрытия производств. Но и остальная промышленность подлежит конверсии. Только не с военных рельсов на гражданские, а на экономически оправданные.

Главная тема споров российских экономистов — какую отрасль сохранить, а какую ликвидировать. Но поскольку экономисты — не политики, они не учитывают, что для любой экономической программы, которая предусматривает 20-процентную безработицу, примерно на 10 лет потребуется или военный режим, или полное вымирание этих безработных, или "народный героизм".

Однако к мнению политиков сейчас не прислушиваются, т.к. политики от представительной власти скомпрометированы бывшим Верховным Советом, а представители исполнительной власти осознают это после того, как скомпрометируют себя своим участием в обнищании народа.

В 1985 году примерно 70% населения составлял средний класс. Восемь лет перестройки привели к его исчез-



новению. Теперь бедняками считаются почти 90% населения России, из них 45% находятся за чертой бедности, на грани выживания. К каким политическим последствиям это привело? По данным пропрезидентского ВЦИОМа, количество готовых участвовать в политических забастовках и стачках достигло 30% населения. Готовых митинговать — 15%, участвовать в насильственных акциях против властей — 10%. Причем, если в Москве социальная активность спадает, то в регионах она явно нарастает — забастовка связистов, например, наивысший накал имела в регионах. Митинги высшей школы прошли в 52 регионах, причем крупнейший из них — в Нижнем Новгороде. Появляется любопытная закономерность: бастовать начинают не только по отраслям, но и по городам, областям, районам.

Сегодня все соглашаются с тем, что единственный выход из создавшегося тупика — это финансовая помощь из-за рубежа в размерах 15—18 миллиардов долларов на протяжении 6—7 лет. Собственно, эти цифры уже довольно давно стояли на повестке дня Международного валютного фонда и стран Большой семерки. Но если раньше они рассматривались как конкретная программа финансовой помощи России для ее перехода к рынку, то теперь, в связи с ее отказом от рыночного пути, успехом Жириновского и коммунистов, вся эта планируемая финансовая помощь оказалась под вопросом. И возникла угроза, что Россия окажется в полном одиночестве перед лицом всесокрушающей экономической катастрофы.

## Политика

Читая Нью-Йорк Таймс и другие западные газеты, трудно увидеть, в какой тупик зашли западные наблюдатели в своих оценках политической ситуации России. Да и московские тоже. Все мы помним, с каким энтузиазмом политические деятели Запада — и Клинтон прежде всего — поддержали разгон парламента Ельциным — вот уж поистине открылся путь к развитию рынка и демократии!

В Москве, правда, раздавались голоса о нарушении конституции и перерождении демократии в режим личной диктатуры. Все это продолжалось недолго — успехи на выборах Жириновского поставили вопрос об угрозе фашистской диктатуры. Но последовавшие в то же время декларации Ельцина, сдавшего свои рыночные позиции и начавшего игры на поле Жириновского, снова перемешали все карты. Принятая Думой амнистия только подбавила жару в эту политическую чехарду, которую по-своему оценила московская печать. По словам некоторых журналистов, политику высших эшелонов власти перед лицом кризиса характеризует стратегия так называемой "регулируемой нестабильности". В чем же смысл этой стратегии? А вот в чем: политические силы, управляющие страной, будучи не в силах предотвратить надвигающийся кризис, заинтересованы в том, чтобы он быстрее выплеснулся наружу на стадии политически не сформированного социального взрыва — это во-первых. И во-вторых, чтобы он протекал в формах, наиболее выгодных той или иной политической группе, которая будет стремиться повернуть его последствия в свою пользу.

Анализ этот интересен не столько сам по себе (его искусственность не может не броситься в глаза), сколько своими молчаливыми предпосылками. Ибо он исходит из того, что правящая элита страны фактически разбилась на несколько противоборствующих мафиозно-элитных групп, не брезгующих никакими средствами в жесточайшей борьбе за власть.

Естественно, любое демократическое общество предполагает наличие противоборствующих партий — в этом суть политического плюрализма. Однако, в условиях западных демократий эти партии и группы действуют на основе определенных социальных программ, смысл которых в дальнейшем совершенствовании общества. Если же взглянуть на политику таких групп в России, то свою задачу большинство из них видят в одном-единственном — прийти к власти и удержать ее за собой. Сколько бы они не говорили о демократии, почти для каждой из

них, как для большевиков-ленинцев, главным остается вопрос о власти.

Известно, что Жириновский стремится к режиму личной диктатуры, не считая даже нужным скрывать свои цели. Он, как говорится, идет с открытым забралом. Но ведь столь же упорно рвутся наверх Шахрай, Явлинский, руководимые Зюгановым коммунисты, Черномырдин, стремящийся прибрать к рукам власть президента, да и не в меньшей степени Гайдар, прямо призывающий зарубежные правительства отказывать его стране в помощи, пока он не возглавит правительство.

Население плохо разбирается в программах демократов, но то, что они всеми силами рвутся к начальственным креслам и ради этого готовы идти по трупам — ни для кого не является секретом. Любопытно, что наиболее ярко демонстрирует это полное отсутствие принципов сам президент. Достаточно проследить, как из года в год трансформировался его имидж "народного заступника" и "последовательного борца за демократизацию общества".

Ельцин не был бы самим собой, если бы и в новых условиях не попробовал осуществить свою, персональную стратегию, суть которой в его неизменной заботе о собственной популярности. Чтобы понять, в чем конкретно состоит эта стратегия и против кого она направлена, следует задуматься над его выступлением перед федеральным собранием.

Почему главной для президента стала не тема борьбы с оппозицией, а резкая критика бюрократии, коррупции, чиновничьего саботажа, безответственности государственных органов? Почему в своей речи Ельцин и не вспомнил о скандальном решении Думы, освободившей его политических врагов, а обрушился на аппарат, который является его главной и по существу единственной опорой на пути укрепления власти? Некоторые из московских обозревателей пишут, что Ельцин решил действовать по хорошо испытанной со времен Ивана Грозного схеме. Стремясь отвести волну возмущения от себя, он направляет ее на своекорыстных, неисполнительных "бояр",

стоящих между царем и народом. Но в чьем лице Ельцин видит опасную для себя боярскую оппозицию, и кто в глазах президента выступает в качестве преданных ему опричников? Только на первый взгляд это вопрос президентской стратегии. На самом деле, это ключевая проблема расстановки в стране политических сил, показывающая в конце концов, откуда центральной власти угрожает главная опасность.

### **Боярский вождь — Юрий Лужков**

Так вот, в роли "бояр", как ниже увидим, выступают местные органы управления, а "опричники" — это соратники Ельцина по его борьбе за укрепление власти. При этом его мишенью номер один и громоотводом становится могущественный клан хозяев Москвы, или, как его называют, "московская мафия", сплотившаяся вокруг мэра столицы Ю. Лужкова.

**До сих пор мэр столицы, назначенный на пост вопреки закону личным распоряжением Ельцина, считался главным столпом президента в Москве.**

Подчиненные Ю. Лужкову 120 тысяч служащих Главного управления внутренних дел Москвы были решающей силой, обеспечивавшей блокаду российского "Белого дома" в сентябре-октябре 1993 г.; среди штурмовавших парламент было немало сотрудников охранных подразделений концерна "Мост", возглавляемого ближайшим товарищем Лужкова Ю. Гусинским, вооруженных боевиков из других неформальных вооруженных групп, подчиненных коммерческим структурам, контролируемым "московской группировкой" Лужкова.

Это был "звездный час" мэрии, когда она наглядно продемонстрировала свои огромные финансовые, организационные, информационные и, главное, силовые ресурсы. В руках чиновников мэрии, успешно сочетающих государственную службу с частным бизнесом и политикой, находится несколько крупнейших финансово-промышленных групп, банков и бирж Москвы, контролирующих не только московскую недвижимость, но и ряд столичных газет, журналов, несколько телевизионных каналов и радиопрограмм. И вот ситуация меняется. Ельцин чувствует, что московская мэрия, фактически неподконтрольно распоряжающаяся столицей, начинает становиться опасной

политической силой, которая в условиях обострения кризиса ведет свою собственную игру, не совпадающую с интересами президентской команды. Тем более, что во время октябрьских событий проявилась и нежелательность президенту контингента московской милиции, контролируемого Лужковым. Огромного персонала ГУВД Москвы оказалось недостаточно для того, чтобы держать под контролем ситуацию вокруг российского "Белого дома". Для того, чтобы установить порядок в городе, пришлось вызвать специальные части внутренних войск из других регионов России. Извлекая уроки из этого, Ельцин проводит прямое переподчинение себе основных российских силовых структур — именно это делает его более независимым от московских "бойр" и их малонадежных "стрельцов".

Сегодня в Москве слишком много говорят о борьбе между претендентами на власть в Центре, часто называют имя Жириновского как будущего Российского диктатора. Но все это, скорее, выглядит как абберация зрения, как результат политических неврозов, охвативших российских политиков. Ибо, стоит вдуматься в происходящее на все-российской арене, чтобы понять, что главная угроза идет от местных органов. И борьба Ельцина с "московской мафией" — это, по существу, прообраз будущих жестоких баталий между центральной и периферийными властями.

Фоном политической ситуации служит крайне тяжелое положение большинства регионов страны. По сообщениям газет, города, ориентированные на военно-промышленный комплекс — Пермь, Красноярск, Челябинск, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург, находятся на грани краха. Средний российский город с количеством заводов от 2 до 5 — тоже. Весь Дальний Восток, Западная Сибирь, Север, Волго-Вятский район, Нечерноземье, Урал также находятся в глубокой депрессии.

На парламентских выборах там победу пока еще смогли одержать "Выбор России" и его союзники. По мажоритарной системе подавляющая победа — либо у местных элит, либо у прокоммунистической гвардии.

Нижнее и Среднее Поволжье, Северо-Запад, Южная Сибирь, Северный Кавказ находятся на последней сту-

пени спада. Там в значительной мере популярны аграрии и коммунисты.

В Центрально-Черноземном районе подавляющая победа аграриев (в Вологде, Кирове, Твери) и коммунистов (Брянск, Белгород, Курск, Орел). На новых границах России — Псков, Смоленск, Ставрополье, Кубань, Хабаровск — победила партия Жириновского.

С точки зрения экономики более-менее пока состоятельны Восточная Сибирь, Черноземье и юг России. В Сибири сейчас складывается внутренний товарный рынок. В Черноземных районах сельское хозяйство рентабельно.

Единственным оплотом демократии остались две столицы — "Выбор России" победил только в них. По мажоритарным округам — подавляющую победу одержали независимые депутаты. Вообще доверие к региональному начальству возросло. И во всех бедах сегодня винят центр.

Фактически крупные города сейчас живут, как в средние века в Европе, за счет того, что являются центрами торговли, а мелкие города и села живут только за счет промышленности и сельского хозяйства, и потому их положение значительно более тяжелое. При этом действия региональных элит направлены на изменение политической системы или методов управления государством, в их случае — регионов. И на оказание давления на правительство для улучшения собственного благосостояния. Но так же, как и с промышленностью, совокупные потребности регионов превышают возможности правительства, авторитет которого в глазах периферии все более падает.

Итак, время работает не на усиление центральной власти и укрепление России как монолитной державы. Скорее наоборот: процесс дезинтеграции страны, начатый в Беловежской пуще, продолжается, набирая силы и ускорение. И Москва проявляет явную неспособность играть роль верховного сюзерена, способного накормить и защитить своих разбросанных по гигантским территориям вассалов.

Возможности Центра все меньше стоят в глазах местных органов власти, которые отчетливо понимают, что в условиях жесточайшего кризиса помощи от Москвы им ждать не приходится, рассчитывать они могут только на себя. Имперские амбиции московских властей их только раздражают и будят на местах новые центробежные тенденции. Вспомним, какая реакция последовала в ряде регионов в связи с разгоном Ельциным Верховного Совета — в ответ местные органы выдвинули не более не менее как угрозу не перечислять центру деньги, что уже напоминало открытый бунт.

Кровопролитие, устроенное президентом возле Белого дома, только отчасти преследовало цель расправиться с оппозицией. Другая цель, по-видимому, состояла в том, чтобы продемонстрировать силу оппозиционно-настроенной периферии. Как мы знаем, ни та, ни другая цель не были достигнуты. Состав новой Думы показал Ельцину, что оппозиция в центре, несмотря на кровопролитие, лишь укрепила свои силы. Что касается устрашения местных органов, то и здесь кончилось все ничем. Амнистия, предпринятая Думой, продемонстрировала слабость президента, его явную неспособность обуздать политических противников. С другой стороны, усиление влияния Лужковского клана говорило о неиспользуемых местными органами возможностях. Если такая мощная коррумпированная мафия оказалась способной появиться в Москве, под носом у Ельцина, то что говорить о периферии, где местные власти и не расставались со своим влиянием. И теперь, глядя на пример столицы, могут вполне пойти на то, чтобы бросить перчатку центру.

Нам широко известен опыт Татарстана. За независимое существование проголосовал Крым. Требования статуса вольного города раздаются в Одессе. А чем хуже Дальний Восток, Западная Сибирь или, скажем, Урал, доведенные московскими властями до краха и депрессии? Почему им в борьбе за выживание не попробовать собственные силы? Чем они рискуют, если начнут развиваться в рамках независимых и не подчиняющихся Центру экономических

анклавов? А Восточная Сибирь, Черноземье и Юг России, которые и сегодня рентабельны? Что дают им экономические связи с Центром, который на протяжении всей советской истории выкачивал из них богатства и деньги?

В Москве из уст политических деятелей все чаще раздаются требования об установлении национального согласия. Во имя единства. Во имя возрождения будущей России. Но эти голоса вряд ли могут остановить непрекращающийся процесс экономической дезинтеграции. Как далеко зайдет этот грозный и стремительно идущий процесс? Последует ли ему политический распад страны? Этого мы не знаем.

Возражая против подобного прогноза, нам говорят о противоположных тенденциях и, в частности, о приходе к власти Жириновского. Что ж, и такой вариант возможен. Не нужно лишь переоценивать его реальность. Одно дело отдать голоса Жириновскому, чтобы наказать демократов, злоупотребивших доверием избирателей, другое дело вручить ему судьбу страны для того, чтобы он вверг ее в авантюры, к которым вряд ли готово истстрадавшееся население.

Распад России, о котором мы говорим, вытекает из самого хода событий и означает он не конец русской истории, а лишь ее трансформацию и появление новых форм политической и социально-экономической жизни — чем-то напоминающих, скажем, швейцарские кантоны, а может быть, и совершенно новых форм, соответствующих вековому укладу российской жизни. Кто знает — возможно, родится истинное содружество возродившихся и обретших реальную автономию регионов, содружество равных, без имперского Центра и влачащей жалкое существование российской периферии — последнего осколка развалившейся коммунистической империи.



Владимир ШЛЯПЕНТОХ

## ЦЕННОСТИ В ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОМ МИРЕ

В 1990 году Фрэнсис Фукуяма обрадовал мир решением вопроса о критериях прогресса. Главным из этих критериев была быстрота движения к либеральному капитализму, который вместе со своими непреходящими ценностями становится высшей точкой развития цивилизации.

В 1994 году фукуямовский подход выглядит почти карикатурным. Новые реалии посткоммунистического мира ставят под сомнение не только главное фукуямовское "открытие", относящееся к либеральному капитализму, но и вопрос куда более общий — о нашем отношении к абсолютным ценностям современного мира. Чтобы рассуждения эти не выглядели чистой схоластикой, зададимся несколькими вопросами, сама постановка которых

еще некоторое время назад не могла бы не показаться странной. Можно ли, например, сегодня, в 1994 году, считать абсолютной ценностью права человека? Всегда ли, даже в условиях последовательной демократии, интересы личности должны предпочитаться государственному порядку, или при определенных условиях государственный порядок должен быть поставлен во главу угла? Во всех ли случаях полезно абсолютизировать прогресс нацменьшинств, их самоопределение и приносить им в жертву прочие интересы общества? Можно ли считать, что в посткоммунистических странах, вставших на путь преобразований, рыночное хозяйство, частная собственность, демократические свободы обретают при всех условиях силу абсолютных ценностей? Перечень этих, казалось бы, странных в самой своей постановке вопросов мог быть продолжен и дальше, но давайте попробуем теперь "проиграть" их в конкретных ситуациях современной политической жизни.

И начнем с определенных событий, которые недавно едва не вызвали обострение отношений между Вашингтоном и Пекином. В центре событий оказался вопрос о правах человека в Китайской Народной республике, на защиту которых встал официальный Вашингтон и соблюдение которых было поставлено условием для продления Китаю статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Иначе говоря, разговор шел о защите одной из абсолютных ценностей современной цивилизации. И что же? К удивлению всего мира официальный Пекин занял жесткую негативную позицию по отношению к требованиям США, объявил их действия грубым вмешательством во внутренние дела страны и демонстративно арестовал нескольких китайских диссидентов, открыто искавших поддержки у Вашингтона. Это в свою очередь вызвало острую полемику в США об их нынешней китайской политике. Средства массовой информации в большинстве своем поддержали продолжение жесткого курса против Пекина. В то время как бизнес негласно давил на правительство, требуя смягчить условия для продления льгот Китаю.

Следя за дебатами в Вашингтоне, я вдруг почувствовал, что сегодня моя позиция в отношении защиты прав человека совсем не так однозначна, как я мог бы предполагать, скажем, лет 15—20 назад. Тогда я жил в Москве и хорошо помню, как президент Картер провозгласил свою доктрину о правах человека как основу американской внешней политики. Америка с невиданной ранее активностью стала защищать советских диссидентов и права граждан на эмиграцию. Советская пропаганда возмущалась вмешательством во внутренние дела СССР. Надо ли говорить, на чьей стороне были наши симпатии? Мы жаждали победы Вашингтона в каждом отдельном случае и с презрением отвергали как циничные и вздорные советские аргументы о вмешательстве во внутренние дела СССР.

Тогда, в довольно мрачные годы брежневского правления, мы видели в США единственную надежду для политического и социального прогресса в нашей стране.

А вот сейчас, в 1994 году, я почему-то оказался сдержанным в поддержке американского давления на китайских коммунистов. Размышляя о корнях своих сомнений, я прихожу к выводу, что дело, видимо, в тех событиях, которые имели место в мире за последние десять лет, в также в моем опыте жизни в свободном мире.

События, которые произошли в бывшем Союзе и странах Восточной Европы, последние события в Югославии, да и многое из происходящего сегодня в Америке заставили меня снова вернуться к излюбленному мной постулату о том, что в мире нет абсолютных ценностей, что конфликт между ними является сутью нашей жизни и что принятие важных решений — почти всегда выбор одной из ценностей за счет другой. То есть, соглашаясь рассматривать в каждом отдельном случае данную ценность в качестве главной, мы что-то должны приносить ей в жертву. Так Бог устроил мир, что нам почти никогда не удается быть стопроцентно уверенными в правильности нашего выбора. Революционные сдвиги в посткоммунистическом обществе с великим множеством парадоксаль-

ных ситуаций, сопровождаемых эти сдвиги, являются замечательной иллюстрацией этого рассуждения. Ниже я еще вернусь к этому, а пока несколько слов о структуре ценностей, Хотя она и является одним из важнейших элементов культуры, тем не менее довольно подвижна.

При одинаковых культурных предпосылках люди и общества могут выбирать различные альтернативы. Конфликт взглядов является органической чертой любого динамического общества.

Америка при всем ее благополучии является сейчас ареной острой борьбы ценностей, исход которой во многом не ясен. Это, естественно, будоражит тех американцев, которые не уверены, что стране в любом случае, независимо от существующих негативных тенденций, уготовано счастливое будущее.

Весной 1994 года одно любопытное и, казалось бы, мелкое событие всколыхнуло страну и выявило глубокий конфликт взглядов в ней. В Сингапуре полиция поймала некоего юного американца, который с группой своих сверстников занимался, как утверждала полиция, вандализмом, покрывая краской машины на улицах и бесчинствуя иным образом. Суровые власти этого государства приговорили безобразника Майка Фея к розгам. Этот приговор немедленно вызвал резко негативную реакцию в Белом Доме, и сам президент Клинтон обратился к Сингапурскому лидеру с просьбой о помиловании. Судя по всему, и президент, и средства массовой информации, также вставшие на защиту американского парня, были уверены, что они представляют мнение американской публики. Каково же было удивление в США, когда выяснилось, что огромное количество американцев не только не осудило Сингапур, а прямо-таки одобрило его действия, предлагая собственным властям последовать его примеру по отношению к преступникам такого типа в США.

Реакцию американской публики можно было интерпретировать однозначно — таким боготворимым ценностям, как "индивидуализм", "демократические свободы" и всего, что с ними связано, были противопоставлены цен-

ности "порядка" и "государства". "Нью-Йорк Таймс" опубликовал интервью с основателем Сингапурского государства, который не без высокомерия прочитал американским читателям целую лекцию как раз на нашу тему — нечего абсолютизировать одни ценности за счет других.

Перед Америкой стоит много проблем, связанных с конфликтами такого рода, и если страна не найдет эффективного их решения, то ее будущее не выглядит так уж безоблачно. Несколько лет назад японские деятели также внушали американцам, что те уж больно абсолютизируют такую ценность, как "прогресс меньшинств", и, в частности, афро-американцев, именно это во многом объясняет, с их точки зрения, рост преступности среди черных, и если США не приведет свои гетто в порядок, они потеряют свое место в мире как великая индустриальная держава.

Культ индивидуализма и прав меньшинств осуществляется в Америке со всей очевидностью за счет экономической эффективности, порядка в обществе, безопасности ее граждан. Неверно было бы думать, что американцы не осознают, что в их системе взглядов бушуют конфликты, которые требуют новых решений и новых компромиссов.

Конечно, новые оценки ищутся в рамках американской Конституции и поправок к ней. И тем не менее, даже основы Конституции постепенно пересматриваются. Особая роль в этом процессе принадлежит Верховному Суду США. Это он, как последняя инстанция, законодательно закрепляет действующий на данном отрезке времени компромисс между разными взглядами. По сути, каждый казус, обсуждаемый в этом суде, это столкновение взглядов, и задача Суда установить, каковы должны быть ограничения, налагаемые на абсолютные ценности, вовлеченные в конфликт.

Так, большинство дебатов в Верховном Суде в последние годы вращались вокруг поисков компромисса между прайвиси (невмешательство в частную жизнь) и правом на жизнь (проблема свободы абортов), прайвиси и

контролем общества за деятельностью общественных деятелей (вмешательство прессы в жизнь официальных лиц), свобода слова и защита личности от клеветы, свобода слова и защита общества от порнографии и насилия, неприкосновенность частной собственности и интересы государства, свобода выбора работы и необходимость протезировать ранее дискриминируемым группам людей, демократический принцип большинства и представительность интересов меньшинства в демократическом органе и т.д.

Крушение коммунизма сделало неизбежным для всех народов, вовлеченных в строительство нового общества, создание нового набора ценностей, выработку нового компромисса между ними. Как и всюду, выработка новых, доминирующих для посткоммунистического общества взглядов, происходит в борьбе многих сил.

Всего года два назад такая ценность, как "право наций на самоопределение", казалась почти абсолютной, несмотря на новейшую историю Африканского континента. Теперь, после горького опыта многих советских республик и после югославской трагедии, это не кажется уже очевидным. Для миллионов людей национальная независимость принесла огромные страдания. "Право наций на самоопределение" потерпело мощное моральное поражение, и наиболее последовательными защитниками этого права часто оказываются местные элиты, больше всех выигрывающие от разрыва с метрополией. И в этой связи я хочу вернуться к дискуссии о Китае. На позицию китайских руководителей, которые оказались так непримиримы к требованиям США о правах человека, несомненно, решающее влияние оказали события на площади Тяньаньмэнь летом 1989. Китай тогда находился на краю пропасти, и события могли развиваться в еще более опасном направлении, чем в СССР.

Сегодня, по мнению китайских коммунистов, публичное отступление перед американским давлением могло породить цепную реакцию, появляется риск смыть с лица земли не только коммунистический режим, но саму китай-

скую государственность. Случится почти то же, что случилось с распадом СССР, когда резко ослабело русское государство как таковое. В этом свете слова Дэн Сяопина о том, что "всеобщие выборы в Китае грозят гибелью стране", показались бы мне пару десятков лет назад грубой пропагандой. Теперь они мне представляются далеко не лишними смысла. Иначе говоря, Дэн усомнился, что демократия как ценность более важна Китаю, чем порядок и отсутствие анархии. Между тем, страхи Китайского руководства, даже если они используются ими для своих эгоистических целей, имеют весьма серьезные основания в прошлом. Китайцам известны многие периоды в их истории (в том числе — 1920—30-ые годы), когда страна со слабым центральным правительством раздиралась на части региональными боссами и криминальными бандами. Если бы в Китае наступила анархия — а никто не может ее полностью исключить (как и для России, региональную дезинтеграцию), то бесконтрольное ядерное оружие, массовая миграция и голод как ее результат на территории Китая могли бы создать в мире весьма сложную ситуацию.

Для судеб страны очень важно, чтобы "избранная" система взглядов была достаточно стабильна, "консенсуальна" и могла составить основу для выработки решений на всех уровнях социальной иерархии.

Между тем, в большинстве посткоммунистических стран и прежде всего в России правящая элита почти не озабочена созданием уравновешенной системы ценностей, в которой бы учитывалась специфика общества, например, "равенство", "государство", "патриотизм", "культурные традиции", "свобода слова", "государственная собственность", "частная собственность" и т.д. Те, кто пришли к власти в августе 1991, были уверены, что можно строить новую социальную систему на базе антикоммунизма, заменяя старые официальные лозунги на другие с противоположным знаком. Она же, новая элита, поверила, по крайней мере в своих публичных выступлениях, в абсолютный характер таких ценностей, как "рыночная

экономика", "частная собственность" и "демократия", и была, судя по всему, убеждена, что именно эти ценности так важны, что можно игнорировать все остальные. Создатели "новой России" были убеждены в том, что если они добьются успеха в демократизации и приватизации общества, все другие проблемы будут решены автоматически.

По-видимому, абсолютизация взглядов является естественной для поведения всех революционеров. Они бы не были таковыми, если бы не верили в основное звено, за которое можно вытянуть всю цепь, если использовать, если не ошибаюсь, ленинское высказывание. Между тем, абсолютизация любого из подходов грозит огромными опасностями.

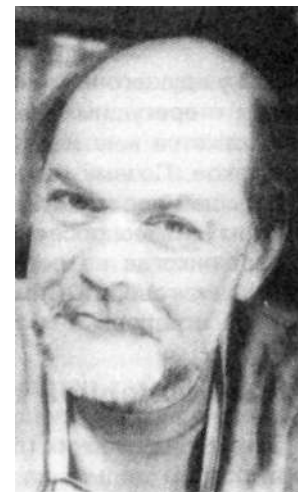
В этом смысле Егор Гайдар представляет для интеллектуальной истории поразительный пример. Образованный и талантливый человек, он, начиная свои реформы в январе 1992 года, вопреки здравому смыслу игнорировал практически все социальные задачи, кроме "развития рыночной экономики". Конфискация сбережений миллионов людей гайдаровским руководством, которое пошло на это, видимо, ради прогресса рыночной экономики, является одним из многих примеров, иллюстрирующих, как создатели новой России были мало озабочены при абсолютизации одной ценности потерями всех других.

Сейчас даже трудно представить, как Гайдар, претендуя на роль теоретика нового общества, мог не задумываться над тем, что реализация его цели требует огромных и часто необратимых жертв. В связи с резким усилением социальной дифференциации и криминализацией общества, с катастрофическим упадком науки и культуры Гайдар нигде в течение 1992 года даже не обмолвился о том, что издержки его реформ крайне велики и что существует большой риск того, что в каком-то плане они могут превесить выгоду для общества.

Будущее России зависит от множества факторов, один из важнейших — структура новой господствующей сис-



темы ценностей, реальная значимость таких, например, как демократия и государство, индивидуализм и коллективизм, свобода и патриотизм, материальное благополучие и интеллектуальная культура. Все это и будет определять характер воспитания и образования нового поколения, поведение рядовых людей и политиков на долгие годы вперед.



Лев АННИНСКИЙ

## МЕЖ РАФАЭЛЕМ И ОХЛОМОНОМ

Не уверен, что девятьсот девяносто экземпляров этой нетолстой брошюрки, составленной за полторы тысячи верст от Москвы, в городе Тюмени, в Центре Прикладной Этики Сибирского отделения Академии Наук, — не уверен, что по нынешним временам эта книжка дойдет даже до заинтересованного читателя. Меж тем, в брошюрке задумана мозговая атака на одну из самых загадочных цитаделей российского сознания. "Этика успеха" — называется сборник.

Не буду внедряться во все уровни этой проблемы, тем более, что в число "исследователей и консультантов" затесался и я сам с невероятной гипотезой: "Павел Корчагин как современный политический менеджер". Но одним ощущением поделюсь.

Оно, может, и не главное, это ощущение, — с точки зрения того, как нам практически пробудить чувство "ус-

*Р Е К Л А М А*

**Фирма ЕВРО-НОРТ предлагает:**  
 со склада в Москве  
 ГАЗ-31029, а также новые  
 растаможенные автомобили.  
**VOLVO-850, VOLVO-460.**  
**LAND ROVER «Discovery», ALFA ROMEO-164.**  
**SAAB-9000 2.3 TURBO. MITSUBISHI «GALANT».**  
**SUZUKI MARUTI 800**



На заказ:  
 ГАЗ-31029, ГАЗ-31022,  
 ГАЗ-31029 51 комплектации,  
 любые модели **VOLVO,**  
**LAND ROVER.**  
 в т.ч. в исполнении  
 «Скорая помощь».



117261, Москва,  
 ул. Панферова, 14.  
 Тел.: (095)1527322.  
 132-0323. Факс: (095)152-7518.

пеха" у едущего на печи Емели или придать человеческие черты стерегущим Емелю Колупаевым и Разуваевым. Но оно кажется мне неслучайным при раздумье о том, что мы такое. Почему мы мечемся меж Емелей и рэкетиром с большой дороги? Меж гениально-беспочвенным "идеалистом" и беспросветно-безнадежным "практиком", который никогда не поймет и не прокормит "идеалиста". Или, как говорит Симон Соловейчик, "меж последней партией и первой".

### Меж последней партией и первой

Симон Соловейчик говорит: методы нашей школы ориентированы только на способных детей. И это беда не только нашей школы, но современной педагогики вообще. Везде на первой парте сидит первый ученик, который все схватывает и чувствует себя молодцом, а на последней — последний ученик, который чувствует себя идиотом.

И это мы еще упрощаем — последних куда больше, чем первых. А уж "средних" и вовсе тьма тьмуцая.

Первым уготован успех. Что делать последним? Способные будут среди победителей. А куда деться неспособным? А со средними способностями? Учитель ориентируется на Первых. Если этих Первых — по биологическому определению — четыре процента, и больше быть не может, — то как себя чувствуют остальные девяносто шесть? Они кто: отпавшие? Опущенные? Недостойные? Дело-то ведь в достоинстве. Надо выбирать, что важнее: знания или достоинство.

Я отлично понимаю издателей тюменского сборника, когда, услышав из уст Симона Соловейчика эту формулу на лекции "Проповедь о Первом и Последнем" в Свободном университете, они призвали лектора к ответу. И напечатали его подробные разъяснения. Эксперт подтвердил: да, или знания, или достоинство. С такой предельной ясностью я этого еще не слышал. Хотя, бывало, и среди первых учеников у доски стоял (литература,

история), и на последней парте в облаке спасительного разгильдяйства (физика, химия) в свои школьные годы сиживал. Из облака, в котором я пребывал, особенно в средних классах, смутно брезжила проблема, с которой рано или поздно предстояло столкнуться. Как быть среднему человеку? То есть: как ему не стать несчастным? Как смириться с тем, что много званых, да мало избранных? Как жить тому, кто "был ничем", а "стать всем" все равно не сможет? Пока его не звали, не было проблемы. Но его вроде бы позвали.

В конце концов, все это складывается в один общий, проклятый вопрос: как быть с биологической природой человека, если она не соответствует светлomu образу, начертанному теоретиками коммунизма? Стоя среди дымящихся развалин оного, мы ищем виноватых. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин? А может, просто природа человеческая слаба, и первым грешником был Руссо? А может быть, и первого не было, и последнего не будет, потому что она, эта подлая человеческая природа, выправит любую доктрину, будь то коммунизм или капитализм, русская правда или американская мечта?

С. Соловейчик много ездил, был и в Англии, и в Америке, и в Швейцарии, он присматривался, он знает. Везде на последней парте сидит охломон, и везде учитель не знает, что с ним делать. Нигде нет достаточного числа прирожденных учителей, и нигде, за исключением единиц, учителя не умеют научить слабого, не унижая его. Отметка — это уже принуждение, чреватое унижением, но кто умеет учить на чистом увлечении? Единицы. И это — "во всем мире".

Во всем мире? Ну, тогда на душе легче. Значит, не одни мы мечемся между Первым учеником, который готов стать Рафаэлем или Эйнштейном, и Последним, который в лучшем случае будет растирать краски или копать ров для будущей обсерватории. Если до того не пристукнет Первого невзначай по пьянке или сознательно, из каиновой зависти.

Сам Соловейчик, печальный однолюб, выросший, как и

все мы, при "открытии всех путей", мучительно наталкивается на эту проблему на своем — уже долгом — педагогическом и литературном пути. И не может решить ее. Впрочем, оглядываясь на Америку, он выбирает достоинство.

**"Совершенно ясен контраст между американской и советской школой: американский мальчик выходит из школы с чувством внутреннего достоинства... и потому чужой успех не вызывает у него никакой зависти... В нашей стране школа настраивает на успех, не думая о достоинстве... Подтянуть Последнего ученика до Первого!"**

Подождите, ну как же: мы же вроде бы схватились за спасительную ниточку, что "так во всем мире"! Мы же выяснили, что над этой проблемой безуспешно бьются и в Америке, и в Англии, и в Швейцарии. И ясного решения нет нигде, а все бредут наощупь. Что актуально, за то и хватаются. И мы также. Вся история наша — непрерывное колебание между тем и этим полюсами. Учить знаниям (с палкой в руках, устрашая одних и оберегая других), или равнять всех любовью... на каком же уровне? Что предпочесть: латынь и греческий или ремесло и коммерцию? И как сделать, чтобы классические гимназисты и реалисты из училищ не сходились стенка на стенку?

Да, знания любой ценой. Интересно, а как иначе можно было вытащить из неграмотности миллионы людей, полученных нами "в наследство от царской России"? Только охмутив себя блаженной верой, что на Рафаэля можно выучить всех. Во времена Крупской об этом и возмечтали. А пока, по закону компенсации, тренировали будущих Рафаэлей в сколачивании табуреток.

Интересно, а могла ли ранняя советская школа обойтись без повального ликбеза? А многоруганная царская Россия разве не стояла перед сходной проблемой: как научить миллионы несходимых племен "языку минимальной цивилизации"? Чтобы "друг степей калмык" научился понимать обитателя "финских хладных скал", а житель "пламенной Колхиды" и "дикий тунгус" говорили на одном языке с "гордым внуком славян"?

Но это же империализм! Унификация! Русификация! Террор!

Совершенно верно:

"Школьная отметка — форма террора..."

Можно, конечно, и иначе: на месте "единого культурного пространства" — десяток малых, человечески обзримых государств. Десятки школьных систем окружают себя магическим кругом "государственного языка". Вот теперь это и попробуем. Только легко не будет. Все равно на первой парте воссядет Любимчик, а на последней водрузится Охломон. Учитель же будет метаться меж ними, пытаясь примирить Знание с Достоинством, Силу со Слабостью, дерзостный Ум с праведной Дурью. Конца этому не будет.

### **Меж адом социализма и адом капитализма**

Замечательный драматург, в годы Перестройки ставший прекрасным публицистом, Александр Гельман следующим образом определяет наше место в мировом социально-психологическом пространстве: после унылого, вялотекущего социализма иные из нас ждали нового, энергичного, очищенного социализма; другие ждали еще более энергичного, процветающего, могущественного капитализма. Вместо этого мы получили ни то, ни се. Вернее, и то, и се в худших вариантах. Тяжкий, вязкий, преступный, омерзительный переходный период.

Так ведь и сказано: на всякий случай готовься к худшему. Однако кто доказал, что унылое, вялотекущее и застойное житье, которое мы назвали социализмом, соответствует этому слову? Слово — чистая магия, с его помощью можно попасть куда угодно. Знаете: у Чехова "степь", и у Павленко "степь". То есть: в Швеции социализм, и в Камбодже социализм. В Америке демократы немного ближе к социализму, чем республиканцы, хотя по словам они — почти одно и то же: *res publica*, дело общественное, и *demokratia*, власть народная; а какой к кому ярлык пристанет — дело случая, власть мифа: одному примстится осел, другому слон, так и ходи.

Если же сквозь слова посмотреть, тогда так: раз мы

имели унылый, вялотекущий социализм, из которого выпали в омерзительный, вязко-сыпучий капитализм, так, может, суть не в том, сколько элементов социализма и капитализма сочетаются у нас на том или ином этапе, а в том, что мы по природе вялы и сыпучи и что любое сочетание сопровождается у нас омерзением от самих себя? И это вечное желание — одним рывком, одним махом (петушиным словом, щучьим велением, моим хотением) — освободиться от самих себя, выпрыгнуть из реальности куда-нибудь... в "светлое будущее", в Опоньское царство. Потом, правда, становится ясно, что сиганули "не туда", и надо немедленно прыгать заново. А не прыгать, так переползать.

Александр Гельман успокаивает нас следующим образом: никакого скачка, то есть перескока, перепрыга из ада в рай не будет, а будет медленное переползание из одного ада в другой — безусловно меньший, не столь жестокий, но тоже ад.

**Прекрасная мысль, высказанная в свое время, если не ошибаюсь, Владимиром Соловьевым. Не ждите, что государство обеспечит вам рай, в лучшем случае оно избавит вас от ада. Век, прошедший со времен Соловьева, причул нас даже и на избавление особо не рассчитывать. И правильно. Недавно юморист Г. Горин под радостный хохот зала определил: "Капитализм в России построить не удастся по той же причине, по какой в ней не удалось построить социализм". Хохот зала свидетельствовал о неистребимой относительности понятий ада ирая и о неистребимой абсолютности нашего апофизма. Под последним словом я понимаю не социализм и не капитализм, а вечную нашу готовность ко всему. Наше фатальное кочевье, определившее склад души. Наше постоянное чувство переменности. Вечно на "переходе" от чего-нибудь к чему-нибудь. Вдруг остановишься, оглянешься и ахнешь: нет! к этому бардаку привыкнуть нельзя! — и дуешь дальше, заглушив сознание: а может, пора привыкнуть?**

"Привыкнуть к этой жизни надо всерьез и надолго, а для моего поколения — до конца дней". Вот и я говорю: рай — это осознанная неизбежность ада. Как это у Гроссмана в "Жизни и судьбе" — в Сталинграде под огнем

бегают меж трупов котенок, ни о чем не просит и не жалуется, считает, что этот грохот, голод, огонь и есть жизнь на земле. Наше поколение, разумеется, получило "эту жизнь" до конца дней. Столько же "получило", впрочем, сколько само сотворило. От огня как-то спаслись (в огне сгорели воевавшие отцы и старшие братья), голода в войну попробовали (не до такой степени, как деды в гражданскую), что же до грохота (гласность и прочее самовыражение), то это как раз по нашей части. Интересно, что выпадет нашим потомкам. Может они, оглядываясь на нас, сочтут, что мы жили в раю? Тогда мы их (с того света) поправим: не в раю. И не в аду. А в междомье-междумье между тем и этим.

## Меж выживанием и катастрофой

Знаменитый политолог Игорь Клямкин об успехе говорить отказывается. В сознании современного человека доминирует скорее ценность "предупреждения", для него успех сегодня — это выживание. А каким он выживет — это вообще неизвестно. "Совок", если рассуждать с цивилизованной точки зрения — тип переходный.

В самую точку! В том и проклятье, что и тип характера, и тип жизни у нас — "переходные". Вечно к чему-то готовимся. Готовились к коммунизму — думали мир перевернуть, природу человеческую изменить. Теперь готовимся к капитализму, и тоже — как в последний путь. Место, что ли, такое: как ни повернись — "на краю" стоишь. И при царе тоже не жили — готовились: одни — к революции, другие — революцию подавить. Оглянешься — тысячу лет на этой равнине не живут люди — все ждут какой-то другой жизни. И все разочаровываются. Пошли с Киевской Руси на Северо-Восток — ждали, что будет лучше. Не стало. Столкнулись с татарами — двести лет ждали, пока те выдохнутся. Потом столицу поменяли: все строить на новом месте. Построили вместо Царства Империя — оказалось не то: "тюрьма народов". Да когда

ж мы жили-то? Только и делали, что из капканов вы-прыгивали. "Или мы добежим, или нас сомнут".

**А может, это просто мозги у нас набекрень, особенно у идеологов? На краю сидеть и "в обе бездны" заглядывать? Какой-нибудь мещанин эпохи первых Романовых — он что, тоже думал, что только затем и нужен, чтобы унавозить почву для реформ петровских? И что его жизнь — только "предупех" для каких-то дальнейших... "предупехов"? А может, все-таки тот обыватель жил, как мог и как умел, потому что других вариантов у него не было? А потом ему объяснили, что он "дурак" и что страна его — "толстозадая". И так — по всей нашей истории. При Александре Третьем стонали от "реакции", проклинали победоносцевские совиные крыла; потом сообразили, что царь был — Миротворец, и что Россия при нем не воевала. Павла ненавидели и извели; потом оказалось: "первый русский интеллигент"...**

Вопрос не в том, хороша или плоха та или иная эпоха, в любую эпоху того и другого с лихвой. Вопрос в сквозном ощущении: мы — самые несчастные. Мы — на краю катастрофы. Мы только "выживаем".

Впрочем, сближая "переходность" с "выживанием", Игорь Клямкин сближает несколько разноплановые аспекты. Наша "переходность" с нашим "выживанием" однозначно не коррелируется. Не одни мы выживаем. Все человечество в известном смысле борется за выживание. У нас не больше оснований для многострадальности, чем у других; мы не самое гиблое место "на фоне" Руанды или Йемена. Впрочем, на этом фоне мы себя и не видим, мы предпочитаем мучиться на фоне "девятки", нам европейское и американское благополучие глаза колет. В то, что и они — "выживают", нам поверить невозможно. Но чего же тогда спокон веку сюда с Запада прут люди — и в составе "великих армий", и мирными десантами: "на ловлю счастья и чинов"? С того и прут, что там ни чинов, ни счастья не хватает. Как и у нас. И в сырьевые окраины "бывшего Союза" по той же причине теперь тычутся. Конечно, боязно вкладывать средства в дикую и ненадежную экономику. Ну так и сидели бы дома, огородившись. Не сидится. Почему же? Потому что не выжить и

там. Только там человек, выкручиваясь, знает, что пенять ему более не на кого, кроме как на самого себя. А у нас человек как раз на себя-то и не надеется, а надеется на авось, то есть — на общину, на коммунизм и на "светлое будущее". Лиши его этих опор — и он в отчаянии: ни вперед, ни назад.

Я, конечно, не рискну вслед за Клямкиным (и его оппонентами из газет "Сегодня" и "Завтра", то есть слева и справа) определять, куда нам ближе, то есть в какой степени наш человек проникся идеями рынка и барыша, а в какой — остается государственным и коллективистом. Это определится методом тыка — практически. Можно предположить, что сейчас тех и этих поровну, но зависит-то все еще и от динамики. Куда накренится, туда и посыплется. И не угадаешь. И не надо угадывать. Надо быть готовыми ко всему. И выживать при любом варианте дури, насилия, эйфории и отчаяния.

А если катастрофа? "Если развитие примет катастрофический характер", то есть, "если произойдет массовый выброс людей из их социальных ниш"? Ну, тогда жди беды: возврат к тоталитаризму неизбежен.

К этому не привыкать. Мы в этом "тоталитаризме" выросли. Конечно, будет не так страшно называться. Как-нибудь иначе, похитрее, помягче. С нашей помощью и переназовется. Не в названии же дело. Дело в том, что если мы практически уперлись в необходимость "делегирования ответственности", то практически это и придется реализовать: без глобального гамлетизма над тем, капитализм это или не капитализм. Это — всего лишь способ управления ресурсами, при котором за твое решение ты же и отвечаешь — карманом. Раньше отвечал — головой (при Сталине, когда завоевывали и отвоевывали). Или не отвечал (при Брежневе, когда проедали завоеванное). Отвечали: "колхоз", "профсоюз", "страна-громада" и прочее. Ну, а теперь социализма нет, значит, сам и отвечаешь. Как Розанов говорил о военной реформе Петра: старое войско б и л и , а новое войско б и л о , и ни при чем тут "западничество" и "славянофильство".

Понадобилось — и в Азию окно прорубили. "Аз и Я" — одна семья. Это дела практического плана или, как верно говорит И. Клямкин, вопросы выживания. Если же при этом мы чувствуем себя непременно полуживыми-полумертвыми, и успех у нас — не успех, а "предупех", и тип мы фатально "переходный", и народ самый многотрадальный, так это, пожалуй, комплекс неполноценности, а вовсе не динамизм. Шапкозакидательством такой комплекс не снимается, а только усугубляется.

Ну, а если эта переходность-промежуточность у нас в крови — на нашем-то мировом перекрестке? Если наша всеотзывчивость (междумье) неотделима от нашей безграничности (междомья)? И куда нам от этого не деться, а с этим жить?

Значит, надо жить. С этим. И с тем. С деревенской дедовской традицией. Или с мировым порно-авангардом. Мало ли чего откопают и нанесут.

Будешь чист — не налипнет.

**Интерагентство Демоль** 

**предлагает Вашему вниманию следующие туры:**

- **АНГЛИЯ (ЛОНДОН):** 7 дней/6 ночей. \*\*\*. 5 экскурсий.  
29.05–04.06.1994; 03.06–09.06.1994;  
24.06–30.06.1994.  
Стоимость тура: \$370 + а/б.  
— Изучение английского языка в АНГЛИИ (Лондон): проживание в семье или в гостинице \*\*\*. Н.В. 15 часов в неделю с выдачей сертификата.  
цена от \$300 за неделю + а/б.  
— На летние каникулы для детей международные студенческие лагеря на юге Англии на берегу океана, цена от \$300 за неделю + а/б.
- **ФРАНЦИЯ (ПАРИЖ):** 7 дней/6 ночей. \*\*\*.  
Стоимость тура \$385 + а/б.
- Весенние туры для детей и взрослых в Европийский **ДИСНЕЙЛЕНД** от \$300 США+а/б
- **КИПР (ЛИМАСОЛ):** в любое удобное для Вас время.  
Отели \*\*\*\*\* «Шератон», «Гавани», «Меридиан», «Аполлония».  
Завтрак. От \$60 в день + а/б.  
\*\*\* или \*\*\*\*. 8 дней/7 ночей. От \$190+ а/б.  
Самые дешевые туры на КОСТА-БРАВО.
- **КАНАРСКИЕ ОСТРОВА:** о. Тенерифе — 10 ночей/11 дней.  
23.05–03.06.1994; 30.05–10.06.1994;  
06.06–17.06.1994; 20.06–01.07.1994;  
27.06–08.07.1994.
- \*\*\*\*. Н.В. авиакомпания «ИБЕРИЯ». От \$1150.
- Организуем индивидуальные и групповые туры в **ГЕРМАНИЮ**.
- С мая организуем чартерные рейсы в **ШЕНЬЯН (КИТАЙ)**.
- **МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ В ГЕРМАНИИ:** ДЮССЕЛЬДОРФ: «Pa Pro» — упаковочные средства, производство бумаги и пленочные материалы — 25.05–31.05.1994.
- GIFA/METEC/THERMPROCESS — термо-обработка и термолпресс — 14.06, 23.06.1994.
- ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН: ILA'94 — аэрокосмическая выставка — 29.05–05.06.1994. \*\*\*. от \$600.

— Наш адрес: Москва, ул. Мархлевского, 20/2, офис 43.  
Тел.: 925-94-20. Тел. факс: 923-99-10.



Елена ДУБИНЕЦ

## МУЗЫКА — ЭТО ВСЕ, ЧТО ЗВУЧИТ ВОКРУГ

Замечательный русский музыковед, имеющий две родины — Америку и Россию, — Валентина Конен в одном из своих исследований говорит, что вопрос о "существовании в США единой национальной школы в музыке пока еще ждет ответа". Окончательного ответа на этот вопрос нет и сегодня.

Америка сумела взрастить не одно поколение самобытных и талантливых композиторов — так же, как и исполнителей. Но едва ли не каждый имеет настолько яркую индивидуальность, что объединять все разнообразные направления американской музыки под знаменем единой композиторской школы не приходится.

Специфичность американского искусства — именно в пестроте и всеохватности его проявлений, в возможности для свободного высказывания любых идей с любых твор-

ческих и нравственных позиций. О некоторых явлениях американской музыки и пойдет речь ниже.

### Зачем музыканту клей

"Там, где люди чувствовали необходимость прилепить звуки друг к другу, чтобы произвести связность, мы... находили противоположную необходимость — избавиться от клея так, чтобы звуки были сами по себе". Слова эти принадлежат Джону Кейджу, великому американскому музыканту-экспериментатору, которого считают одним из лидеров мировой музыки нашего столетия. Именно Кейдж внес в искусство раскованность и свободу, отверг все и всяческие нормы и предоставил музыке возможность говорить самой за себя. "Он мог себе все позволить в безнадежно спятившем с ума мире музыкального авангарда", — так сказал о Кейдже его друг Алан Уотс.

Композитор не просто пишет музыку — он сочиняет некое синтетическое действо, участником которого является и слушатель. Музыкой становится все, что звучит вокруг: любые природные или урбанистические звуки и шумы, и даже тишина. Кейдж проложил путь едва ли не всем направлениям второй половины XX века, связанным с экспериментаторством и эксцентричностью. Уже к концу 30-х годов он обретает неповторимый творческий почерк, создает "подготовленное" фортепиано — рояль с сурдинами из различных материалов на струнах, при игре на котором тембр фортепиано волшебным образом преобразуется, и возникают различные ударные и шумовые эффекты. Несколько позже Кейдж начинает использовать, казалось бы, немusикальные источники звука: в "Воображаемом пейзаже № 1" — два фонографа, работающие с различной скоростью, в знаменитой пьесе "4'33'" — тишину, в "Williams Mix" — магнитофонную пленку.

Композитор использует старинную китайскую книгу "I Ching" ("Книгу случайностей") и, гадая по ней, строит таблицы для генерации ассортимента нот, или, например,

просто пишет ноты в тех местах бумаги, где находят неровности и пятна.

В исполнении пьесы "Воображаемый пейзаж № 4" участвовало 12 радиоприемников. Один из музыкантов регулировал громкость на своем приемнике, другой — смену радиостанций. Звучание этой пьесы зависит от того, что транслируется по радио в данный момент, и ни одно исполнение не может быть похожим на другое. Так исчезает само понятие "произведения": то, что происходит на концертной эстраде, можно назвать как угодно — хэппенингом, импровизацией, просто событием искусства, артефактом, но не произведением с его предполагающей оформленностью.

**Сочинение Кейджа "Одновременное представление несоотносящихся событий" исполнялось так: Кейдж читал лекцию, Давид Тюдор играл на фортепиано, Мерс Кингэм танцевал, Роберт Раушенберг проигрывал старые пластинки на вращаемой вручную машине, поэтесса Мари Ричардс читала свои стихи, сидя на приставной лестнице, различные кинокадры проецировались на потолок. Комбинация этих событий была произвольной. Через несколько лет подобные явления стали называться "хэппенингами". Их смысл — в максимальной свободе самовыражения.**

В хэппенинге, как правило, участвуют и их авторы, и исполнители, и слушатели — все они становятся соавторами. Изменяется традиционный для музыкального искусства тип однонаправленной коммуникации по схеме "композитор — исполнитель — слушатель": все эти стадии общения соединяются и уравниваются в правах. Нельзя в связи с этим не упомянуть пьесу Кейджа в жанре хэппенинга — созданную совместно с Л. Хиллером — "HPS-CHD" (сокращения от слова "harpichord" — "клавесин"). На сцене концертного зала Иллинойского университета находились семь исполнителей на клавесинах, усиленных через микрофоны. Исполнители сидели на поднимающихся платформах. Трое из них исполняли преобразованную с помощью компьютера музыку Моцарта, двое — коллажи из различных фортепианных произведений Моцарта, Бетховена, Шопена и других композиторов. Один играл распечатанные с помощью компьютера 12-тоновые последовательности, и, наконец, последний исполнял свои любимые сочинения Моцарта. Каждый клавесинист мог играть не только свою, но и чужую партию, повторять любые

фрагменты любое количество раз. Одновременно по 51 усилителю звучали 51 пленка с записью электронной музыки по выбору компьютера. Визуальный ряд включал слайды, фильмы, световые эффекты, вращающиеся зеркальные шары. Представление длилось с 8 часов вечера до полуночи. Публика могла выбирать любые сочетания для слуха и для глаза из обилия происходящих вокруг событий. Слушатели-зрители сами становились частью пьесы, прогуливаясь по залу, разговаривая. Они сами творили свою музыку. Вот для чего, похоже, Кейдж сочинял — чтобы его соавтором становился каждый присутствующий при исполнении музыки. Когда его спросили, что он думает о том, если исполнитель сыграет его сочинение в полном противоречии с композиторским замыслом, он ответил: "О, это было бы великолепно!"

До последних дней жизни Кейдж изобретал музыку, писал книги, рисовал, придумывал новые рецепты приготовления грибов. Неумолимый фантазер скорее всего не был композитором в общепринятом смысле этого слова. Между тем, без его творчества была бы невозможна история послевоенной американской, да и европейской музыкальной культуры. Он и его последователи — композиторы, художники, танцоры, писатели — совершили подлинную революцию в искусстве, взорвав изнутри формировавшиеся веками европейские традиции и нормы.

### **Музыка — это архитектура и живопись в звуках**

Вот что писал об искусстве послевоенной Америки композитор Мортон Фелдман: "Любой, кто был в 50-е годы вокруг художников, видел, что эти люди начали развивать их собственные чувства, их собственный пластический язык... Я чувствовал, что Кейдж, Браун, Вольф и я работали большей частью в том же духе".

Живописец Роберт Раушенберг и музыкант Джон Кейдж одновременно приходят к тому, чтобы сделать частью своего искусства любые явления окружающего мира. Раушенберг делает так называемые "комбинированные картины", дополняя живопись печатными и вещественными

вставками и наклейками, фотографиями, скульптурными фигурами.

В 1950—51 году он пишет серию так называемых "белых картин", на которых зритель не мог рассмотреть ничего, кроме белой поверхности холста, иногда с тенью. Затем последовали несколько "черных полотен", сделанных из разорванных и мятых газет, покрытых черной эмалевой краской. Несколько позже, под влиянием опытов Раушенберга, возникла знаменитая "пьеса тишины" Джона Кейджа — "4'33'" для любого состава инструментов: исполнитель (или исполнители) присутствуют на сцене в течение четырех минут тридцати трех секунд, не издавая звуков, а публика по-своему реагирует на подобное "антиконцертное" поведение музыкантов — это и есть музыка! Естественно, реакция слушателей бывает самая разнообразная и непредсказуемая. Например, при исполнении этой пьесы в Москве осенью 1992 года вскоре после смерти композитора слушатели по одному порыву раскрыли зонтики, и Рахманиновский зал Московской консерватории несколько минут в тишине, нарушаемой лишь щелчками открываемых зонтов, вспоминал о великом и добром человеке, увлекавшемся музыкой и дзен-буддизмом, живописью и грибами...

Под влиянием живописных произведений (полотен Джексона Поллока и Александра Калдера) композитор Эрл Браун изобрел "графическую нотацию": композиторские картины в духе абстрактной живописи должны пробуждать у исполнителей некие музыкальные образы. Разумеется, каждое "исполнение" этих графических "партитур" оказывалось отличным от предыдущих. Исполнение зависело лишь от желаний и художественного вкуса музыкантов, которые становились таким образом соавторами композитора. Более того, подобные "звучащие картины" могли и вовсе не звучать: неоднократно устраивались выставки "графических партитур".

Синтезируя музыку и изобразительное искусство, создатели "графической нотации" изобрели новую знаковую систему, новый тип языка, который попытался вырвать



"письменную" музыку из оков традиционной нотной графики, понятной только музыкально образованным людям. Роль этих партитур та же, что и у абстрактной живописи: возбуждение субъективных ассоциаций. Музыка начинает "говорить" со своими почитателями сразу на двух языках: на языке звуков и на языке простых изобразительных линий и рельефов, близких зачастую детскому рисунку — так же, как и песне, одному из самых ранних проявлений человеческого духа. Не случайно именно ясная всем без исключения "графическая нотация", вместе с обычным словесным текстом, породит в себе явление хэппенинга, в основе эстетики которого — близость к реальной жизни и возможность всеобщего участия в представлении.

И еще об архитектуре Америки. Она однообразна, но многолика. В знаменитых многоэтажных "даун-таунах" крупных американских городов при всей их тесноте и скученности нельзя найти двух похожих небоскребов (кроме специально построенных "близнецов"), зато на каждом шагу встречаются подлинные шедевры современной архитектуры. Типичным для американских городов является соседство псевдостаринных соборов и современных небоскребов, как, например, на центральной площади Бостона. Почти такой же разительный контраст существует в комплексе Чикагского университета, состоящем из построек различных готических стилей, напротив которых располагается знаменитый "Раби-хаус" одного из крупнейших американских архитекторов Ф. Райта.

**Чикагский даун-таун поражает обилием произведений знаменитых художников: скульптура и мозаика живут прямо на улицах и соседствуют с небоскребами. Это скульптуры Пикассо и знаменитая "Стена Шагала" — большая мозаичная плита, установленная в одном из маленьких скверов города. А в самом центре Филадельфии, по соседству с великолепным "Холлом независимости" — главным зданием города, построенным в стиле позднего барокко — стоит гигантская скульптура: копия обыкновенной прищепки для белья. С других сторон здание Холла окружено причудливыми скульптурами Генри Мура, обильно украшающими многие американские города.**

Такое же многообразие и соседство противоположных

стилей можно найти и в музыке — не только в существовании множества музыкальных направлений и линий, но даже внутри отдельных произведений.

Американцы первые еще в начале века стали сталкивать друг с другом фрагменты из разножанровой и разностилевой музыки, строить музыкальные дома-коллажи. Лишь полвека спустя в Европе займет устойчивые позиции аналогичное направление полистилистики.

## Немного музыковедения

Становление американской композиторской школы произошло лишь к началу XX века, когда другие ведущие страны мира уже имели свои профессиональные традиции.

Композитором, внесшим в музыку собственно американский стиль, стал один из наиболее значительных и пророческих музыкантов нашего столетия Чарльз Айвз. Именно он обобщил в своем творчестве едва ли не все музыкальные народные элементы (пуританский хорал, спиричуэлс, рэгтайм и многое другое) и, создавая активную и ярко новаторскую музыку, предвосхитил многие последующие завоевания музыкальной культуры XX века.

На рубеже последних веков в Америке сформировался джаз и быстро завоевал огромную популярность — естественно, этого не могли не заметить "академические" композиторы. Эмоциональная заразительность джаза, активная ритмическая энергия, импровизационность — все это привлекало многих, в том числе и Джорджа Гершвина, который создал первую национальную американскую оперу — "Порги и Бэсс". Гершвину удалось соединить элементы джаза и эстрадной музыки с национальным афроамериканским фольклором.

Во второй половине века появилось целое направление — сначала в американской, а затем и в мировой музыке, стоящее на стыке двух музыкальных культур — академической и джазовой. Название — "Третье течение" — дал направлению его ведущий представитель

Гюнтер Шуллер, один из крупнейших в мире теоретиков джаза.

А в середине 50-х на вершину музыкального Олимпа взлетел рок-н-ролл, который с самого начала был воспринят молодыми людьми как "своя" музыка. Увлечение рок-н-роллом знаменовало собой оппозицию родителям, педагогам, церкви, политике, представителям старшего поколения. Происшедший от нескольких музыкальных субкультур (негритянской, бедной, деревенской) рок-н-ролл объединил под аурой бунтарства всю американскую молодежь. Кстати, именно в середине 50-х годов усилилась и стала приводить к крупным победам борьба негров за свои права. 60-е годы стали временем активной государственной поддержки "академического" искусства. Именно в эти годы в самом сердце Нью-Йорка был построен знаменитый "Линкольн-центр", включивший в себя здания новой "Метрополитен-опера", Джульярдской школы, Эвери-Фишер Холла, Балетного театра. Тогда же возник и Центр имени Кеннеди в Вашингтоне.

Музыкальная академическая жизнь начинает фокусироваться вокруг университетов, которые приглашают для преподавания крупных композиторов, организуют концертную деятельность, создают свои оркестры, хоры, электронные студии, дают возможность развиваться музыковедению, выпускают музыкальные журналы.

Наряду с джазом продолжает жить и активно развиваться так называемая "университетская" музыка Америки. Ее авторы — композиторы, прошедшие крепкую академическую школу и преподающие на кафедрах композиции университетов и консерваторий то, чем они сами хорошо владеют — сочинение музыки по строгим правилам, согласно детально разработанным системам.

Музыка этих композиторов, как правило, сложна и многообразна, она предполагает наличие множества одновременно развивающихся линий и пластов, гиперусложненность музыкального языка и фактуры. Композитор Д. Финко, эмигрировавший в 1980 году из СССР в США, точно охарактеризовал "университетскую" музыку: "Я на-

зываю ее "интеллектуальным онанизмом", пахнущим провинцией. На этой музыке явно отразился свойственный Америке в целом переизбыток информации: в университетах ценится музыка, в которой много линий, пластов, разнообразных теоретических изысканий. Эта музыка умозрительна и перегружена событиями, она страдает, как правило, отсутствием смысла при его мнимом изобилии. Едва ли не единственное исключение из вышесказанного — творчество Джорджа Крама, по-настоящему талантливого и самобытного композитора".

Джордж Крам (один из самых значительных, наряду с Айвзом и Кейджем, американских композиторов) соединил в своем творчестве звуковую утонченность и символику мистических образов, эстетику восточных религиозных учений и острую психологичность. Композитор изобрел особую "инструментальную технику" и оригинальный способ записи своих мыслей. Партитурные страницы сочинений Крама производят впечатление тонко сплетенной и почти нереальной паутины, из которой должны рождаться столь же хрупкие и таинственные звуки.

Крам намеренно хочет подчеркнуть в музыке связь времен, отсылая своих слушателей и исследователей к музыкальному опыту прошлого. Композитор считает, что один из наиболее важных аспектов современной музыкальной культуры — расширение до невиданного прежде уровня — исторического и географического ощущения... В реальном восприятии нам дана сегодня вся история музыки, тогда как предшествующие композиторы могли знать творчество лишь одного-двух поколений до них.

Другой "академический" американский композитор-интеллектуал и философ — Джордж Рокберг — обращается в начале 60-х, после долгих авангардных исканий, к неоромантизму, возглавив целую плеяду американских композиторов-неоромантиков и предвосхитив своим творчеством европейский неоромантизм и полистилистику. "Я всегда твердо придерживался убеждений, — пишет Рокберг, — что музыка дана человеку для того, чтобы он смог выразить лучшее, на что он способен; что лучшее,

на что он способен, должно относиться именно к его глубочайшим чувствам; что его глубочайшие чувства коренятся в том, что, как я полагаю, должно быть моральным законом для всех и вся, который лежит в основе реальности существования".

И те же 60-е были эпохой вседозволенности, следования только своему мнению. Крылатая фраза 60-х — "Делай свое дело". Это была эпоха Движения Свободных Речей, сжигания эскизов, наготы на сценах и экранах, либерализации гомосексуалистов и лесбиянок, усиления позиций негров, длинных волос, коротких юбок и прозрачных блузок. Это было время фактического исчезновения цензуры в кино, театре, книгах и прессе, время полуобнаженных танцоров и официантов, хиппи, марихуаны и ЛСД, массовых арестов и убийств.

60-е годы в искусстве стали эрой андерграунда. Кино андерграунда затрагивало такие темы, которых Голливуд никогда бы не коснулся. В публикациях использовался язык, неслыханный до того в американском журнализме, который правдиво рассказывал о радикальных политиках, наркотиках, сексе и других темах, лежавших в стороне от жизни добропорядочного среднего американца.

Именно в 60-е годы заявляет о себе отпочковавшееся от экспериментаторского творчества Кейджа течение — минимализм. Работая с минимальным количеством музыкальных средств и первоначальными элементами музыкального языка (одна нота, трезвучие, гамма), композиторы заботятся о самодостаточности звучания, не думая о формально-логических связях в построении музыкальной формы. Самый распространенный в минимализме метод развития материала — его многократное повторение. В результате возникает состояние созерцания, медитации, ритуальности. Погруженность в это глубокое, бесконечное состояние, замороженность и зачарованность музыкой — вот что испытывает слушатель минималистских произведений. Это чувство оказывается близким к тому ощущению, которое возникает у наркомана — не случайно минимализм завоевывает колоссальную популярность, и

главным образом — не в среде профессиональных "академических" музыкантов, а в "тусовочных" молодежных кругах.

**Почти всегда при слушании минималистской музыки возникает аффект образного "досочинения" слушателем авторских "конспектов". Инструментальные произведения Ла Монт Янга и Терри Райли, длящиеся часами, оставляют простор для фантазии слушателя, которая волею-неволею начинает разматывать клубки звуков, создавая из них то картины природы, то определенное психологическое настроение, то даже иллюзию перемещения собственного тела в воображаемом пространстве. Слушатель перестает ощущать реальное время, так как человеческий организм, поддавшись течению минималистского времени, начинает жить естественной жизнью, расслабляясь, купаясь в приятных для своего естества волнах.**

Минимализм таких композиторов, как Мортон Фелдман, Ла Монт Янг, Филип Гласс предлагает человечеству путь к душевному успокоению, обращаясь к первоосновам человеческого бытия — простоте, красоте, естественности, природности, — в противовес сложности, звуковой перенасыщенности, хаотичности уже устаревающего в 60-е годы европейского авангарда.

Именно это направление вобрало в себя многие черты американского общества. Многократные повторения звуковых моделей отражают, например, бесконечное навязывание информации рекламными агентствами или огромное количество национальных флагов, вывешиваемых на улицах Соединенных Штатов. Минимализм с его статикой и длительностью мог родиться только в огромной Америке с ее бесконечными сельскими пейзажами и городами, как две капли воды дублирующими друг друга (обычно европейцу довольно быстро становится скучно путешествовать по американским городам именно из-за их внешней похожести).

Минимализм отразил и главные психологические свойства американцев: наивность, жизнелюбие и радушие при большой организованности и сосредоточенности в деловой жизни. Отсюда — безмятежное спокойствие минима-

листной музыки, внутри которого всегда ощущается моторность и упруго-динамическая пульсация.

### **Писать любую музыку по вашему желанию**

"Как композиторы, они все были не-европейцами в том смысле, что они не чувствовали близких связей с обычной музыкальной историей и традицией, так как их творчество было в основном инспирировано школой живописи и скульптуры, которая брала начало в сырой американской земле и настойчиво воздвигала свое собственное будущее". Так пишет американский музыковед Р. Бриндл о группе музыкантов-экспериментаторов, возглавляемых Джоном Кейджем.

Вобрав в себя многовековой опыт развития пришлых народов, их культурные традиции, Америка сумела выработать свои специфические черты, которые просматриваются во всех явлениях американской действительности, и в том числе в музыке.

Так какая она, американская музыка? В ней отсутствуют концептуальные конфликты, красочно сопоставляется различный по образному решению тематизм, материал развертывается вне существующих в европейской традиции канонов, движение в ней динамично и ритмически активно... Экспериментаторство и рутина, шокирующая новизна и унылая типичность — да, все это в ней есть.

Культура, в которой перемешаны все национальности, цвета кожи, языки, не может быть однородной. Фольклорные корни и ментальность у представителя каждой группы, населения, разумеется, отличны от соседних. Кроме того, искусство в Америке является профессией только для очень богатых или очень одаренных людей. Поэтому, например, среди композиторов встречаются люди самых разных слоев населения и профессий: миллионер Джон Кейдж, имеющий свои промышленные производства, и таксист Филип Гласс, интеллектual с типичной "академически-преподавательской" судьбой Джордж Крам и ма-

тематик Милтон Бэббит, торговец автомобилями Стив Райк и многие другие. Естественно при этом, что в американской музыке существует бесчисленное множество различных направлений, течений и просто индивидуальных стилей, невозможное ни в какой другой стране мира.

Американцы хотят жить только своей жизнью и иметь независимое от других мнение. Именно поэтому они предпочитают жить в собственном доме, а не в квартире в центре города. Для того же, в частности, американцам нужна собственная машина — чтобы не пересекаться с другими людьми. Стремление существовать автономно, избегать любые влияния и стереотипы лежит в основе бесконечного разнообразия тенденций в американском искусстве.

Явления подчеркнута американского склада (такие, как экспериментаторство Кейджа, минимализм, "третье течение"), которые намеренно противопоставляют себя европейским традициям, резко выделяются на фоне мерного течения мировой "академической" музыкальной культуры. Эти заранее рассчитанные на сенсацию и эпатаж действия, как правило, вызывают у слушателей и критиков удивление и зачастую эстетический шок, а затем у многих — повальную подверженность новым влияниям.

Именно в отношении композиторов Америки к европейской музыкальной традиции можно выявить специфически американский стиль. При огромном интересе к ней американские художники предпочитают либо не заимствовать европейских традиций, либо трансформировать музыкальные каноны Старого Света, например, внедрять элементы джаза в технически строгие композиции или вносить необычно звучащие инструменты в состав симфонического оркестра.

Пожалуй, наиболее близок к ответу на вопрос о специфике американской музыки композитор В. Томсон, который объясняет своим коллегам: "Способ, как писать американскую музыку, прост: все, что надо сделать — это быть американцем и тогда писать любую музыку по вашему желанию. Это модель для всех случаев".

Р Е К Л А М А

## *К вашим услугам любая информация о России.*

Информационный центр при Научной библиотеке Московского университета имени М.В. Ломоносова предлагает самый широкий спектр информационно-библиографических, справочных услуг по E:mail.

*Мы готовы ответить на любые вопросы, связанные с Россией. От простейших — адреса, телефоны, имена руководителей организаций, фирм, ученых, политических деятелей. До сложных — исторические, экономические справки, библиографические списки книг, статей по любой теме. На каждый вопрос вы получите содержательный ответ.*

*Если необходимо, мы также готовы направить Вам копии практически любых материалов когда-либо издававшихся на русском языке. Scanned image in the TIFF or PCX format по E.mail или бумажную копию по почте.*

Запросы принимаются по адресу: **[inf@lib.msu.su](mailto:inf@lib.msu.su)**. Язык английский или русский по Вашему желанию. Ответ будет послан на том же языке. Через 24—48 часов (в зависимости от сложности запроса) мы по E:mail подтверждаем принятие заказа, сообщаем примерные сроки исполнения и высылаем счет на оплату в банке США. Стоимость зависит от объема работы, количества запрашиваемой библиографической информации, минимальная цена справки 25 USD.



Сергей РАХЛИН

## ЗАКОН И КУЛАК

В новом фильме "Фургоны на Восток" есть момент, когда стремящиеся на Запад переселенцы, испытав множество трудностей, решают вернуться назад, на Восток страны. Фильм этот по жанру — вестерн. Судя по всему, вестерн свои фургоны никуда поворачивать не намерен. Он уже на Западе, на Диком Западе, и в ближайшее время покидать его не собирается.

Вестерн — классический жанр американского кинематографа. Один из первых американских художественных фильмов — "Ограбление поезда" — был вестерном. С тех пор утекло немало воды, но именно по этому жанру мир представлял себе Америку, а многие американцы составляли представление о себе.

Помню, каким откровением для нас, тогдашних советских кинозрителей, стала "Великолепная семерка", вышедшая на экраны в 60-х годах. Тогда только специалисты знали, что фильм не оригинален, что он поставлен по сюжету фильма японского режиссера Акиры Куросавы

"Семь самураев", что это, в некотором роде, анти-вестерн, предтеча анти-вестернов итальянца Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе" и многих других.

Итальянский режиссер в формальном отношении сделал многое, чтобы вдохнуть новую жизнь в несколько закостеневший к тому времени жанр, но при этом он как бы изнутри взорвал многие американские мифы, лишив романтического ореола покорителей Дикого Запада. Интересно, что никто иной как Леоне, безвременно ушедший из жизни, создал образ загадочного одинокого ковбоя Клинта Иствуда, и именно Иствуду, одному из воплощений анти-вестерна, будет суждено сыграть такую важную роль в возрождении жанра, которое мы наблюдаем сегодня.

В годы, когда вестерны почти не снимали, Иствуд сыграл главную роль в фильме "Бледный всадник". Картина не стала сенсацией, хотя и была вполне добротной: просто в те годы интерес к вестерну почти полностью исчез.

Но прошло немного времени и неожиданно для специалистов в области кино, не говоря об обывателях, обладателем многих "Оскаров" становится вестерн "Танцующий с волками" (режиссер и исполнитель главной роли Кевин Костнер). Миф об американском герое, с помощью кулака и пистолета отстаивающего справедливость, возродился на глазах.

Как это часто бывает в Голливуде, успех немедленно породил подражания. Последовали один за другим несколько вестернов. Одни были более успешными в прокате (например, "Молодые пистолеты"), другие прошли незамеченными, пока тенденция к возрождению жанра не утвердилась грандиозным успехом фильма Клинта Иствуда "Нет прощения". Картина была названа лучшим фильмом 1992 года.

"Оскары", присужденные Иствуду и его фильму, не только увенчали карьеру самобытного американского художника, длящуюся несколько десятилетий, но и провоз-

гласили граду и миру, что вестерн вернулся. И надолго. И ясно почему. Потому что в обществе обозначилась тоска по спокойствию и порядку, потому что американцы устали от преступности, и в душе готовы к тому, чтобы кулак заменил закон, если закон не может защитить послушного ему гражданина.

Герой Иствуда, в прошлом и сам не раз грешивший против закона, отправляется со своей фермы, где он теперь разводит свиней, на последнее в его жизни приключение: за деньги уничтожить обидчиков проституток из дома терпимости одного из штатов Запада. По ходу дела ему приходится сразиться не только с этими негодьями, но даже и с самим тамошним шерифом. В подобном повороте сюжета отражается неверие среднего американца в то, что те, кому поручено его защищать, будут это делать на совесть.

Когда реальность становится невыносимой, американцы ищут убежища не только в бездумных комедиях или постановочных боевиках — но и в лоне традиционных своих мифов о благородных разбойниках и ковбоях, способных их защитить от произвола.

Растущая эмансипация американских женщин приводит к тому, что героини некоторых вестернов начинают примерять на себя ковбойские одежды.

Дамский аналог ковбоя Клинта Иствуда создает впервые снявшаяся в вестерне Шарон Стоун, одна из немногих сегодня американских кинозвезд. Даже своим силуэтом героиня фильма "Быстрые и мертвые" напоминает Клинта Иствуда в молодости. Сходство это, по-видимому, не случайно. Эллин, которую играет Шарон Стоун, прибывает в городок на Диком Западе, чтобы свести старые счеты. Как и герои Иствуда, она в совершенстве владеет шестизарядным револьвером и именно с его помощью собирается утвердить свою правоту.

Не знаю, решила ли актриса поэкспериментировать со своей карьерой, снявшись в вестерне ради новизны ощущений (и денег), или у нее есть далеко идущие планы, связанные с возрождением жанра. Много будет зависеть

от прокатной судьбы фильма и от того, примет ли зритель Клинта Иствуда в юбке, точнее, в кожаных ковбойских штанах. Именно в такие штаны облачаются четыре героини еще одного "дамского" вестерна — "Плохие девчонки".

Популярные молодые актрисы Энди Мак Доуэлл, Мэри Стюарт Мэстерсон, Мэделайн Стоув и Дрю Бэрримор играют четырех насельниц дома терпимости на Диком Западе, которых лишили собственности и при этом физически надругались над ними. В отличие от проституток из фильма "Нет прощения", эти девчонки не зовут на помощь мужчину-защитника, а берут "Винчестеры" в свои нежные руки. В соответствии с представлениями сегодняшних женщин о своей роли в обществе авторы картины акцентируют внимание на том, как героини, слабые по отдельности, но сильные своим единством, отстаивают свою свободу, достоинство и, что немаловажно для американского сознания, свое имущество, незаконно отнятое у них. Пусть у героинь нет политических целей, но фильм несет политически окрашенный "месседж" — послание аудитории о готовности лучшей ее части постоять за себя. И это послание, по-видимому, находит адресата. Но я не думаю, что кассовый успех фильма (он одно время лидировал в прокате) можно приписать только отклику женщин-зрительниц. Пусть картина скромна по своим художественным достоинствам, но она — чистый вестерн, со всем его набором обретших второе рождение стереотипов.

Весьма скромнен в художественном отношении еще один "коммерческий" вестерн — "Тумстоун", но и он имел успех. Не в последнюю очередь потому, что молодой актер Вэл Килмер создает здесь неординарную роль Дока Голливуда — пьяницы, игрока и бесстрашного револьверного стрелка. Однако, в центре повествования не он, а легендарный и исторически существовавший шериф Ваятт Эрп, приехавший со своими братьями в Аризону, в городок Тумстоун, чтобы заняться бизнесом после многих лет, проведенных в борьбе с преступниками.

Вполне созвучно нашим временам то, что преступники не дают честным гражданам насладиться вновь обретенным процветанием. И тогда Эрп и его братья, а также Док Голливуд вынуждены взять закон в свои руки, ибо местные "законники" полностью продались бандитам. Этот фильм — не первый о Ваятте Эрпе и о знаменитой перестрелке с бандитами в Тумстоуне. Равно как и не последний. Когда пишутся эти строки, уже демонстрируются в кинотеатрах рекламные ролики нового вестерна, который так и называется "Ваятт Эрп". Если "Тумстоун" был сделан по законам комикса, где герои должны быть духовно плоскими, но внешне выразительными, то судя по тому, что отобрали авторы для своего последнего фильма, "Ваятт Эрп" будет по фактуре суровым вестерном, визуально и по настроению сходным с лентой "Нет прощения" Клинта Иствуда.

В главной роли тут снова Кевин Кестнер, тот самый, что положил начало победительному возвращению вестерна фильмом "Танцующий с волками".

Отсутствие в "Ваятте Эрпе" того глянца, который свойственен "Тумстоуну", не означает грядущей коммерческой неудачи. Скорее всего именно "Ваятт Эрп" окажется настоящим кассовым боевиком, поскольку Кевин Кестнер — звезда, "на него" идут независимо от жанра картины, в которой он снимается, а потом — "Ваятт Эрп" больше отвечает ожиданиям зрителей, настроенных сегодня достаточно мрачно.

Американцы, однако, не из тех людей, которые могут постоянно находиться в хандре и беспокоестве. Поэтому Голливуд не перебирает с мрачными сюжетами и находит в своем репертуаре место для вестернов более жизне-радостных. На грани пародии, а порой и переходя эту грань, поставлен романтически-комедийный вестерн "Отщепенец". Сценарий написал Уильям Голдмэн, автор сценария нашумевшего в свое время комедийного вестерна "Батч Кэссиди и Парнишка-Солнечный зайчик". Много, если не в содержании, то в приеме переключалось из той давней работы автора в сегодняшнюю. Сюжет "Отщепен-

ца" позаимствован из популярной в 50-х и 60-х годах телевизионной серии с тем же названием. Герой — очаровательный обманщик за карточным столом, хороший стрелок и везунчик. Фильм содержит все основные элементы классического вестерна и вместе с тем пародирует его.

Само появление комедийно-пародийного вестерна говорит о его вновь обретенной силе. Жанр вестерна сегодня настолько здоров, что может себе позволить "переливание" крови другим жанрам.

В картине "Так поступают ковбои", действие которой происходит в сегодняшнем Нью-Йорке, два ковбоя из штата Нью-Мексико Пеппер Льюис и Сонни Гиллстрап, давние соперники, оставляют свои разногласия в стороне, чтобы отправиться на выручку друга, пропавшего в дебрях Нью-Йорка. По жанру картина приключенчески-комедийная, а элементы вестерна, неизбежные в жизни ковбоев, скачущих на лошадях, со своими лассо, только обогащают действие, попутно возвращая зрителей к неким фундаментальным американским ценностям, символизируемым широкополыми шляпами, сапогами со шпорами и рыцарским благородством.

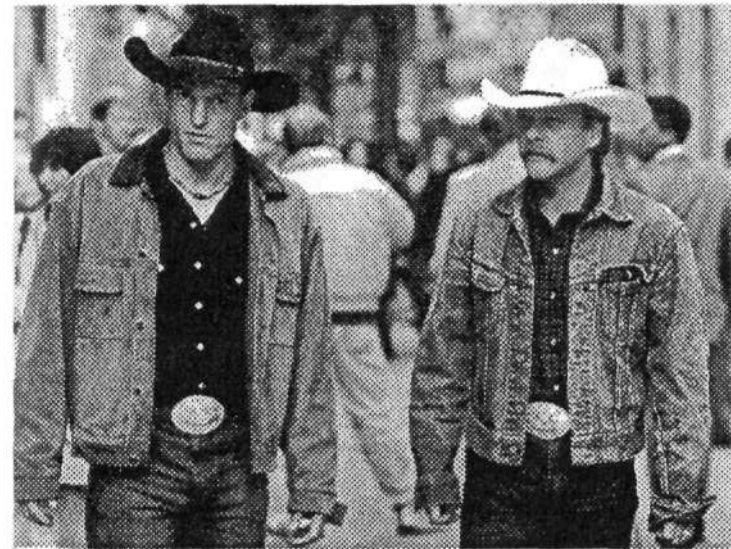
Какие еще ипостаси примет этот неумирающий жанр, сказать трудно. Но даже если мода на него пройдет, то он все равно снова пробьется на американский, а значит и на мировой экран. Сегодня вестерны снимают не только в Соединенных Штатах, но и в Италии, Испании, России... Но только американский вестерн, переживающий "эпоху Возрождения", может поведать миру о менталитете американца, знающего, что закон не всегда может заменить кулак.

Посмотрев вестерн, американец вновь утверждает в этой мысли. Но если его обидят, он скорее всего подаст на своего обидчика в суд...

*Голливуд, Калифорния*



Шерон Стоун в фильме "Быстрые и мертвые"



Кадр из фильма "Так поступают ковбои"





Кадры из фильма "Тумстоун"



Кадр из фильма "Плохие девочки"



Клинт Иствуд (справа) и Джин Хэкмен в фильме "Нет прощения"

## ЗАЛОЖНИК ПОЛИТИКИ

Валерий Зорькин — фигура трагическая. Первый в истории России председатель Конституционного суда, он стал заложником политических обстоятельств, и — проиграл. Во многом потому, что сам довел свою излюбленную идею компромисса до абсурда. Будучи миротворцем, превратился в политика.

Вспомним, что этому предшествовало.

Конституционный суд завоевал симпатии своей твердой и принципиальной позицией при рассмотрении первого крупного околополитического дела. Суд признал незаконным указ президента о слиянии министерств безопасности и внутренних дел. Президент был вынужден подчиниться. Затем состоялось знаменитое разбирательство по делу КПСС, когда суд принял компромиссное решение, признав антиконституционность действий КПСС, но одновременно дав карт-бланш на возрождение коммунистического движения. Зорькин выступил в качестве миротворца во время жесткого противостояния исполнительной и законодательной властей в декабре 92 года. В марте 93 года он признал неконституционным решение президента о введении так называемого "особого порядка управления". Это была репетиция октябрьских событий. Суд раскололся на судей-сторонников и противников президента. К последним отнесли Зорькина. Суд начал разваливаться на глазах. И когда было принято решение Конституционного суда о неконституционности указов президента в сентябре—октябре 93 года, судьи-сторонники президента по сути дела взбунтовались, апеллируя к действительно имевшим место нарушениям процедурных норм. Зорькин снова попытался выступить в роли миротворца — предложил нулевой вариант: враждующие стороны должны были отменить свои решения. На этот раз с председателем суда не посчитались. Более того, деятельность Конституционного суда была приостановлена.

От Зорькина попытались избавиться его же коллеги. Но он устоял, настаивая на том, что имеет право исполнять обязанности рядового члена КС. Одновременно он стал одним из лидеров умеренно патриотического движения "Огласие во имя России".

Основываясь на принципе полноты и объективности информации, редакция решила опубликовать беседу с Валерием Зорькиным, что, разумеется, не свидетельствует о согласии со всеми утверждениями экс-председателя суда.

ИНТЕРВЬЮ  
"ВРЕМЯ И МЫ"



## "Я БУДУ СУДЬЕЙ И НИКЕМ БОЛЕЕ"

*Бывший председатель Конституционного Суда России Валерий Зорькин отвечает на вопросы журнала "Время и мы"*

— Валерий Дмитриевич, не могли бы вы предложить читателям свою версию октябрьских событий?

— Эти события, по счастью, уже уходят в прошлое и вскоре станут предметом исследований историков. Сейчас появился шанс для утверждения гражданского мира — ведь состоялась амнистия. Это означает, что и основная часть оппозиционных сил готова решать конфликты мирными средствами. У общества появилась возможность неконфронтационным путем пойти к стабилизации, к исправлению курса реформ, который был взят явно ошибочно. Октябрь, кстати говоря, одно из следствий этого курса.

Случившееся в октябре связано с тем, что разными политическими силами была выбрана неверная модель поведения, в том числе и официальной исполнительной

властью. Все мы виноваты. Но не превратить Белый дом в черный — это было в силах исполнительной власти.

— А в чем, на ваш взгляд, вина Конституционного Суда?

— Мне трудно говорить за весь Конституционный Суд. Я сожалею о том, что не удалось удержать развитие событий в конституционном, мирном русле. Но КС — это лишь одно звено в цепочке событий. Я и сейчас считаю, что Указ президента от 21 сентября был неконституционен. Даже те судьи, которые приняли сторону президента, тем не менее признавали, что с формально-юридической точки зрения Конституция нарушена. Но они полагали, что, оправдывая президента, встают на "защиту демократии". Извините, но это как раз и есть то, в чем меня обвиняли: пресловутая "целесообразность", поставленная выше закона.

Возможно, Суду стоило бы промолчать. Но как бы это было воспринято? Молчание Суда лишь ускорило бы конфронтацию. Может быть, следовало проявить большую решимость? Но у нас фактически не было инструментов, которые позволили бы исполнить решения Суда...

Получается, что наша вина состояла в... преждевременном появлении Конституционного Суда в России, в том, что не ко времени оказалась заявка на правовое государство. Но ведь шанс на мирное и правовое развитие у России все-таки был. Этот шанс не использовали все ветви власти. И в этом смысле долю вины мы разделяем с другими властями.

**— Обвиняя вас в заговоре против президента, многие говорят о процедурных нарушениях, допущенных в решительные моменты Судом, о том, что вы предлагали премьер-министру Черномырдину взять на себя полномочия главы государства. Как бы вы могли ответить на эти обвинения?**

— В Законе о Конституционном Суде не прописано, как Суд должен действовать в случае переворота или в схожих экстренных ситуациях. Ведь фактически была приостановлена деятельность парламента, были назначены выборы. Что мог сделать Суд? Я думаю, что мы все-таки

поступили правильно. Ведь элементарный постулат процессуального права состоит в том, что нельзя отказываться от защиты материального права, в данном случае Конституции, ссылаясь на процедурные нормы.

Что касается Черномырдина, то ему не предлагалось стать главой государства. С ним обсуждался нулевой вариант, принятый большинством состава Суда. Из чего мы исходили? Парламент встал на дыбы, президент — тоже. И лобовое столкновение было неизбежным. Поэтому нам казалось, — и я до сих пор так считаю, — что нулевой вариант был единственным способом предотвращения прямых военных действий. И я уверен, что если бы нулевой вариант был запущен — т.е. парламент отменяет все, что он принял, президент — все, что принял он, и по обоюдному соглашению они идут на новые выборы (и тогда, кстати, победил бы не Жириновский, а Ельцин) — все разрешилось бы мирным путем. Мне неизвестна закулисная технология, но кто-то переломил ход событий и политические силы пошли на конфронтацию.

**— Была ли, на ваш взгляд, неизбежной политизация Конституционного Суда?**

— Конституционный Суд всегда политизирован в том смысле, что он решает политические вопросы правовыми средствами. В других странах суд в еще большей степени политизирован. Например, в ФРГ кандидаты в судьи могут выдвигаться партиями.

Другой вопрос, что в России нередко возникают весьма своеобразные ситуации, когда "отменяется" разделение властей и принцип сдержек и противовесов: одна власть собирается проглотить другую. Что делать в этой ситуации Суду? У него две возможности. Первая — промолчать, как это сделал Комитет конституционного надзора в 1991 году, когда развалили СССР. Если бы мы в каждом случае молчали, все равно все спрашивали бы: "А где Конституционный Суд? Почему он не встал на защиту прези-

дента?" (или наоборот, парламента, — в зависимости от симпатий того, кто спрашивает).

Вторая возможность — предпринять "политизированный" шаг, направленный на спасение конституционного строя. Таким шагом и стал нулевой вариант, позволявший властям вернуться в конституционное пространство.

А для того, чтобы Конституционный Суд не был политизирован, в самой политике должны соблюдаться конституционные правила. Вот ведь в чем парадокс!

**— Сейчас вы сохраняете полномочия члена КС. Как вы срабатываете с коллегами после некоторых конфликтов с ними?**

— Я не рассматриваю это как конфликт. Это просто какая-то возня...

Полномочия свои потенциально я сохраняю, потому что пока никто не взял и не убрал нас из Суда. Как известно, Пиночет тоже не разогнал Конституционный Суд, а просто десяток с лишним лет платил зарплату судьям неработающего суда. Вот и мы в практическом смысле не осуществляем свои полномочия. Они "записаны в книгах" ("law in the books"), но де-факто их не существует. Но и в этот период судья не может сидеть в своей скорлупе и ждать, что произойдет, под удобным предлогом невмешательства в политику. Лично я делаю все, чтобы КС, наконец, заработал.

**— Очевидно, рано или поздно он все-таки заработает. Появятся новые судьи, но вам придется работать и с представителями первого состава Суда, в том числе и с вашими оппонентами. Возможна ли вообще нормальная работа, когда всем заранее понятно, кто есть кто?**

— "Кто есть кто" — это все весьма условно. Один из судей заявил газете "Нью-Йорк таймс", что все еще вынужден работать в одном помещении с Зорькиным и его людьми, у которых руки в крови. Когда я его спросил, что это означает, он ответил при свидетелях: "Коллеги, извините, но это интервью я дал еще в начале ноября." У меня возникает вопрос — значит, в начале ноября это можно было сказать? Значит, кто-то надеялся на то, что

Зорькина прогонят? Эта версия действительно заслуживает внимания. Бывший генеральный прокурор Казанник в одном из интервью прямо сказал, что ему было дано поручение возбудить уголовное дело в отношении Зорькина.

Но я гражданин своей страны и хочу, чтобы она жила в мире и согласии, и поэтому — выше даже таких обид. Я все-таки сейчас выступаю не в качестве частного лица, а человека, потенциально облеченного полномочиями судьи. Что бы обо мне не говорили, я готов работать, потому что я приносил присягу не этому судье, который так обо мне отозвался, а Конституции. У меня создается впечатление, что и у других судей такое же настроение. И если мы не добьемся согласия в Суде, призывая других к общероссийскому согласию, мы все можем коллективно подавать в отставку.

**— Может, это и стало бы попыткой начать все сначала — коллективно подать в отставку и баллотироваться наравне с другими кандидатами в новый Конституционный Суд?**

— Для меня нет такой проблемы, я на это смотрю спокойно, но это надо сделать всем вместе. Я не хотел бы оказаться в такой ситуации, когда мы прыгаем с самолета все тринадцать, а парашюты — только у шестерых...

**— К вопросу о политизации. Сейчас вы активно занимаетесь политической деятельностью в движении "Согласие во имя России". Собираетесь ли вы прекратить политическую деятельность если Суд начнет работать?**

— Естественно, если Суд заработает, я буду судьей и никем более. Но я все же хотел бы подчеркнуть: я не член партии, а участник широкого гражданского движения, деятельность которого основана на принципах ухода от конфронтации, определенной корректировки экономического курса, восстановления разрушенных связей на постсоветском пространстве на определенных цивилизованных нереставрационных условиях. Сейчас требуются активные гражданские качества, чтобы привести общество к согласию.

У каждого человека есть политические взгляды. Может быть, честнее было бы сказать: "Да, судьи могут выдвигаться и от партий." Важно не то, откуда судья пришел, важно, чтобы он стоял на защите конституционного строя. Меня обвиняют в том, что во время октябрьских событий я действовал по политическим мотивам. Хорошо, а те судьи, что стали на сторону президента, не были политизированы? Даже в большей степени, чем все остальные! Измените Конституцию, тогда мы будем ее защищать. Но мы выполнили свой долг, защищая действующую Конституцию.

Я полагаю, что кандидаты в судьи должны проходить через детектор лжи. Но не на предмет проверки их политических взглядов (хотя судья, конечно, не может быть экстремистом или фашистом), а в связи с его способностью выполнять присягу Конституции.

И может быть, есть смысл признать, что в Суде должен поддерживаться определенный баланс сил. По своему составу он не может быть в "кармане" у той или другой власти. В некоторых странах, собственно, и действует такой порядок: треть суда формирует исполнительная власть, треть — парламент, треть — сама судебная власть. Возможны и иные комбинации.

А сейчас президент получил возможность поставить своих людей. А если придет следующий президент и эти судьи ему не понравятся? Что будет с Судом? Это порочный круг, из которого нужно выходить.

— **Сейчас президентом ФРГ избран председатель Конституционного Суда...**

— Да, господин Роман Херцог, с которым я имею честь быть знакомым. Я рад, что он имеет силы и возможности принести пользу своей стране.

— **У нас такая ситуация возможна?**

— Это чисто абстрактный вопрос, и я им не задавался. Сейчас многие говорят, что я претендую на какие-то высокие посты в государстве. Это абсолютно абстрактный

разговор, потому что общество должно востребовать человека, а не человек навязываться обществу. Мне предложили однажды баллотироваться в судьи — я ведь специально не искал такой возможности. Я был доволен своей судьбой, будучи профессором конституционного права и возглавляя группу экспертов в Конституционной комиссии.

— **Ваши нынешние политические взгляды сформировались давно или это результат определенной эволюции, связанной с политическими событиями?**

— Черчилль как-то сказал примерно такую фразу: плох тот консерватор, который не был в молодости социалистом. Я никогда не был хамелеоном, но, конечно же, мои взгляды менялись — я ведь занимался изучением правовой и политической теории и практики. У меня есть достаточно устойчивые политические взгляды. Это умеренный патриотизм в соединении с государственностью, законностью и правом. Я антифашист и антinationалист. Я сторонник сильной государственной власти в рамках закона. В сущности, это комбинация разных односторонних политических течений. Святое и незыблемое для меня — это защита прав человека. Я за реформы, но такие, которые основаны на принципе справедливости и эквивалентности.

Нынешние власти извратили и опошлили идеи либерализма и демократии. Я не согласен с теми, кто утверждает, что у нас сложилась нормальная частная собственность и рынок. Настоящая частная собственность должна обеспечиваться действием принципов эквивалента и юридического равенства. Ни того, ни другого пока в России нет.

— **Кому из политических лидеров принадлежат ваши личные симпатии?**

— Нам долго говорили о том, что альтернативы нынешним лидерам нет. Но при этих "безальтернативщиках"

400 млрд. долларов уткло за границу! А ведь Россия могла бы быть процветающей страной.

Я уверен, что время личностей-лидеров прошло. Пришло время команды, способной провести настоящие реформы и скорректировать курс.

— **Вы чувствуете себя в безопасности?**

— Конституционные времена еще не вернулись и нет таких реальных гарантий, чтобы человек чувствовал себя в безопасности. Я не имею в виду только себя, я имею в виду любого гражданина страны.

*Интервью вел  
Андрей Колесников*



# СБЕРБАНК

МОСКВА

**Обслуживание на льготных условиях  
и индивидуальный подход к каждому клиенту.**

**Именно здесь:**

| отделы обслуживания юридических лиц в отделениях: |                           |           |
|---|---------------------------|-----------|
| Вернадском  | ул. Озерная, 31/1         | 437-46-00 |
| Киевском  | ул. Бринская, 8           | 240-51-23 |
| Муромо-репинском                                  | Дмитровское ш., 46/2      | 482-94-39 |
| Смоленском  | ул. Космодромная, 11      | 264-09-58 |
| Стромынском                                       | буль. Рокоссовского, 18   | 160-06-03 |
| Хамовническом                                     | ул. Остоженка, 30         | 203-13-55 |
| Хорошевском                                       | д/б. Новикова-Прибоя, 5/2 | 947-47-93 |
| Царынинском                                       | ул. Лутальская, 5         | 321-56-09 |
| Юго-Западном                                      | ул. Павла Бабушкина, 14   | 129-12-52 |

... и в отделах еще 30 отделений Московского Сбербанка.

Московский банк: ул. Б. Андроньевская, 18/6. Телефон: 298-32-91.

*ИЗ ПРОШЛОГО  
И НАСТОЯЩЕГО*



*Александр ЖУРБИН*

## РИСУНОК И МУЗЫКА ЖИЗНИ

### О моем дуализме

Странно сложилась моя судьба — вот уже три с половиной года, как я живу в Америке, почти в самом центре Нью-Йорка, в двух шагах от Бродвея. В прошлом довольно известный российский композитор, я переселился в совершенно иной мир, фантастически интересный, сложный, по-своему жестокий и недавно совсем еще незнакомый мне. Иногда мне кажется, что есть в моем жизненном пути некая предначертанность, наперед заданный рисунок жизни.

Не могу жаловаться на судьбу, которая сводила меня с воистину исключительными людьми, таким как Дмитрий Дмитриевич Шостакович или Альфред Шнитке, или Леонард Бернстайн. Но я погрешил бы против истины, если бы сказал, что только такие люди и составляли мой мир. Большую часть жизни я прожил среди серой и скучной

советской действительности. Конечно, молодость и жизнь брали свое. Но только оказавшись в другом мире, я понял всю неинтересность моей прошлой жизни. Не потому, что я не любил или не люблю Россию. Просто действительность надо видеть такой, какая она есть, и оценивать ее честными, достойными мерками. Все это, между прочим, к вопросу о Родине. Где она у такого человека, как я? В России? На Западе? Или во имя своих, эгоистичных целей я решил сменить одну Родину на другую?

В той прошлой жизни у меня было все, к чему может стремиться человек. Была известность среди миллионов людей. Я принадлежал к элите общества, да и материально мог ни в чем себе не отказывать. Нельзя сказать также, что я подвергался политическим преследованиям, хотя внутренне мне всегда был чужд советский режим. Тогда почему я все-таки покинул этот привычный, родной мне мир и катапультировался на другую планету? Ниже я еще вернусь к этому вопросу, а пока о своей молодости, о том, что конкретно представляла собой моя жизнь там.

Итак, я родился в Ташкенте, вскоре после войны, в самой что ни на есть обыкновенной семье. Отец работал инженером на авиационном заводе. К музыке, да и, вообще, к искусству никто в нашей семье не имел отношения. Мама, правда, была очень музыкальна, но профессионально и ее с этим миром ничто не связывало. Словом, у меня нет никаких "генетических" объяснений, отчего с самого раннего детства во мне возникла сильная, неодолимая тяга к музыке. Кстати, крупным музыкантом стал и мой брат, ныне являющийся концертмейстером израильского симфонического оркестра под управлением Зубина Мета.

Так вот, восьми лет меня отдали в музыкальную школу, начал я играть на виолончели и вскоре стал сочинять музыку, наверное, даже не очень осознанно — помню, было мне в то время лет двенадцать. А уже в 16 лет я написал свою первую симфонию, и, что самое поразительное — ее сыграли, исполнил ее симфонический оркестр ташкентской филармонии. Я, конечно, был очень

горд этим обстоятельством. У меня до сих пор хранится где-то афиша этого моего первого концерта. Скоро, однако, пришло ощущение, что рамки Ташкента для меня малы и я переехал в Москву. Поступил там в институт Гнесиных, занимался в классе профессора Николая Ивановича Пейко, потом перебрался в Ленинград, пошел в аспирантуру, учился у профессора Слонимского и недолгое время у Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — это были последние месяцы его жизни. Вот так, собственно, и стал я композитором. Постепенно пришла известность, прежде всего, конечно, благодаря сочиняемой мной легкой музыке, рок-музыке. Хотя на самом деле я всю жизнь пишу, писал и продолжаю писать серьезную музыку — симфоническую, камерную, квартеты, сонаты. Итак, с ранних лет во мне стал проявляться этот дуализм. Образование-то я получал как классический музыкант, предназначен был для классической музыки. Но в то же время меня тянуло к джазу, к популярному репертуару, к песням, к музыкальному театру. Мне было мало классической музыки: она хоть и замечательна, но охватывает слишком узкий круг людей, а я всей душой рвался к большой, широкой аудитории. Решение пришло само собой — правильный путь должен основываться на органическом, внутреннем синтезе серьезности, которую несла с собой классика, с легкостью развлекательной музыки. (Много позже этот блистательный синтез я наблюдал у Леонарда Бернстайна.) Именно по этому пути (в котором как раз и проявился мой дуализм) я пошел в опере "Орфей и Эвридика". На нем же был основан мой музыкальный цикл на стихи двух поэтов — Хлебникова и Цветаевой, который мог вполне быть отнесен к рок-музыке, и в то время эта музыка была вполне серьезной.

Позже, когда я переехал в Соединенные Штаты, я понял, что в этой стране существует куда большая потребность в моей серьезной музыке. Популярные вещи, которые я писал в России и которые там были страшно известны, здесь мало котировались. По-видимому, моя

легкая музыка имела слишком глубокие российские корни, и в этом было все дело.

В Америке я написал сонату для виолончели и фортепьяно, камерную симфонию, цикл поэм на английские стихи Бродского. Мои симфонические вещи исполняли оркестры города Сантафэ в Нью-Мексико и города Далласа в Техасе, виолончельную сонату играли известные американские виолончелисты Джозеф Фейгельсон и Андрас Шиф. Сан-Францисский американский хор скоро будет исполнять мои хоровые поэмы.

Однако мой самый большой успех относится ко времени, когда я только приехал, и мной был поставлен мюзикл "Как это делалось в Одессе" (How it was done in Odessa).

Этот мюзикл показывался в Филадельфии одним из самых знаменитых американских театров — "Волнут стрит титр". Постановка имела огромный успех и обошлась продюсеру в полтора миллиона долларов. Кругом говорили, что ее следует перенести на Бродвей, в Нью-Йорк, но это оказалось не так просто. Постановка на Бродвее потребовала бы уже не полтора миллиона, а семь-восемь миллионов долларов — возможно, в этом причина того, что до сих пор так и не нашелся человек, который бы инвестировал эти деньги.

## Шостакович и Шнитке

Поселившись в Америке, я часто сравниваю теперешнюю свою жизнь с жизнью в России. Причем стараюсь это делать совершенно объективно, не приукрашивая той жизни, но и не умаляя сделанного в прошлом. Я уже отмечал, что в России у меня было довольно большое имя. Мои произведения исполнял оркестр Ленинградской филармонии, в Москве их играл оркестр Большого театра. Вокальные вещи исполнялись таким певцом, как Сергей Лейферкус, ныне он солист Метрополитен-Опера, суперзвезда оперной сцены. Но — что необыкновенно важно — именно в Отечестве сформировалась моя музыкальная

культура. И в этом смысле Россию, при всей ее тотальной несвободе тех лет, нельзя было назвать провинцией — чего стоят имена Прокофьева, Шостаковича, наконец, Альфреда Шнитке, без могучего влияния которого вообще невозможно представить современной музыки.

Шостаковича и Шнитке я и считаю своими главными учителями. Как известно, Шостакович умер в 1975 году, последние три-четыре года он уже не преподавал, так как был тяжело болен. Общались мы с ним в его летней резиденции, в Репино, под Ленинградом. Я показывал ему написанные сочинения, он вносил поправки. Формально Шостакович не был моим учителем, а скорее ментором, наставником в самом высоком смысле этого слова.

Вообще, в моей жизни тема Шостаковича и Шнитке — это особая тема. И о том, и о другом написаны горы литературы. Но всякий раз, когда я называю их имена, у меня появляется ощущение, что что-то главное о них так и не сказано. Возможно, это чувство от того, что я их обоих знал лично. Шостаковича последний раз видел месяца за два-три до его смерти, а с Шнитке встретился, вообще, недавно, уже здесь, в Нью-Йорке. И никогда меня не покидало ощущение величия обоих — их мощного воздействия на современную музыку.

Шостакович поразительным образом отразил свое время. Языком музыки он написал его выразительнейший портрет, где-то страшный и драматический, где-то гротескный, иногда очень ироничный. Да, он был жертвой сталинской эпохи, но одновременно и ее зеркалом, эпохи, которая постепенно уничтожала его как личность. В жизни он всех и всего боялся. Это сказывалось во всем, в его каждодневном поведении, даже в манерах. Чаще всего я видел его в Репино, в Доме творчества, где, естественно, был свой распорядок жизни. Ну и, конечно, в определенное время был завтрак, обед и ужин. Завтрак в девять, обед в два и ужин в семь. Но из всех только Шостакович приходил ровно в девять на завтрак и уже в девять десять его кончал. Другие приходили в десять, в одиннадцать,



кто там думал об этом. Шостакович не опаздывал ни на минуту. Какая-то старинная болезненная пунктуальность во всем. В нем присутствовал такой старый интеллигент, что ощущалось даже в стиле его обращений к людям: "Прошу вас, будьте любезны, не считите за труд..." Он был таким человеком в фуляре, боявшимся сделать любой неверный шаг. И эта упомянутая выше боязнь приобретала какие-то фантастические, кафкианские формы. Он боялся Сталина, боялся ЦК, боялся партии, боялся инструктора ЦК Апостолова, курировавшего музыку, боялся плохой погоды. И всегда кутался, боялся смерти. У него вечно болели ноги, из-за чего он еле передвигался, и все это, конечно, оставляло тягостное впечатление: было больно смотреть на его скрюченную, трусоватую фигуру, когда он появлялся на людях. И только музыка была для него отдушиной, была мощной формой его протеста, бунт гения и художника, бросавшего вызов своим учителям.

Нет необходимости в сотый и тысячный раз обращаться к портрету сталинской эпохи, которая кровавым шрамом проходит через новейшую российскую историю. Парадокс, однако, в том, что если бы этой эпохи не было, то наверно, не было бы Шостаковича. Как не было бы, думаю, Мандельштама, Булгакова, Пастернака... Нашему сознанию трудно принять эту малоприятную формулу, эту дьявольскую зависимость между эпохой рабства и рождением гения. Но если мы хотим видеть вещи такими, как они есть, мы не можем этого не замечать. Я вообще верю, что в жизни гения существует некая предначертанность, она есть в жизни каждого человека. Но у личности гениальной это видно особенно хорошо. То, что Моцарт умирает в 36 лет, что Пушкина убивают на дуэли, что Шостакович всю жизнь ходит скрюченный под тяжестью режима — все эти вещи не являются случайными, они как бы у гения на роду "записаны" в его "генетическом коде", чтобы затем проявиться и выстрелить в жизни. Если, например, чисто условно допустить, что Шостакович рождается в Калифорнии, живет в шикарном доме, у него

сразу пять миллионов долларов, — можно ли представить, что в этих условиях он бы оказался способен создать такие гениальные творения?

И, между прочим, так же отразил свою эпоху Альфред Шнитке, но уже другую, брежневскую эпоху. Правда, Шнитке сопутствовало еще и везение, которого не было у Шостаковича.

В первую половину своей жизни Шнитке также находился под жутким прессом советского режима. Но если бы этого не было, если бы он родился, скажем, в Европе, и там писал свою музыку, никто, возможно, его бы и не заметил. Именно потому, что на него давили, его запрещали, мучили обвинениями что его музыка вредна, что это формализм — благодаря всему этому он и был замечен на Западе. В этом, по-видимому, и заключалось его везение.

Я прекрасно помню время, когда он был еще одним из многих, писал музыку для кино, когда хорошую, когда всякую, поскольку ему, как и другим, нужно было выживать. Хотя подпольно в нем, в его душе, уже видно тогда существовал другой Шнитке, которого впоследствии узнал весь мир. А в те времена он ходил на заседания Союза композиторов, на всякие дурацкие собрания, старался держать себя тихо, словом, с точки зрения верхов вел вполне благопристойный образ жизни. Правда, помню один уникальный случай, где он вдруг предстал перед окружающими в другом свете, хоть и не в музыке, а в жизни, но это был другой Шнитке. В музыке победа к нему пришла гораздо позже. А на этот раз в Колонном зале Союзов собрался в полном составе Союз композиторов (не помню, какой точно был год). В зале сидели тысячи людей. Выбирали руководителей Союза. И вот началось, как это бывало в те годы, голосование. Вопрос председательствующего: кто за то, чтобы избрать Тихона Николаевича Хренникова первым секретарем Союза композиторов. Все подняли руки. "Кто против? Кто воздержался?" — для порядка произнес председательствующий и приготовился сказать — "принято единогласно", и вдруг

все увидели, как одна рука одиноко тянется вверх. Ко всеобщему удивлению, один оказался против. Это был Шнитке. Все это, кажется, не имело никакого значения: подумаете, один против! Но в тех условиях, когда подобные вещи протекали под недремлющим оком партии и КГБ — даже такой "пустяк" требовал мужества.

Выше мы говорили, что сделало Шостаковича Шостаковичем. И столь же интересно понять, чем замечателен Шнитке — как человек и еще более, как композитор. Начнем с того, что почти все, сочиняемое им, представляет собой симбиоз, некий необычный синтез совершенно разных стилей. Все в нем было необычно, даже его происхождение. По национальности он наполовину немец, а наполовину еврей. И по культуре то же самое: одной ногой стоял в Европе — Бах, Бетховен, Мессье, другой — в советской культуре, прошел советскую школу, марксизм-ленинизм. С одной стороны — немецкий академизм, философичность ума, а с другой — еврейская ирония, выросшая на тех же упомянутых российско-советских корнях. Я думаю, что все это, смешавшись, переплетаясь, и вызвало к жизни характер этого человека, этого музыкального гения 20 века.

Шнитке сегодня самый исполняемый композитор в мире, он в этом смысле просто номер один. Количество компакт-дисков, которые записал Шнитке, больше, чем у кого-нибудь на нашей планете. Это также свидетельство колоссального его успеха, даже с чисто коммерческой точки зрения. Но в чем же состоит этот придуманный Шнитке синтез? Он создал классическую музыку, замечательно глубокую, которая звучит как чисто академическая музыка, но неожиданно в ней появляются некие причудливые виньетки и вкрапления, этакие музыкальные штучки. В серьезной симфонии вдруг звучит танго, или, скажем, в последней седьмой симфонии, которую играл Курт Мазур, в конце вдруг зазвучал вальс.

В этом как бы и состоит стиль Шнитке, его ком-

позиторский почерк. При всей своей академичности он время от времени выходит на бытовую, простую музыку, понятную не только ценителям, но и человеку с улицы. И когда тот натывается на эти знакомые идиомы, когда в концертном зале среди серьезной музыки начинают звучать танго, вальсы, марши — это нравится самым простым людям, это им близко, это им понятно.

Как уже сказано, Шнитке по-своему отразил эпоху, сегодняшнюю эпоху, создав музыку очень полифоничную. В ней есть разные уровни, для разных частей аудитории, и каждая воспринимает ее по-своему. Музыкальная элита берет из нее свой экстракт, но и неподготовленная часть слушателей, которые пришли развлечься, тоже получают что-то очень им понятное и близкое.

Шнитке — тончайший и ироничный человек, хотя, конечно, после болезни и перенесенных им двух инсультов он сильно изменился. Но даже и в этом состоянии он оставляет впечатление личности необыкновенной. Известно, что Шнитке принял немецкое гражданство и все последние годы живет в Гамбурге, хотя и бывает иногда в России. Месяца два назад мы с ним встретились на его премьере в Нью-Йорке, свидание было очень коротким, едва успели перекинуться несколькими словами, но я все же успел увидеть, как на его лице — теперь уже очень большого человека — на мгновение появилась все та же всепонимающая улыбка, сквозь которую можно было заметить его пронзительный, иронический взгляд.

"Послушай, Альфред, — сказал я, — ты же теперь суперзвезда, великий музыкант, тебя исполняют весь мир". "Ах, все это чистая ерунда, суета сует, — ответил он, — залы, публика, аплодисменты, гонорары — главное, что мы продолжаем жить". И он рассказал, что его больше ничто в жизни не интересует — ни развлечения, ни книги, ни кино, ни чужой успех, главное и единственное, чем он живет — он пишет музыку... Отсюда, верно, и эти его слова: "главное, что мы живем".

### Кабалевский, Хачатурян, Хренников

Вклад Прокофьева, Шостаковича и Шнитке во многом определил развитие мировой музыки. Поистине равных им в России нет, но если мы говорим в целом о русской музыке, о музыкальной жизни страны, путях ее развития, то, вероятно, следует назвать и другие имена, пусть менее значительные, но все-таки влияющие на культуру страны. Для того, чтобы рождались гении, должен быть определенный музыкальный климат, в котором существуют и просто талантливые композиторы, и середняки и, если хотите, даже посредственности — все они формируют ту необходимую среду, в которой происходит жизнь музыки и рождаются подлинные гиганты.

Потому мне бы и хотелось коснуться еще трех известных в России фигур — Кабалевского, Хачатуряна и Хренникова. Я снова буду говорить о них не только как о музыкантах, но и об их жизни, характере, чисто человеческих качествах. Итак, насколько каждый из них талантлив? Вопрос простой и непростой одновременно. Нужно сказать, что восприятие миром музыкальных сочинений выглядит далеко не однозначно. Тут, как нигде, много личного, субъективного и невозможны никакие стереотипы и крайние оценки. Вот и Кабалевский, которого вряд ли кто-то отнесет к композиторам мирового класса, хотя в Европе время от времени его исполняют. У меня есть знакомый, американец-коллекционер, который однажды мне говорит: "Ты знаешь, одна из моих любимых русских опер — это "Семья Тараса" Дмитрия Кабалевского". Я был поражен: как это возможно, ведь это же не опера, а бред собачий, про какую-то украинскую семью, которая пошла воевать, какие-то немецко-фашистские захватчики, что здесь может нравиться? На что он мне отвечает: "Ты знаешь, я по-русски не понимаю, но я люблю музыку Кабалевского и именно об этой опере я думаю, что это шедевр!"

С Дмитрием Борисовичем Кабалевским, или как в музыкальных кругах его называли, Д.Б., жизнь меня столк-

нула лично. Чтобы понять, как это произошло, замечу, что мой успех берет свое начало с оперы "Орфей и Эвридика". Это был 1975 год, происходило все в Ленинграде, где я тогда жил. После чего оперу привезли в Москву, чтобы сыграть для московской публики. И вот на один из спектаклей приходит весь бомонд, вся композиторская элита и в том числе Кабалевский, который в те годы был уже пожилым и очень влиятельным человеком. Опера кончается и, как сейчас помню, над рядами зрителей поднимается мощная фигура. Сразу узнаю Кабалевского, который размашисто и даже эдак картинно на весь зал хлопает. Затем находит за кулисами меня (отдаленно мы были знакомы) и говорит: "Молодой человек, это же замечательно, я рад, что у нас появилось такое произведение!" А я тем более рад, потому что его слово — это поддержка, столь важная для меня в те годы. Я горд, всем рассказываю, как прекрасно все складывается, меня поддержал сам Кабалевский. Далее начинаются вещи странные: ни о каких официальных решениях мне неизвестно, но я чувствую, что к "Орфею и Эвридике" наступает охлаждение (опера исполнялась рок-ансамблем "Поющие гитары", который к тому времени превратился в рок-театр), так вот, меня стараются меньше пускать на радио, не дают записываться на пластинку, газеты замалчивают. И тут мне рассказывают следующее. Оказывается, после московского просмотра собирается закрытое заседание так называемого идеологического актива — была в те дни такая тайная форма работы, когда с участием ЦК заседали руководители творческих Союзов и заслушивались какие-то специальные закрытые доклады. И вот на очередном таком активе выступает Кабалевский и говорит, что в последнее время у нас исполняется опера композитора Журбина "Орфей и Эвридика", способствующая разложению советской молодежи, проникновению в ее ряды чуждых нам капиталистических взглядов... Все это, естественно, слышат работники ЦК, присутствующие редактора газет, что, конечно, наносит сильный удар по моей репутации и карьере. И, как проис-

ходило в подобных случаях, все мое положение неожиданно покачнулось. Мои произведения стали отовсюду изгонять, имя стало опальным, хотя опера шла, зрители на нее буквально валили, и она была сыграна рекордное количество раз — более двух с половиной тысяч.

Позже мне рассказывали, что этим и отличался почерк Кабалевского, который никогда не говорил прямо. В глаза обычно высказывал самые приятные вещи, а потом начинал действовать из-за спины, вонзая вам в спину нож.

Любопытно, что было дальше: прошло несколько лет, у меня родился сын в 78 году, и мы поселились на даче у нашего родственника, в Красной Пахре. По соседству находилась дача Кабалевского. А он ведь не знал, что я знаю, что он говорил обо мне на этом идеологическом совещании. Поэтому продолжал играть со мной свою первую роль, когда приветствовал появление "Орфея и Эвридики". Он мило со мной здоровался, улыбался, когда я гулял с коляской, подходил и начинал заигрывать с сыном. Он же был у нас детским композитором, известным другом детей, что ему ничуть не мешало вечно лицемерить. Вообще-то, он был человек небесталанный, но погубленный, отравленный идеологией, которой он верой и правдой служил всю жизнь. Поскольку он считался воспитателем юношества, то вечно проводил мысль, что музыка должна быть светлой, безмятежной, красивой — его так и называли — "автором светлой пионерской музыки". На самом деле перед нами классический пример того, как дорого расплачивается творческая личность, когда решает продать себя идеологии.

Теперь Хачатурян — фигура необыкновенно яркая и любопытная. О нем известно, что он начал заниматься музыкой очень поздно, чуть ли не в 20 лет, случай совершенно уникальный. Тем не менее он был очень талантлив от природы, такой восточный, армянский сочный человек. Именно таким представал он моему взгляду, когда я ходил к нему на занятия по оркестровке. Вообще, он был известен как большой оригинал, вокруг его имени и жизни ходило множество всяких легенд, веселых исто-

рий, анекдотов и сплетен. Вот хотя бы, как он вел занятия. Проходили они в институте Гнесиных, скажем, по четвергам и должны были начинаться в три часа дня. Студенты и собирались в три дня и начинали ждать его. А Хачатурян приходил примерно в полседьмого вечера, причем все это считалось нормальным. Он появлялся обычно в сопровождении каких-то странных людей, приехавших из Еревана или откуда-то из Америки или Аргентины. Появившись, говорил: "Ну вот, пожалуйста, это мои ученики!" И тут же старался все закруглить: "Ну чего там у тебя, давай быстренько, следующий, кто следующий?"

Он был ярок во всем, но как композитор за всю свою жизнь создал всего три произведения: балет "Гаяне", откуда как раз его знаменитый "Танец с саблями", балет "Спартак", который действительно замечателен, и Концерт для скрипки с оркестром, все остальное ничего особенного не представляло.

Не могу не припомнить одну-две из ходивших о нем смешных баек, без которых сам образ Хачатуряна получается каким-то пресным и неполным, не похожим на живого Хачатуряна.

Между прочим, он был человеком очень богатым, особенно по тогдашним, советским меркам, но не меньше был он известен своей феноменальной скупостью. Например, из уст его окружения была известна о нем такая история. Жил он на Неждановой, в Доме композиторов, обитали здесь многие композиторы, в том числе и Шостакович. Так вот, в один прекрасный день у Хачатуряна в квартире портится кран. Он вызывает водопроводчика, тот ему этот кран чинит, все стоит что-то рубля четыре-пять, и Хачатурян говорит: "Послушай, Вася (или Петя), я, конечно, могу тебе дать пять рублей, что для меня эти пять рублей, но я готов сделать тебе воистину королевский подарок. Понимаешь, я только что закончил сонату для фортепьяно, только вчера закончил! И ты сейчас станешь ее первым слушателем, понимаешь, первым слушателем! Ты потом будешь об этом писать, рассказывать всю жизнь... И затем на глазах изумленного Васи он ее

минут сорок играет. Вася сходит с ума, можно представить, как ему нужно это бессмертное творение. В конце он говорит "большое спасибо", и, с невероятным трудом дослушав сонату и не получив за работу ни копейки, исчезает. А вот еще одна история, но уже совсем другого толка. Дело в том, что Хачатурян терпеть не мог, когда ему напоминали о "Танце с саблями", когда, например, представляя его, говорили: "Де, познакомьтесь, это композитор Хачатурян, который написал "Танец с саблями". Он возмущался: "У меня масса другой замечательной музыки, а это же просто — ерунда!" И вот однажды он приехал в Париж (он сам это рассказывал, подсмеиваясь над самим собой), к нему приходит репортер из какой-то очень влиятельной газеты, чуть ли не из "Фигаро", и говорит, что, пользуясь приездом композитора, он хочет взять у него интервью. Хачатурян соглашается, но ставит условие: "Обещайте мне, поклянитесь, что в тексте вашем не будет ни единого упоминания про танец с саблями. Я вам расскажу все, что угодно, но никаких танцев с саблями". Репортер ответил: "Хорошо, даю вам слово, что в тексте об этом не будет ни слова." Хачатурян дает интервью, на следующий день выходит свежий номер газеты: действительно, в статье ни единого слова о танце с саблями, но над текстом аршинными буквами заголовок: "Добро пожаловать, Мистер "Танец с саблями!"

И, наконец, еще одна фигура — Тихон Николаевич Хренников. Фигура никак не однозначная, хотя и был он приближен к верхам и считался одним из самых официальных композиторов. Начнем с того, что это был музыкально одаренный человек, он писал песни, которые мы все знали и пели, например, "Московские окна" — одна из лучших песен о Москве, или "О любви немало песен сложено"; он блестяще играл на аккордеоне, сидел за рояль и играл так же здорово, он пел, был душой компании — все это и говорило о том, что был он талантлив от природы. На посту секретаря Союза композиторов Хренников находился фантастически долго, более сорока лет, так что мог бы попасть в книгу рекордов

Гиннеса — никто в мире не занимал одно место более сорока лет. Но на этом своем высоком месте он делал много добра. Что же именно? Конечно, он не приставлял ради других свою грудь к амбразуре, но мы знаем, какое жуткое общество являла собой наша бывшая родина, где на каждом шагу человеку нужно было чего-то выискивать, чего-то достигать, куда-то пробиваться сквозь кордоны бюрократии и как важна была в условиях этой вечной неустроенности любая поддержка сверху. Ну, скажем, те же рекомендательные или просительные письма за подписью известного человека (впрочем, я думаю, что это важно в любой стране, в том числе и здесь, в Америке).

Так вот, Хренников, кто бы к нему не обращался, никогда в этих письмах не отказывал, а ведь такое письмо при определенных обстоятельствах могло стать решающим в жизни человека. "Тихон Николаевич, — приходили к нему, — вот нужно жену в больницу положить, или никак не могу получить квартиру, или еще бог знает что" — он тут же звонил секретарше, старался все сделать, да еще расспрашивал, как проситель живет, как семья, устроена ли — вот это человеческое отношение к людям сопровождало все годы его деятельности на высоком посту. Как музыкант и композитор он был абсолютно традиционен, и это не потому, что он хотел выслужиться, а просто так получалось, что его музыка была ближе к Римскому-Корсакову или раннему Шостаковичу, чем к Шнитке или Денисову. Конечно, наверняка он кого-то и давил, кого-то не пускал, не давал премий (об одном случае я расскажу ниже), но в жизни никогда не выглядел мерзавцем или бюрократом.

Я его хорошо знал, часто бывал у него дома — это был милый, домашний старичок, к тому времени он уже был достаточно пожилым, да и встречи наши продолжались недолго, года два-три (его жена почему-то любила меня и мою жену). Вообще это была очень хлебосольная семья, они любили приглашать гостей, вкусно угощали, беседа была на всякие полусветские темы, Тихон Николаевич обожал сплетни и всегда их очень охотно

слушал — "А вот про этого композитора, а про того, а что его жена сейчас делает". У него никогда не выключался телефон, ему могли звонить в двенадцать ночи или в восемь утра, он сам брал трубку, никаких не было секретарш.

Но однажды я стал свидетелем истории, из которой понял, что в этом милом, хлебосольном старичке есть и жесткость, и сталь.

Когда я был однажды в его доме, раздался звонок, дело происходило в присутствии нескольких человек, и по отрывочным фразам я понял, что он беседует с Евгением Светлановым. Он говорил: "Да, Женя, да... Это у них никогда не пройдет!" А происходило это в те дни, когда случилась нашумевшая история с Любимовым, когда он ставил "Пиковую даму" в Париже. Шнитке делал свою редакцию, и у всех это было на устах.

Я понял, что разговор идет именно об этом. "Ну, нет, Женя, — продолжал Хренников, — ты не должен волноваться, Чайковского мы в обиду не дадим! Кто надо, тот получит по рукам! Мы готовим это дело так, что им будет неповадно..." Стоял 78-й год, разгар брежневского времени. Никакого продолжения разговора в тот вечер не было, говорили о чем-то другом. Но через два дня в газете "Правда" появляется печально знаменитая статья "В защиту "Пиковой дамы", написанная Альгисом Жюрайтисом. В статье говорилось, что "этот композиторишка Шнитке" и этот "режиссеришко Любимов" пытаются исказить нашего великого Чайковского и Пушкина...

Вскоре после этого постановка закрывается, и уже больше никогда не возобновлялась. Конечно, все это было делом рук Хренникова, так что по внутренней своей природе он, наверное, был тиран или сатрап, хотя в жизни это нисколько не чувствовалось — такие это уж были времена, когда процветали такого рода двойственные натуры, каким был милейший Тихон Николаевич Хренников.

И, наконец, о композиторах-песенниках, которых в России была целая плеяда. Все, конечно, знают эти имена:

Фрадкин, Фельцман, Островский, Покрасс, Калмановский. Они, действительно, создали целый мир советских песен, которые распевало несколько поколений, с этими песнями жили многие миллионы людей. Но на Западе они и до сих пор почти неизвестны, за исключением нескольких: "Подмосковные вечера", "Катюша", "Калинка-малинка", "Дорогой длиною" — на этом все и кончается.

Недавно в "Нью-Йорк Таймс" была статья одного известного музыкального критика, который обозревал советскую песню, он сказал, что все это "хоплесс", безнадежно. Появиться в ближайшие 20 лет на мировом рынке у советской песни нет никаких шансов. Это и понятно, у песни этой на самом деле нет ничего общего с западными традициями: с одной стороны, она вся такая минорная, а с другой — разухабисто-цыганская, с таким ресторанным надрывом, который, например, абсолютно не приемлет американский рынок. Советская песня, как это ни странно, ближе к испанской, к итальянской песне, которые в России любят куда больше, чем ту же американскую песню и музыку.

Что касается композиторов-песенников, то это были люди очень разные — и по таланту, и по взглядам, и по характерам. Замечательной личностью являлся, например, Ян Абрамович Френкель, это был большой обаятельный человек, с большими красивыми усами. Где бы он ни появлялся, от него всегда веяло благородством. А Марк Григорьевич Фрадкин был уже другим человеком, любившим плести интриги, обожал играть в разные игры с правительством, был вхож в высокие сферы, кому-то помогал, а кому-то мешал. К тому же был известный сердеед и Дон Жуан, отличался при этом повышенной скупостью, что вызывало вечные нарекания у его юных симпатий. Но, при всем этом ему принадлежит масса прекрасных песен, например, знаменитый "Офицерский вальс" — это ведь его, или "За того парня", "Ой, Дни-про"...

Понятно, что для песенников нынче пришли тяжелые времена. Несмотря на это, Оскар Борисович Фельцман —

и по сей день выглядит неунывающим и преуспевающим человеком. Любопытно, что в его семье вырос воистину замечательный современный музыкант — Владимир Фельцман, представляющий собой полную противоположность отцу. Но Фельцман — исключение. В целом все эти старики-песенники оказались как бы за бортом живой культуры и жизни, потому что молодежь их не знает и не поет. И часто вообще не вспоминает. Характерная в этом смысле судьба у Пахмутовой, эта талантливая женщина слишком старательно в свое время служила режиму и теперь, вероятно, об этом жалеет. Нынче она любит говорить, что все ею писалось по принуждению, но даже если это так, сколько она написала! — и про Ленина, и про Сталина, и про партию, и про комсомол, и всегда лезла в первые ученики. Как только фестиваль — сразу песня Пахмутовой, комсомольский съезд — песня Пахмутовой. Теперь она, напротив, пишет какие-то песни "анти" — "антикоммунистические", но это уже смешно и сама ее фигура выглядит жалкой. Я видел ее на одном из концертов по телевидению, когда она исполняла свои старые песни, а из зала ей подпевали. Кто подпевал? Одни только старики, а молодежи она была попросту неинтересна, молодежь ее не понимала.

Вместе с тем на эстраде появились совершенно новые имена из молодых, это люди, которые не умеют петь, не умеют играть. И это только один пример того, в каком безнадежном состоянии оказалась российская культура. Обычно в истории в такие времена — революций и переломов — происходили взлеты культуры. В России ничего подобного — какое-то безлюдье, какое-то собачье время, о котором даже больно говорить.

## **Блуждающие звезды**

Время мне снова вернуться к вопросу — почему все-таки я уехал? Я уже говорил, что никак не могу причислить себя к диссидентам или каким-то бунтовщикам, причины моего отъезда вовсе никак не политического свойства. С

ранней юности я всегда работал в одной-единственной сфере. Музыка была моя жизнь. В этой сфере, а если сказать шире, в сфере культуры и следует искать истоки поворота моей судьбы. В какой-то момент жизни, в конце 80-х годов, я стал ощущать, что мне становится тесно: некуда двигаться, не к чему стремиться, ощущалась явная нехватка кислорода. В стране стали происходить какие-то страшные тектонические перемены, с непредсказуемыми результатами, и постепенно я почувствовал, что в России мне больше просто нечего делать. При этом вдруг возникла возможность поехать в Америку, о которой я всегда мечтал. Я бы мог поехать и в другое место. Живя в России, я изъездил почти все страны Европы, видел весь мир — и вряд ли можно было говорить, что меня тянула заграница. Нет, я хотел именно в Америку — страну необыкновенных горизонтов для любого человека. И как я чувствовал, особенно для меня, всегда любившего в жизни размах, большие масштабы. Именно в это время меня пригласила очень известная в Нью-Йорке культурная организация. Самое любопытное, что когда я в Москве сообщил о своем решении — меня никто и не думал осуждать, никто не возражал. Более того, я почувствовал, что многие этому даже рады: освободилось место, занимаемое мной многие годы. Сам я свое будущее видел так: уеду на какое-то время в Нью-Йорк, поживу, а там будет видно. Но в России стало все так молниеносно валиться, перестал существовать Союз композиторов, исчезла сама музыкальная жизнь, и мои коллеги, многими из которых страна гордилась, оказались вдруг никому не нужными.

С другой стороны, я сам уже успел пустить здесь корни, в сознании произошла некая необратимая химическая реакция, сводившаяся к простой вещи: жить надо здесь, в Америке, и нигде более. Таким образом, вопрос о том, чтобы вернуться, отпал сам по себе. За эти годы я был несколько раз в России, но радости особой не получил — это была уже другая страна, с которой меня ничто не связывало. Однако с моим переездом возникла другая

проблема и очень-очень непростая. Да, мечта моя свершилась, я в Америке, но что здесь мне делать: одно дело — романтическая мечта об этой стране, другое — как построить практическую жизнь, мне, русскому композитору, человеку, навсегда связавшему себя с русской культурой. Конечно, я буду продолжать писать музыку и меня будут исполнять, но какое дело сделать главным в своей жизни? Вот так, исподволь возникала идея создать театр, и сегодня не без чувства гордости я могу отметить, что эта идея воплотилась в жизнь, пусть и не полностью, но театр существует, на его сцене идут спектакли, у него есть зрители и даже свои восторженные поклонники. Это — первый в этой стране русско-американский музыкальный театр "Блуждающие звезды". Само название символично: есть такой роман Шолом Алейхема, где некая группа актеров начинает свою жизнь на территории бывшей Российской империи, а кончает ее в Нью-Йорке, то есть как бы та же дорога и судьба, что и у нашего театрального коллектива.

Следует отметить, что в нашем театре, который появился всего год назад, собралась интересная труппа. В прошлом это были талантливые и очень известные актеры, такие как Елена Соловей, Михаил Калиновский, Борис Казинец, Наталия Науменко, Ида Куринная — это профессионалы высшего класса, которые снимались в кино, играли на лучших сценах Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы. Но, оказавшись в Америке, они вынуждены были работать кем попало: официантами, шоферами, каменщиками, перебивались случайными заработками — существовать ведь как-то надо было. Понятно, что идея театра ими была встречена восторженно. Для большинства из них возникла счастливая возможность продолжать служить своему призванию, сохранить себя как актеров и, пережив второе рождение, обрести сам смысл своего существования. Я все это прекрасно понимал, как понимал и то, что самому мне в материальном смысле это ничего не даст. Но ощущал я какой-то внутренний нравственный долг — и перед собой, и перед этими людьми.

И был уверен, что и в кругах эмиграции наша идея встретит полное понимание: ведь это означало, что вместе со своими бренными телами люди привезут в Новый Свет и родную им российскую культуру. Получат возможность жить с ней рядом, наслаждаться ею. Однако во взаимоотношениях с соотечественниками оказалось все не так просто. В психологии эмиграции обнаружились вещи — лично для меня совершенно неожиданные, хотя, как я теперь понимаю, имеющие корни в вечном конфликте между разными волнами эмиграции. Философский смысл этого конфликта выражался в довольно неэстетичной поговорке: "Каждый должен съесть свою бочку дерьма! И если ты еще не съел, тебе все равно этого не избежать". Думаю, под этим скрывается далеко не лучшее из человеческих качеств — зависть, подогреваемая в этой стране жестокой и всеобщей конкуренцией. Между тем театр получился на славу. Сегодня в труппе более 20 человек. Мы уже сделали три спектакля: "Молдаванка, Молдаванка", "Пенелопа" и "Бедная Лиза", поставленная Марком Розовским, сейчас планируем поставить "Блуждающие звезды" и одну набоковскую вещь, которая у меня готова, я пишу на нее музыку и готовлюсь к постановке. Театр уже успел выступить в совершенно разных аудиториях Бруклина, Квинса, Манхэттена, и что интересно: у нас всегда и везде полные залы. В штыки нас встретила, как ни странно, лишь та часть эмигрантов, которая здесь давно — и что особенно поразительно, нашими недругами оказались люди культуры: какие-то режиссеры, которые уже много лет живут неустроенными, одна весьма почтенная критикесса, выступающая на страницах "Нового русского слова". Все они в один голос твердят, что театр наш никому не нужен, не было такого театра и не будет, и у нас тоже ничего не выйдет. На что мы говорим: хорошо, но дайте нам попробовать, не выйдет — так не выйдет, провалимся и разойдемся. Но все дело в том, что у нас получается, а это вызывает новую бурю раздражения.

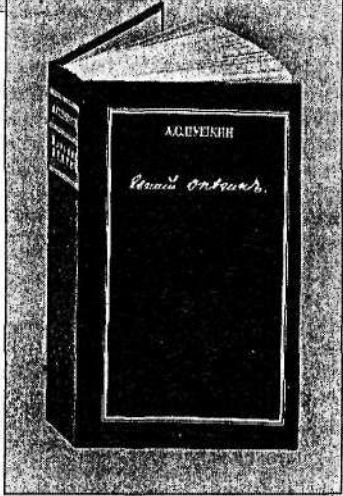
Понятно, что у нас много трудностей, практически нет



материальной базы, и живем мы, как говорят американцы, "на шнурковом бюджете", но ведь мы играем, мы платим за рекламу, платим за помещение и то, что остается, делим между собой, — это, конечно, гроши, но мы понимаем, что это самое начало. Есть в нашем существовании и другое противоречие, состоящее в том, что мы — русский театр, выступающий в иноязычной Америке. Как сказала одна американка польского происхождения, Мы — "театр гетто". Но тут возникает вопрос: если мы играем на английском, то зачем мы играем на английском, в этой стране существуют сотни таких театров, и, как бы мы ни старались, они будут лучше нас играть на английском. Кроме того, если мы играем Чехова, то зачем нам его играть по-английски, а если Шекспира, то американцы это сделают во сто крат лучше нас.

С другой стороны, культура во всем мире вообще переживает кризис. Приходят тяжелые для нее времена — век телевидения, кино и компьютеров. И мы, маленький эмигрантский театр, чувствуем это на себе больше, чем кто-либо другой. Но мы живем надеждой. А надежда — это очень многое. Оружие идеалистов в том, что им некуда отступать. Существуют в жизни ситуации, когда отчаяние становится тоже силой. Русские актеры в Америке это понимают лучше, чем кто-то другой. Мы — театр вызова, челенджа, как говорят в этой стране. Мы знаем, чего мы хотим, и я уверен, что рано или поздно придем к своей цели. Я понимаю, в этих моих словах слишком много идеализма и романтики. Другие силы и другие ценности правят этим миром, но у людей искусства всегда была своя судьба, и мне кажется, что нет у человека более счастливой участи, чем следовать этой однажды избранной судьбе.

Р Е К Л А М А



**Издательство „АТРИУМ“**  
предлагает  
вниманию коллекционеров  
и любителей книжных редкостей  
издание романа А.С.ПУШКИНА  
**„ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН“**  
Текст романа сопровождается  
серией новых иллюстраций художника А.КОСТИНА;  
впервые публикуемое  
цветное факсимильное воспроизведение  
рукописи „осьмой главы“;  
фундаментальный комментарий  
известного семиотика Ю.М.ЛОТМАНА.  
Общий объем — 752 стр.  
Тираж книги — 5000 экз.  
999 экземпляров номерные  
Контактный тел. (095) 258-1992

## ЗАПАХ И КОЛОРИТ ЭПОХИ

Художник Амшей Маркович Нюрнберг родился в 1887 году на Украине в городе Елисаветграде. Закончив в 1910 году Одесское художественное училище, он отправляется изучать живопись в Париж, где в течение года снимает квартиру вместе с Марком Шагалом. В 1913 году Нюрнберг приезжает в Россию и, находясь под влиянием французского импрессионизма, сближается с широко известной тогда группой "Бубновый валет". После революции работает под руководством Маяковского в "Окнах РОСТА", читает лекции о западной живописи во ВХУТЕМАСе, где среди его слушателей были тогда еще совсем молодые Кукрыниксы.

В конце 20-х годов Луначарский посылает А. Нюрнберга с культурной миссией в Париж пропагандировать молодое советское искусство.

По складу характера — это был очень деятельный, разносторонний человек, совмещавший в себе талант художника с талантом критика и журналиста, живо откликнувшись на многие события тогдашней жизни.

Работая в традиции станковой живописи, А. Нюрнберг был непревзойденным мастером рисунка, создателем жанровых сцен из жизни еврейских местечек.

Его статьи и эссе в "Парижском вестнике", которые он печатал под псевдонимом Курганский, представляли собой живые картинки художественного Парижа тех дней.

Всю жизнь А. Нюрнберг вел записи и дневники, которые в конце 70-х годов объединил в книгу мемуарной прозы "Рассказы старого художника", значительная часть которой так и осталась неопубликованной.

Некоторые из "Рассказов старого художника" мы и публикуем в этом номере. Среди героев А. Нюрнберга - М. Шагал, Н. Альтман, О. Мещанинов, Х. Сутин. Другие, быть может, столь же талантливые, так и остались неизвестными, погибнув от нищеты и неустроенности в эмиграции. Собранные вместе, "Рассказы старого художника" помогают почувствовать запах и колорит целой эпохи и уже поэтому представляют собой живое и ценное свидетельство времени.

*А.НЮРНБЕРГ*

## РАССКАЗЫ СТАРОГО ХУДОЖНИКА

### В "ПАРИЖСКОМ ВЕСТНИКЕ"

1911 год. "Ротонда" это не только кафе на Монпарнасе, где художники встречаются с друзьями и знакомыми и пьют кофе.

"Ротонда" — это своеобразная биржа, где художники находят маршанов, которым продают свои произведения, находят критиков, согласных о них писать. Но особенно "ротонда" замечательна тем, что там можно встретить людей из стран всего мира.

Какие интересные, порой головокружительные знакомства бывали у меня в этом кафе! В "Ротонду" приходили люди из Северной Америки, Канады, Бразилии, Аргентины, Австралии и других стран. Они приезжали в Париж, чтобы узнать о новых течениях в живописи, скульптуре. И, конечно, о новых разрекламированных прессой талан-

тах. Эти люди с удивительной настойчивостью обходили музеи, мастерские и отдыхали в "Ротонде".

В этом кафе я познакомился с редактором русской газеты "Парижский Вестник" — эмигрантом Белым. Человеком с бледным, усталым лицом и мягкими движениями.

Внимательно разглядывая меня, Белый сказал:

— Ваш друг Федер рекомендовал вас как молодого, но опытного художественного критика. Я обрадовался. Мне нужен такой сотрудник. Согласитесь ли вы работать в моей газете? Скажите, месье, ваша основная профессия?

— Художник. Художественная критика — мой отхожий промысел.

Продолжая внимательно меня разглядывать:

— Я вам сейчас сделаю пробный заказ. Хорошо напишете — будете у меня работать. И, погодя, добавил:

— Три дня тому назад открылся салон "Независимых", в котором участвуют нашумевшие художники — кубисты. Сходите в салон, посмотрите их и напишите статью. Строк двести.

Потом он быстро добавил:

— Сегодня вторник... в пятницу в десять часов утра я вас жду со статьей. Адрес редакции — ул. Риволи, 24, 5 этаж, запишите, забудете.

На другой день утром я понесся на Сен-Мишель. Купил бутылку чернил, большой блокнот, плитку сыра "бри" и для поднятия вдохновения бутылку пива.

Позавтракав, я отправился поглядеть творчество нашумевших кубистов.

"Салон независимых" — это длиннейший, дощатый, с полотняной крышей сарай. Свыше пятидесяти залов, густо увешанных картинами.

Чтобы не рассеивать зря свое внимание, я решил сразу направиться к кубистам.

Полицейский, охранявший порядок в салоне, сказал мне, что кубисты висят в конце салона.

В первый раз я обегал кубистов, стараясь получить о

них общее впечатление. Во второй раз медленно разглядывал каждое полотно. И в третий раз я уже с записной книжкой долго стоял перед каждым полотном, стараясь понять его внутреннюю сущность и технику. Особенно меня интересовала работа изобретателя кубизма — большого, талантливое художника Брака. И тут я вспомнил замечательную фразу великого философа Баруха Спинозы: "Я не огорчаюсь, не радуюсь — я стараюсь понять поступки людей".

Я мог, конечно, о кубистах юмористично написать или резко раскритиковать их, но что это дало бы читателю? Читатель хочет понять мотивы кубистов. Узнать, какими идеями они руководствовались, когда работали.

Я вынул записную книжку и записал все пришедшие в голову мысли. Записал также фамилии всех кубистов: Брак, Пикассо, Делоне, Глез, Метценже, Леже и Лефонье.

Я знал, что французы — народ эмоциональный, быстро и живо реагирующий, и потому не отходил от кубистов, стараясь подслушать, что о них думают и говорят.

Большинство зрителей, постояв несколько минут около полотен, с иронической улыбкой шло дальше вглубь салона. Слышны были ругательства, полные веселого цинизма.

Когда я почувствовал, что голова моя устала и отказывается работать, я попрощался с кубистами и вернулся в отель.

Опорожнив бутылку, я взялся за литературу. Когда брал в руку перо, я всегда вспоминал Эдмона Гонкура. Он хорошо знал творческие страдания литератора. Вот что он писал:

"Какой счастливый талант художника по сравнению с талантом писателя. У первого приятная деятельность руки и глаза, у второго — пытка мозга. Для одного работа — наслаждение. Для другого — мука".

\* \* \*

Положив на стол новенький блокнот, я задумчиво поглядел на висевшую над столом большую фотографию. Это была знаменитая греческая скульптура — "Богиня победы Ника". Моя любимая Ника:

— Дорогая богиня, — прошептал я, — помоги осилить эту тяжелую статью...

Я смело взял ручку и начал писать. Я заглядывал в записную книжку и выуживал из нее удачные мысли, записанные мною, когда я изучал кубистов. Я отогнал налетевшую усталость и внушал себе мужество. Я не сдавался. Под утро, окончив статью, я встал и подошел к открытому окну подышать ночным свежим воздухом. И отдохнуть.

Улица еще спала. Над синевшими крышами погруженных в глубокую дрему домов висело тревожное бледно-желтое облачко — отсветы парижских огней.

Подышав ночной свежестью, я вернулся к столу, собрал нервно написанные блокнотные листы и пронумеровал их. Было девять страниц! Понравится ли она редактору? Читателям?

Мне кажется, что главное схвачено. Есть тема, характеристика, композиция и неплохой язык. Но это мое мнение... Оно не решает судьбу статьи!

Разглядываю ночную улицу Сен-Жак и думаю о ее мрачной истории. Порой усталый мозг рисует мне толпы черных теней. Они приближаются к отелю и тают. "Кто они? Зачем они приближаются к отелю?" Недавно мой приятель эмигрант, директор русской Тургеневской библиотеки, знаток истории Парижа, рассказал мне, что на нашей улице были расстреляны тысячи коммунаров. Оказывается, что камни, по которым я хожу, в крови...

В пятницу в десять часов утра я уже был в редакции "Парижского Вестника". Редактор меня принял с подчеркнутой любезностью.

— Вы аккуратный месье. В газетной работе это немаловажное достоинство.

Потом он увлекся статьей. Читал он быстро. Я подумал: при таком чтении что у него остается в памяти?

— Ну, что же, — сказал он вразряжку. — Неплохо. Она пойдет. Вы у меня будете работать.

Немного спустя добавил:

— Ваш литературный псевдоним?

— А. Курганный.

— Хорошо, месье Курганный. За большие статьи будете получать семь франков, за малые — пять.

— Маловато, месье Белой.

— Да-а-а, — протянул он. — Деньги небольшие, но учтите, месье Курганный, газета существует на средства эмигрантов.

И, помолчав, добавил:

— Могу вам предложить еще одну работу — корректуру в нашей типографии. Это еще пять франков. Вас, месье, устраивает?

— Как вам сказать, месье редактор?

— Это все, что я могу для вас сделать.

Я сухо поблагодарил его, сказав, что он принадлежит к редкой категории добрых людей. Получив в кассе семь франков, я ушел. Белой догнал меня и на ходу сказал:

— Делаю вам второй заказ... Напишите статью о троюгартных художниках, об "Орде". Тоже в пятницу, к десяти часам. Договорились?

— Благодарю вас.

И разошлись.

\* \* \*

Вот что я написал о кубистах.

Отцом кубистов следует считать не Брака, а Сезанна. Брак только развил известную формальную идею Сезанна: "Тракуйте природу посредством цилиндра или шара и конуса, причем все должно быть приведено в перспективу, чтобы каждая сторона всякого предмета, всякого плана была направлена к центральной точке".

Название "кубизм" это течение получило совершенно

случайно, как случайно получил свое название импрессионизм. На том же основании открытие Брака можно было назвать "цилиндризмом" или "шаризмом".

В основном "кубизм" является реакцией против импрессионизма.

Импрессионизм — школа, существующая уже около ста лет. Школа, выросшая на открытиях ряда великих художников — Ватто, Тернера, Бонингтона, Делакруа и Моне, знаменитых спектральных открытиях французских физиков. Школа, научившая художника чувствовать и выражать современность.

Импрессионизм развил и расширил палитру, дал новое звучание слову "цвет".

Кубисты упростили палитру, оставив только землянистые охры, умбру и черную краску. Краски, нужные для характеристики формы. Сезанн не был таким кубистом. Его палитра — одна из богатейших в истории живописи. В своих выступлениях кубисты заявляют: "Импрессионисты показали поэзию цвета, мы покажем поэзию формы". Красивые слова. Я глядел на полотна Глеза, Метценжа и Лефоконье и искал в них хоть слабые следы поэзии, но их не нашел. Это только технические опыты, которыми кубисты человека, с его страстями, радостями и страданиями, никогда не передадут.

Заслугой кубистов является их постоянное стремление придать фактуре живописное значение, но и тут они себя показали бессильными. Часто, когда не хватало живописных средств, они прибегали к помощи реальных предметов и вещей, наклеивая их на холст.

\* \* \*

В воскресенье рано утром я поспешил к ближайшему газетному киоску. Продавщица в черной пелеринке и темно-коричневом чепчике старательно раскладывала на щитах свежие газеты.

— Скажите мне, пожалуйста, мадам, — обратился я к

ней, — русская газета "Парижские Вестник" у вас имеется?

— Имеется, месье.

— Сколько номеров их у вас?

— Три, месье.

— Дайте мне, пожалуйста, все три номера.

Она на меня добродушно поглядела, улыбнулась и сказала:

— Вероятно, в газете о вас пишут?

— Вы, мадам, не ошиблись.

Газеты я крепко держал в руке, точно кто-то пытался их у меня вырвать. Выйдя на бульвар Араго, я сел на скамью, развернул одну из газет и с усиленным пульсом прочел статью. Никаких редакционных поправок. Как это приятно! У меня было такое ощущение, точно счастье в моем боковом кармане. Я поглядывал на плывущие над мной утренние облака, и мне почудилось, что они окрашены в необыкновенные, прелестные тона.

Вечером в "Ротонде" меня уже нетерпеливо ждали. Увидев меня, Федер весело бросил:

— Амшей, мы тебя и вина ждем!

— Пощадите! Не разоряйте меня! Я еще небогат.

Он встал и, высоко подняв стакан красного, торжественно сказал:

— Я пью за молодого и пока еще скромного и честного критика... верю, что он не изменится!

В тот же исторический вечер, в "Ротонде", Федер познакомил меня с известным художником, старым парижанином Альтманом.

Узнав, что я автор статьи, помещенной в "Парижском Вестнике", он подсел ко мне и, внимательно вглядываясь в мое лицо, сказал:

— Хочу вас пригласить в мастерскую и показать работы. Надеюсь, что вы придете. Вот вам моя визитная карточка. Жду вас завтра в 4 часа.

\* \* \*

В среду в три часа я направился к Альтману. Встретил Федеру.

- Куда, дружок, торопишься?
- К Альтману.
- Не ходи.
- Почему?

— Пожалеешь. Он тебя утомит и замучает рассказами о себе. Вольной человек. Он может целый день говорить о творчестве Альтмана. Эгоцентризм в редкой форме. Все мы его боимся. Избегаем. Как только к нашему столу подсаживается — удираем.

Я Федеру поблагодарил за информацию.

В 4 часа я был у Альтмана. У него была большая великолепная со стеклянным потолком мастерская. На стенах висели старинные ковры и в золотых рамах его работы. Посредине мастерской стояли два больших винтовых мольберта. В углу стоял небольшой стол с двумя креслами. На столе красовались две (с пестрыми наклейками) бутылки и в дорогих блюдах закуски. Альтман взял меня дружески под руку и с преувеличенной любезностью сказал:

— Дорогой месье Курганний, посмотрим мои работы и поговорим о них.

Посадив меня перед мольбертами, он показал большую серию пейзажей и натюрмортов.

— Я своей жизнью доволен, — сказал он, дав понять, что фортуна не покидала его. — Я не знал пинков, которыми Париж щедро угощает молодых художников. Обо мне всегда писали. И хорошо писали.

И, указывая на книжный шкаф, наполненный газетами и журналами, гордо добавил:

— Все это отзывы о моем творчестве. Художники мне завидуют... Обо мне даже ходит слух, что в моей мастерской стоят шкафы, наполненные отзывами о моих работах. Меня хвалили. Безмерно. Я уже захваленный художник.

Он закурил трубку.

Я хмуро улыбнулся и подумал: неужели он меня пригласил только для того, чтобы похвастаться изобилием отзывов о своей живописи?

— Я вас пригласил, — сказал Альтман, — не для того, чтобы вы написали обо мне еще один хвалебный отзыв.

И, погодя, добавил:

— Французы, как женщины, страдают одним неизлечимым недостатком: они забывчивы. И поэтому им нужно каждый год напоминать о себе. Я — уважаемый художник. В городке под Парижем, где я живу летом, мэрия за мои долгие и честные труды одну улочку назвала Рю-Альтман. Как видите, я высоко оценен. И любим.

И, докурив трубку, стал выколачивать ее и вновь набивать янтарным табаком.

Потом продолжал:

— К вам одна просьба: написать обо мне книжку, чтобы ее читали, как интересный рассказ или роман.

Сдвинув брови, он, молча пыхтя дымком, внимательно разглядывал меня.

— Пойдемте, месье Курганний, к столу. — Вы любите устрицы и старое, выдержанное красное вино?

Он налил мне и себе вина. Потом поднял бокал и весело и торжественно сказал:

— Я пью за дружбу между художником и критиком. Без этой дружбы искусство развивалось бы очень медленно. Вы согласны со мной? — спросил он меня.

— Не совсем, — ответил я. — Вы, месье Альтман, роль и значение критика слишком преувеличиваете.

Потом, допив бокал и улыбаясь, я добавил:

— Не следует думать, что без утреннего пенья петуха солнце не взойдет.

Альтман рассмеялся.

— Вы в Париже новый художник, — продолжал он, — и меня мало знали. Кто я? Какой я школы живописец? Реалист или формалист? Какого стиля я придерживаюсь? Ничего не знали, но теперь, после знакомства с моими работами, вы, конечно, будете меня знать.

И, помолчав, четко и медленно добавил:

— Я импрессионист. Ученик Моне, Писарро, Сислея. Они мне дали знания, технику, методы. И любовь, и искренность.

Он рассказывал о своем творческом пути и ранних увлечениях, а я благодушно улыбался и изредка кивал головой.

... Я в это время вспоминал, что о нем рассказывал Федер.

... Альтман — несомненно талантливый художник, ему не хватает чувства современности. То, что он делает, принадлежит не сегодняшнему, а позавчерашнему дню.

— Пейте, меcье Курганний, — слышу я ласковый голос Альтмана.

Я решил ответить дружеским тостом:

— Пью, — сказал я, — за ваше удивительное трудолюбие, — и, подумав, добавил, — и за то, что всю жизнь вы отдали живописи.

Он был тронут моим тостом.

Так началась моя литературная жизнь — отхожий промысел.

## СКУЛЬПТОР СИНАЕВ-БЕРНШТЕЙН

1912 год. Дождавшись конца сентября, я надевал вычищенное бензином летнее пальто, широкополую серую итальянскую шляпу и отправлялся в гости к моему меценату и учителю жизни, известному скульптору Синаеву-Бернштейну.

Старый мастер жил в аристократическом районе — около Триумфальной арки. Этого требовали его богатые, тщеславные заказчики. Он имел большую комфортабельную мастерскую и ежедневно увлеченно работал. В "Ротонде" поговаривали о том, что Синаев, под влиянием возрастных изменений, потерял вкус к скульптуре. Художники в кафе "Ротонда" злословили. Синаев никогда не терял вкуса к скульптуре.

Человек он был добрый, отзывчивый, но болезненно

самолюбивый. Видно, 30 лет неустанной борьбы за свое скульптурное место в Париже тяжело отразились на его характере. Об искусстве с ним нельзя было говорить. Стоило мне коснуться какого-нибудь нового имени в скульптурном мире, Синаев вспыхивал и, перебивая меня, яростно бросал свои дышавшие ревностью и злостью слова. Он не признавал новаторов, даже такого гения, как Роден. Об его скульптурах он иронически говорил: это "мешки с камнями". Не признавал он также Бурделя и Майоля, говоря, что это эклектики. Наивные подражатели грекам. Особенно он ругал скульпторов, живших в Латинском квартале.

— Бездельники, страдающие манией величия! — цедил он. — Эти богемисты после нескольких лет жизни в вонючих отелях и кафе хотят получить орден Почетного легиона и чековую книжку. Не выйдет! В Париже, дружок, надо десятки лет работать, как першерон, и тогда, — голос его театрально падает, — у вас будет право на деньги и славу. Легок труд только дельца.

Время от времени Синаев среди своей богатой клиентуры пристраивал франков за двадцать мою картину (сценки парижских кафе, я их писал на картонках). Мечтать о большей сумме я не имел права. Покупателей своих я не знал, да и не стремился с ними знакомиться. Долго и терпеливо ждал я дня, когда метр, торжественно сидя в высоком гобеленовом кресле, под сиявшим в золотой раме орденом Почетного легиона, вручал мне двадцать франков! Какое волнующее счастье — писать картины и продавать их в Париже!

Сколько, вспоминаю, головокружительных планов создавал я, сидя за угрюмыми и липкими столиками кафе! Воображение рисовало мне чудесные поездки в Италию. Удачные этюды. Персональная выставка у крупнейшего маршана. Восторженные статьи в лучших журналах и газетах. Директор Люксембургского музея интересуется моей биографией. На мне, конечно, английский, стального цвета костюм и лаковые туфли. Ежедневные завтраки,

обеда, ужины. С Парижем и критикой — дружба. Пора заискивания перед ними кончилась. Какие блестящие планы!..

\* \* \*

Однажды я отправился к Синаеву без всякой корыстной цели. Просто посидеть в богатой мастерской и послушать старого парижанина. В кармане у меня позванивали три серебряных франка, и Париж мне не казался недоступным. Был весенний лилово-розовый вечер. С сердцем, до краев наполненным радостью, я блуждал по паркам и улицам. Внимательно рассматривал нарядную толпу, позеленевшие от парижских дождей памятники и фонтаны, выцветшие и облезшие афиши, пестрые витрины магазинов. Заглядывал в маленькие дворики, где неожиданно встречал удивительную классическую архитектуру. Жадно вглядывался в уже засыпавшие набережные и вдыхал остро пахнувший мулем и смолой речной воздух. Незаметно я попал в район Триумфальной арки, а, попав туда, я не мог не вспомнить о "Марсельезе" гениального Рюда. Меня всегда волновала эта крылатая, точно бурей охваченная, зовущая к победе женская фигура. Я полюбил ее. Бывали дни, когда я думал о ней, как о живой. Часто я приходил к ней поделиться неприятностями, горем. И она, казалось, успокаивала меня, обнадеживала. И сейчас, глядя влюбленно на нее, я ее приветствовал: "Привет, привет, моя очаровательная возлюбленная!"

Синаев меня встретил удивительно радушно. Ласково поздоровался и предложил свое любимое, обитое гобеленом кресло. Поставил передо мной старинной работы ореховый столик, принес чашку ароматного кофе и серебряную вазу, доверху наполненную шоколадным пеньем.

— Угощайтесь, милый друг, и рассказывайте, что делается на вашем чудесном Монпарнасе. Только поменьше о богемистах, — добавил он.

На Синаеве был новенький, из тонкого полотна, рабо-

чий халат. Ослепительной белизны модный воротничок. Глаза, как всегда, потухшие.

Я рассказал ему о первом шумном выступлении независимых художников — кубистов.

— Все это, — прервал он меня, — шарлатанство. Гешефтмахеры. Пройдет пяток лет — и их забудут.

Упрятав беспокойную голову в широкие плечи, он зашагал по мастерской.

— Знаете, кто поддерживает этих молодчиков? Не знаете? Маршаны. Хозяева парижской художественной жизни. Это они создают новые модные школы, чтобы потом хорошо на них зарабатывать. Модный товар легче сплавить. Особенно иностранцам. Поняли, мой друг?

— Да, — робко вставил я, — но о них критика тепло отзывается, новаторами считает, будущность обещает...

Синаев склонил голову, глаза налились кровью.

— Какая критика?! — прошипел он. — Никогда не говорите мне о критике. У нас нет критики. Есть маршаны и их агенты. Я никогда не встречал опрятных критиков и никогда не видел честных маршанов.

— Неужели, дорогой метр, все парижские критики дельцы? И все они продаются?

— Да, все, — ответил он резко.

— Не верю, не может быть! — сказал я. — Вздор! Есть скромные и честные критики. Люди с большим, светлым умом и теплым сердцем.

Синаев посмотрел на меня с недоброжелательством, смешанным с жалостью.

— Не говорите мне об этих дельцах! Я их хорошо изучил. За дюжину устриц и бутылку вина они вам все напишут: что вы — Делакруа или Рембрандт и что ваши картины могли бы украсить Лувр... Все напишут, все. У меня с ними разговор короткий: вон из мастерской, или... Он улыбнулся. Это была улыбка, полная иронии.

— Или великолепный обед с коньяком и ананасами, — полушепотом добавил он. — С ними иначе нельзя. Очень важно, разумеется, быстро оценить стоимость шкуры пишущего.



Несколько минут он молчит.

Внимательно рассматриваю его работы. Бледно-желтые и голубоватые мраморы и серые камни, высеченные опытной, уверенной, но не взволнованной рукой.

Рядом со мной в мраморе бюст молодой женщины. Удивительно мягкое лицо с вьющимися, любовно отделанными волосами.

За открытым большим окном картинный парижский завтрак.

Гаснущее желтое небо и пламенный шар, медленно и неохотно спускающийся за высокие лиловые крыши соседних домов. Потом шар исчез. Все скульптуры покрылись легким сумраком и потеряли свои очертания.

Порыв вечернего ветерка. Шевелятся занавески из прозрачной зеленой ткани. Запах каштанов, острый и сладкий, наполняет мастерскую.

— Какой великолепный вечер! — шепчу я.

— Скажите, — спрашивает Синаев, — кто это критиканствует в "Парижском Вестнике"? Не знаете, что это за тип?

— Знаю.

— Фамилия его настоящая?

Я назвал свою фамилию: Курганный (мой литературный псевдоним). Сумрак спрятал выражение его лица, но я почувствовал, что мое лицо сверлят два горящих изумленных глаза.

— Вот как! А я и не подозревал. Значит, и вы, мой юный друг, критик! Крытик! Крытик!

С ним творилось что-то неладное.

— Идем в кафе! — вдруг воскликнул он. — Сейчас же! Нет, не в кафе, в ресторан.

Мы зашли в небольшой уютный ресторан и сели за угловой столик. Ярко горели газовые лампы. Пахло скисшим вином, табаком и газом.

— Что вы любите, дружок? — спросил Синаев.

Из озорства мне захотелось ответить языком меню аристократического ресторана "Мирабо", но, подумав, я сказал:

— Жареный картофель, фасоль, муть.

— Что вы! Ведь это меню нищих, голодающих мазилок! Поешьте, как настоящий парижанин.

— Гарсон! — и он начал шептать быстро подошедшему и услужливо спустившему лысую голову официанту.

Впервые наблюдаю незнакомые суетливые жесты скульптора и думаю о тайниках его души.

— Хотите, я научу вас пить и есть? — спросил он.

— Не улыбайтесь. Пить и есть — большое искусство. Да, искусство! Гарсон, принесите бокалы, бутылку вина и бутылку коньяку. Приходите в воскресенье, — шепотом продолжал он. — Поедем в Сен-Клу. Вы были когда-нибудь в этом чудесном городке? Париж в сравнении с ним — клоака. Вы любите провинциальные ресторанчики? Чудесные уголки! Вот где можно сытно и вкусно пообедать. Покатаемся по Сене. Полюбуюсь живописными берегами. Для художника — это большая радость! Ну, давайте чокнемся! За ваше здоровье! Только пить до дна! — произнес он.

Я вежливо кивнул головой. Рядом с нами группа пожилых подвыпивших французов. Их горячие движения кажутся искусственными. Они дружно поют вполголоса модную уличную песенку — "Марьетту". Завидую им. Едят, пьют вино и за это не обязаны писать статей о скульпторах. Их шкуру никто не ощупывает и не оценивает. Счастливы!

— Ну, пейте, мой святой Антоний!

После второго бокала голос его немного охрип. Лицо покрылось розовыми пятнами. Жесты стали сдержанными. Он тяжело дышал.

— Скажите, дорогой, письма из России получаете? Очень хочется хоть одним глазом на миг взглянуть и подышать... там, на моей Украине... тихие речки, мальва, айсты, арбузы... высокое небо.

— Выпьем за украинское небо и мальву! — сказал он.

Пристально глядя на меня, с трудом передохнув от хмеля, он сказал:

— Поговорим о скульпторах. Знаете, мой дорогой друг,

настоящая парижская слава приходит к нам, когда сердце и желудок уже начинают сдавать. Ко мне имя пришло тоже, когда стукнуло пятьдесят лет. Теперь обо мне пишут, меня покупают... имею орден Почетного легиона. Я не могу жаловаться на свою судьбу, но... я устал и очень постарел. Не тот Синаев, который мог работать двадцать четыре часа в сутки. Не тот... Чтобы поддержать свою форму — нужны силы, а их у меня очень мало... На Монпарнасе думают, что я пресытился милостями Парижа и теперь отдыхаю от трудов. Неверно. Работаю. Но мне, как старому актеру, нужно, чтобы моя фамилия появлялась в газетах. Помелькала. Публика быстро и охотно забывает своих любимцев. Поняли меня? Больше мне от критиков ничего не нужно. Ничего.

И с необыкновенной для него мягкостью добавил:

— Зачем вы занимаетесь критикой? Живопись лучше критики. Лучше быть голодающим художником, чем сытым критиком. Выкиньте за окно ваше перо и держите в руке только кисть.

И после молчания:

— Ну, давайте выпьем за безвестных скульпторов-труженников! Першеронов, умирающих у станка от разрыва сердца.

Опять выпили.

— Вы хотите, мой юный друг, доказать, что не продаетесь и продаваться не будете? Так? Но ведь вы только вступаете на этот скользкий путь. Вы не знаете, каким будете через два-три года. Париж вас обязательно изменит. Вы не первый и не последний.

И, сдерживая себя, прибавил:

— Если вы себя считаете честным критиком, напишите о творческих страданиях, которые молодой скульптор здесь переживает. О борьбе, которую он здесь ведет, чтобы не погибнуть. Это страшная борьба. Понимаете?

И погодя:

— Напишите о моих провалах, неудачах. О том, как часто приходило ко мне опустошающее безверие. Вы

знаете, что значит потерять веру в себя? Это замирание пульса. Путь к творческой смерти. Да, к смерти...

И прибавил:

— Вот в такой тяжелый момент суметь укрепить веру в себя. Надо уметь...

И после минутного молчания:

— Ежедневно работать, напрягать свою волю и ежедневно внушать себе — ты талантлив. Ты выйдешь на первую линию. Ты победишь. Работать даже тогда, когда работа тебе не приносит удовлетворения. Я не сдавался. Работал, как черт. Худел... Голодал... Хворал, но работал. Вокруг меня шумел Париж с его кафе, ресторанами, выставками, салонами, а я все работал. Критики об этом писать не любят и не умеют.

Синаев устал и смолк. 12 часов ночи. Сонный официант вежливо попросил нас уплатить за съеденное и выпитое и оставить ресторан.

— Мы закрываемся, — прошептал он.

Синаев достал бумажник и отсчитал следуемые деньги. Еле держась на ногах, мы прошли меж опустевших столов и вышли на улицу. Повеяло свежестью осенней ночи. Тускло горели газовые фонари. Было тихо. Против нас, озаренный лунным светом окон ресторана, у дерева стоял фиакр. Толстый кучер дремал. Его большой клеенчатый цилиндр съехал набок. Под его усами чернела забытая тяжелая трубка. Шатаясь, Синаев подошел к извозчику и с напускной развязностью произнес:

— Довольно, друг мой, спать! Отвези этого охмелевшего богатого иностранца в его роскошный отель... на улице Сен-Жак в отель "Генрих Четвертый".

И, проворно сунув несколько монет в карман толстяка, бросил: "Смотри, не урони его! Он мне очень нужен!"

Я залез в фиакр. Он зашатался, задрожал и лениво уплыл по уже засыпавшим улицам. Убаюкиваемый ритмичным покачиванием, я быстро уснул.

Наступило воскресенье. Наспех побрившись и полакомившись чаем с сухарями и моим дежурным блюдом

"бри", я отправился на Триумфальную площадь. Из-за легких облаков показывалось небольшое, тусклой марлей затянутое, равнодушное солнце. У арки Побед я остановился возле моей любимой "Марсельезы".

На ее больших крыльях, казавшихся бурей гонимыми облаками, слабо горел отблеск раннего осеннего неба.

— Как ты советуешь, — шепотом обратился я к ней, — иди мне к скульптору или вернуться в мой отель?

В глазах ее я прочел: "Вернись в отель".

— Неужели тебе не жалко меня?

И я прочел: "Не пой лазаря".

Я почувствовал себя пристыженным. Спорить было бесполезно. Постояв несколько минут в горестном размышлении, я прошептал: "Бездушная"... и, не прощаясь с ней, медленно побрел обратно в свой унылый отель.

## ДОКТОР ОСТРОВСКИЙ

1912 г. Последние сентябрьские дни. Ночью льют холодные дожди, а по утрам Париж кажется притихшим и тусклым. Днем на набережных Сены и в парках празднично горят желтые и оранжевые краски засыпающих деревьев. Появились бойкие пейзажисты, которые зарабатывают на парижской осени. Их много, всюду видны их стульчики и мольберты.

Чувствую себя больным. Слабость и апатия мешают мне заниматься живописью и любоваться Парижем. Дни уходят, не оставляя в памяти ничего яркого, дорогого. Полюбившая меня неодолимая нужда заставляет ежедневно работать маляром в отелях и изредка писать для "Парижского Вестника" бесстрастные статьи о салонах и выставках. В "Ротонде" бываю раз в неделю. Публика там однообразная и скучная.

Недавно мой друг Мещанинов, поглядев на меня, с искренней грустью сказал: "Не нравишься ты мне, дружок. Придется с тобой сходить к толстяку Островскому, специалисту по легочным болезням".

И погода, мягко улыбнувшись, добавил:

— Он лечит всех больных художников даром. Дашь ему этудик. И все. В ближайшие дни сходим.

Доктор жил в центре города, на старой улице "Рю Кемкампуа". Дверь нам открыла румяная бретонка. "Неплохая реклама для врача-туберкулезника", — шепнул я Мещанинову.

Да, — улыбаясь, ответил он.

Полутемная передняя с потускневшим круглым зеркалом и горкой разной формы чемоданов. Из передней мы прошли в большую высокую комнату. На всех стенах в старых золоченых рамах висели картины. Пахло табаком и скипидаром. За большим столом в углу сидел доктор Островский. Круглая голова и смуглое лицо. Отрекомендовав меня, Мещанинов сразу же приступил к делу. Он говорил обо мне вдохновенно. И закончил он свою яркую речь взволновавшей меня фразой:

— Вам, дорогой доктор, надо обязательно спасти этого молодого талантливого художника от наступающего на него безжалостного туберкулеза!..

— Хорошо, — сказал доктор. — Ну-ка, — обратился он ко мне, — покажитесь.

Внимательно осмотрев меня, доктор задумался, и погодя, сказал:

— Здорово, молодой человек, вас потрепал Париж... Вам придется срочно уехать.

— Дорогой доктор, — ответил я, — это невозможно. Нужны большие деньги, а их у меня нет.

— Глупости, — поморщился доктор. — Надо во что бы то ни стало уехать. Не откладывая.

И, глядя мне в лицо, с покоряющей страстностью добавил:

— Вы, молодые художники, знаете только фасадный Париж: замечательные музеи, блестящие вернисажи, шумные веселые кафе, а мы, врачи, знаем другую сторону Парижа — унылые туберкулезные диспансеры, больницы и мрачные городские кладбища.

И, прервав себя, он спросил меня: "Где вы родились?"

— На Украине.

— Чудесно! Поживите с годик на Украине, и вы расцветете, как куст сирени весной. Поглядите! — Он указал на висевшие на стенах картины. — Все это работы сгоревших в Париже молодых жизней... Погибшие мечты и умершие иллюзии...

Я разглядел несколько полотен. Поразил их общий дух и стиль. Безграничная тоска! Чтобы немного отвлечься от толстяка и его невеселой коллекции, я подошел к окну. Ярko расцветала вечерняя уличная жизнь. В кафе зажигались газовые рожки. Таяли и опять вырастали группки беззаботных людей. Мне захотелось бежать туда — к молодым, веселящимся людям и смешаться с ними.

Поблагодарив доктора за добрые слова, я направился к двери.

— Куда вы? — улыбнулся он, — я вас не отпущу. Пока что я вас полечу. Сделаю вам противотуберкулезную прививку и дам вам флакон с мясным экстрактом. Вы окрепнете и поедете в Россию с розовым лицом.

Результат прививки я почувствовал на улице через несколько часов. Пульс усилился. Небывалое возбуждение гнало меня по вечернему Парижу.

Я заходил в незнакомые кафе, выпивал холодную кружку пива и опять несся по улицам и паркам. Над городом ярко пылал удивительный закат. Будто колоссальный театральный занавес, написанный в дни великого вдохновения Ван Гогом. Такие закаты бывают только во сне.

Вернулся я в свой унылый отель поздно ночью. Усталость валила с ног. Не раздеваясь, плюхнулся в постель и вмиг уснул. Рано утром меня разбудил кто-то, игравший на свирели. Нежные, душу согревающие звуки. Я встал, подошел к окну и был очень удивлен необыкновенной для моей скромной улицы картиной. Лениво подвигающееся стадо очаровательных коз, и за ними в деревенской одежде медленно шедший и увлеченно игравший на дудочке пастух. Он, видно, знал, что это нравится жителям Сен-Жака и старался играть с большим чувством.

Какие поэтические контрасты живут в Париже! Только подумать: стадо коз с пастухом невдалеке от величест-

венного Пантеона, где покоятся знаменитые французские философы, ученые и писатели.

Через неделю, прожитую в отупении, рано утром выйдя из своего отеля, я у дверей знакомого ночного кафе увидел усталого, продрогшего человека в изношенном рабочем костюме. Он горестно стоял у фонарной колонки. Одной рукой он держался за колонку, другой за грудь. Стоял и кашлял. Казалось, что он раздирает утреннюю тишину Парижа, и что улица и небо отвечали ему звучным эхом. Я подошел к человеку. После каждого приступа кашля он высоко поднимал худые плечи и беспомощно опускал угловатую голову. Выделявшуюся розовую мокроту он старательно вытирал ладонью. Заметив меня, он сделал рукой знак: уйди. Я отошел в сторону.

На другой день, наспех побрившись, не позавтракав, я бросился к толстяку. Я стал привыкать к Островскому. К его грустным романтическим рассказам и печальной лекции.

Он любил одаренных художников. Помогал им бороться с болезнями. Внушал веру в грядущее счастье, которое он делил на два вида: большое и малое. "Большое, — говорил он, — обычно славится неверностью, малое — вдохновляет и согревает. Бороться, — добавлял он, — нужно за малое. Оно доступнее и легче переносится".

— Вы внимательно поглядите, — говорил он, — на эти чудесные пейзажи. Их написал человек о светлой и чистой душей. Русский художник Матинский.

Он подошел к группе красивых по цвету полотен. Лицо его выражало глубокую грусть.

— Я долго не отдавал его смерти, но в этой неравной борьбе врач не всегда побеждает.

Он снял со стены голубой дымчатый пейзаж, долго и любовно в него вглядывался. Потом, обратившись ко мне, сказал:

— Подержите его. Не бойтесь. Ближе поглядите, как написаны небо и клены.

— Это был, — начал он свой рассказ, — худой, чуть сутулый, с горящими карими глазами молодой человек.

Работал он, как одержимый, забывая о еде. Знаменитый Альберт Боннар, увидев на выставке этюды Матинского, влюбился в них. Он даже мечтал купить один из них. Матинский был счастлив. Но смерть помешала этой покупке. Матинский умер за работой, и когда я приехал в знаменитый грязный Ля Риш, я нашел его уже мертвым. Он лежал на диванчике в халате с расprostертыми руками. Точно боролся со смертью. В руке его была кисть. Вся палитра была залита кровью...

... Около окна висело несколько этюдов. Чем-то они напоминали Ван Гога. Смело положенные нервные мазки и яркие несмешанные краски: желто-голубые, оранжево-лиловые. Неровные темпераментные контуры вокруг лица, одежды и предметов. Какой-то жар струился от его работ.

— Теперь поговорим о Тихонове, — продолжал доктор. — Это другого стиля художник. Он любил бродить по Парижу и часами простаивать у магазинных витрин. "Все, что меня окружает, — говорил он, — мой мир". Его мысли об искусстве были насыщены философией. Я жалею, что их не записывал. Тихонов ухитрялся много работать и весело жить. Его подруга — с малиновыми щеками и могучей грудью — работала в ресторане и нередко, в дни нужды, подкармливала его. Тихонов называл ее "Бретонской Венерой". Он часто писал ее. Пил он зверски. Напившись, уходил в свой любимый Люксембургский сад подышать. Взбирался на памятники и пел русские песни: "Дубинушку", "Солнце всходит и заходит", "Славное море, священный Байкал". У него был неплохой бас. Част вокруг пьяного иностранца собиралась толпа парижан. Полиция его уже хорошо знала и, глядя на него, только вежливо улыбалась. Тихонов любил устраивать и такие номера: наберет в мешок мелкую монету, заберется на подоконник своей мастерской и давай швырять эту мелочь на улицу, весело припевая "Эх раз, еще раз". Под окном собиралась ватага детишек, они весело собирали медяки и кричали: "Анкор". Еще!

Доктор замолк. Закурил. Сделав несколько затяжек, вполголоса сказал:

— Широкая, необъятная душа была у этого художника.

Островский любил вспоминать еще об одном рано умершем художнике, тонком мастере, певце Сены — Лакшине. Этот художник писал Сену в любое время, в любую погоду: утром, днем, вечером. Работал с величайшим энтузиазмом. Не отдавал себе отчета, каким светлым талантом он обладал. Когда он узнал, что ему осталось жить не больше месяца, он, наложив во все карманы камней, бросился в свою нежно любимую Сену.

Кроме пейзажей у доктора висело несколько портретов художника Ржевского. На одном портрете был изображен клоун с бледно-желтыми глазами и тонкими губами. Естественно тонкая шея была обвязана лимонным шарфом.

На другом портрете — парижская проститутка. В худых, усталых руках она держала крупное янтарное ожерелье. На голове ее была синяя шляпа с большими розовыми перьями.

— Этот, — продолжал уставшим голосом доктор, — беспокойный человек имел интересную биографию. Родился он в России, где-то на юге, кажется, в Ростове. В молодости, когда ему было шестнадцать лет, — он познакомился и подружился с капитаном английского парохода, и тот его увез в Америку. Там он два года работал на фермах. Потом вернулся в Россию. И так этот парень носился по свету, пока его неожиданно не охватила страсть к живописи. Он помчался в Париж, и, прямо чуть ли не с вокзала, ввалился в какую-то академию. И, представьте, живопись изменила его образ жизни и даже привычки. Он стал оседлым и спокойным. Но вино и быстро развивающийся туберкулез уже успели сделать свое дело. Спасти его нельзя было... За неделю до смерти он у старьевщика накупил разных диких вещей: индусских масок, японских вееров и пестрых тряпок. Умер после обильной выпивки. Мне он оставил записку: "Дорогой доктор, за сыворотку, мясные экстракты и сердечную дружбу вам завещаю все мои работы. Благодарный Ржевский".

Однажды, придя к доктору за мясным флаконом, я в кабинете застал пожилого человека в золотых очках.

— Знакомьтесь, мсье Нюрнберг. Это профессор Пастеровского института, бывший ассистент Мечникова, изобретатель "антитуберкулина". Хочу показать вас профессору.

Осмотрев меня, гость сказал:

— Я согласен с моим другом. Вам надо на годик покинуть Париж. Отдохните. Поправитесь, окрепнете и вернетесь в Париж.

Он встал и принялся ходить по комнате. Снял очки, протер их платком, сел, глянул на меня и с жаром продолжал:

— Недавно мне посчастливилось познакомиться с дожившим до нашего времени известным художником — Гарпиньи. Это глубокий старик. Но годы его пощадили и обошлись с ним весьма мягко. Его глаза, движения и особенно речь — меня удивили. Столько в них молодости и жара! А знаете, в чем секрет его жизнеспособности? Почти всю жизнь жил и работал на чистом воздухе... В Барбизонском лесу. Так жили и работали его великие друзья — Руссо, Коро, Милле. Барбизонские художники не знали грудных болезней и умирали стариками.

Помолчав, добавил:

— Я склоняю голову перед этими мудрецами.

Ушел я от моих врачей с отчаянием в душе. Хорошо им читать попавшему в беду молодому художнику добродетельные лекции. Жизнь их налажена. Живут в деревне, работают в Париже. Каждый день завтракают, обедают, ужинают. В обжорку "А ля мер де люнет" не ходят. А мне каково?

Чтобы оторваться от мрачных мыслей, я начал думать о России, о родных местах. О местах, где прошла моя юность, где родились первые надежды и мечты. О представших передо мной в поэтическом озарении близких людях. Надо, разумеется, уехать в Елисаветград... Окрепнуть, порозоветь и потом сюда вернуться. Правда, в Елисаветграде нет Лувра, салонов, кафе и натурщиц, но

зато есть замечательная степь, курганы с душистыми травами и высокое, чистое небо...

Через шесть недель я почувствовал, что здоровье мое улучшилось. Может быть, мясные флаконы и уколы толстяка, ежедневные обеды из трех блюд (малярные заработки помогли) меня подкрепили. Вера, что я непременно выздоровлю, все усиливалась. Опять начал печатать статьи о музеях и выставках. Но с мыслью о поездке в Россию я решил не расставаться. Только на год! — повторял я себе. Но подумал. В Елисаветграде живут преимущественно мануфактуристы, бакалейщики и военные портные. С кем же я буду делиться мыслями о Моне, Ренуаре, Ван Гоге и Сезанне?.. И еще подумал: не слишком ли я раболепно слеую за своей судьбой?

## ХАИМ СУТИН

Сутина открыл миллионер, доктор Барнес.

В 1923 году художественный мир Парижа был потрясен необычайным событием: известный американский коллекционер, владелец крупнейшей в мире картинной галереи, большой знаток живописи купил все имевшиеся у продавца картины молодого, никому не известного русского художника, некоего Сутина, и объявил его творчество художественным явлением.

За работы была уплачена сравнительно небольшая сумма, но самый факт покупки целой коллекции картин неизвестного художника крупнейшим собирателем искусства казался настолько исключительным, что все парижские художественные газеты и журналы придали ему характер сенсации.

Кроме того, экспансивный американец написал о Сутине восторженную статью, в которой отозвался о нем, как об одном из лучших колористов нашего времени. Это оскорбило национальное чувство французской художественной прессы. Появились ответные статьи. Спор перешел в длительную дискуссию. Что могло пленить миллио-

нера? Что нашел Барнес в Сутине? Что такое творчество Сутина? Французское ли оно?

Пока критики и художники решали эти вопросы, имя Сутина стало обрастать славой. Спекулянты на картинном рынке бросились скупать его полотна. Цены на сутинские картины поднялись с 300 до 15000 франков.

Сутин стал "валютным" художником. Он переселился из грязного "Ля Риша" в просторное и опрятное ателье и стал ежедневным завсегдатаем ресторана. Сутин стал героем художественного Парижа. В салонах в большом количестве стали появляться холсты, написанные под Сутина. Так началась его слава.

Хаим Сутин родился в 1894 году в городе Смиловиче Минской области. Первый опыт рисования он получил в Виленском художественном училище, где учился вместе с Кремнем у известного педагога — художника Рыбакова.

В Париж Сутин приехал в 1912 году. Жил, работал и голодал в знаменитом "Ля Риш" (отеле для бедных художников). Увлекался художниками, примыкавшими к академическим группировкам. Как-то случайно ему попало одно фальшивое полотно, на котором были изображены убитый заяц и миска крови. Полотно было насыщено творческим жаром и подписано "Ван Гогом"; оно принадлежало известному подделывателю великого голландца.

Сутину этот удивительный натюрморт глубоко врезался в память — художник несколько лет не мог освободиться от его влияния.

К этому времени относится и его дружба с Модильяни, под сильным влиянием которого он также долгое время находился. В 1916 году Сутин вместе с Кремнем работает на юге Франции, в Пиренеях. Нищета, лютая, безнадежная, никогда до 1923 года не покидала Сутина, но он умел легко и весело ее переносить.

Кремень мне рассказывал: "Прихожу однажды в "Ля Риш" к Сутину. Открываю дверь и вижу: на полу, на газетах спят Сутин и Модильяни. Спрашиваю: что случилось? Почему вы спите не на диване, а на полу?"

"Клопы заели," — с грустью ответил Сутин."

Модильяни в то время уже считался королем парижской богемы.

В 1923 году и покупка американским коллекционером его работ — и конец нищеты.

Художник Барт, горячий сутинист, мне рассказывал о своем кумире: "Это был не только гениальный художник, но и большой философ. Он не любил много говорить, но то, что он говорил, пахло Рембрандтом. Да, да. Я его никогда не забуду и все его мысли буду хранить в глубине сердца до конца жизни."

Будучи в 1927 году в Париже у моего друга, старого парижанина скульптора Мещанинова, я обратил внимание на висевшие на стене пять великолепных натюрмортов. По композиции, цвету и письму они очень напоминали работы Сутина. Я ему это сказал.

— Да, — ответил Мещанинов, — ты не ошибся. Это работы Сутина. Ранние.

Снимая их со стены и близко их показывая, он с гордостью сказал:

— Сутина я первый начал покупать, когда его не понимали. Барнесу тогда Сутин еще и не снился. Так что, друг мой, открывателем Сутина следует считать Мещанинова. Вернешься в Москву, расскажи об этом художникам.

У каждого художника существует любимый учитель, которому он в первые годы формирования подражает. Любимыми учителями Сутина были два выдающихся художника нашей эпохи — Ван Гог и Боннар.

Характерно, что именно Ван Гог — художник с разможенной больной душой и острым глазом — был его мэтром. Но Сутин хорошо знал и других мастеров. Он вдохновлялся картинами своего друга, рано умершего Модильяни, анализировал Тулуз-Лотрека и Сезанна, но ни в ком из них не нашел столько созвучных черт, сколько в этом офранцузенном голландце. Только в творчестве яркого индивидуалиста Ван Гога он увидел великий пример.

Сутин, как и Ван Гог, глубоко предан природе. Цвет и

форма должны быть найдены художником не в ателье, а в природе. Без знания природы нет живого творчества. Но, как и Ван Гог, Сутин никогда не был рабом ее. В зависимости от той или другой идеи, которую он вкладывает в основу данной работы, меняется и изображаемая натура. Натура в слиянии с чувством — вот формы его реализма. Правда, чувство у него, как у большинства современных французских художников, живет и развивается на почве рафинированного субъективизма.

Сутин пишет ярко и широко. В его полотнах есть какая-то овая грусть душевная обнаженность. Его образы раздражают ваш глаз и ваше сознание и вместе с тем заставляют вас проникаться к ним симпатией. Они медленно и незаметно покоряют вас. Выжигаются в памяти.

Его полотна лишены равновесия, перспективы и анатомии, т.е. всего того, на чем обычно зиждется реалистическая картина. Порой его искусство кажется абстракцией. Все исчезает: и фаски, и форма вещей. Исчезает всякая связь с окружающим миром. Остается лишь одно яркое цветовое чувство остро переживающего художника-индивидуалиста, одно сердце с повышенным нездоровым ритмом. Вот почему вы иногда начинаете думать, что его отдельные работы написаны психически нездоровым человеком. Тень едва уловимого безумия витает над ними (вспоминается все тот же образ душевнобольного Ван Гога).

Причудливые пейзажи с падающими домами и деревьями, натюрморты с окровавленными птицами, рыбами и кроликами, похожими скорее на куски свежего мяса, портреты с персонажами, найденными, вероятно, в театре "Габима" — все это живет какой-то горячей, пламенной жизнью. Все насыщено большим и острым напряжением.

Его живопись — жирная, растрепанная, может служить украшением любой европейской картинной галереи. Можно было бы написать целую книгу о его подкладках и подмалевках, о его цветовом синтаксисе. Его синие, желтые, зеленые и особенно красные краски изумительны по своей экспрессивной волнующей силе. Сутин наделяет

их таким высоким звучанием и пульсом, что зритель, даже опытный, быстро устает.

Если вы обойдете ряд парижских салонов и выставок, то быстро заметите, что некоторые художники пишут "под Сутина". Сутин, несомненно, — реалист. Но его реализм — результат не только знаний и чувства, но и философского мышления.

Часто он повторял фразу Пикассо:

— Натура и искусство — вещи разные, а следовательно, не могут быть одинаковыми. С помощью искусства мы выражаем наше представление о том, что не является природой.

Большинство критиков творчество Сутина считает пессимистичным и глубоко субъективным. Неверно.

Сутин — оптимист. Но его оптимизм вырос на страданиях и ими окрашен.

Он пишет об одиноких, оторванных от жизни людях, но он не воспевает сумрак, которым они окутаны. Никто, кроме гениальных Руо и Ван Гога, с такой искренностью не показывал трагическое одиночество современного человека в окружающем мире. Никто так ярко не рассказывал о его угасшей, студеной душе.

Приход в 1941 году немецких фашистов вынудил многих художников бросить свои мастерские и бежать из Парижа.

Сутин медлил, веря, что фашисты долго не продержатся во Франции. Но когда почувствовал, что смерть неотступно за ним ходит, спрятался в тайной квартире французских друзей. Изнурительные скитания по чужим углам, нарушенный режим питания обострили его старую болезнь, язву желудка. Больницы находились под контролем фашистов. Врачей в Париже найти было невозможно. Лекарств у Сутина не было. Он очень страдал.

Умер он, совершенно обессиленный в неравной борьбе с тяжелой болезнью.

Оренбург мне рассказывал, что на его похоронах был Пикассо.



## МАРК ШАГАЛ

Когда зимой в 1911 году я перебрался с Рю Сен-Жак на Рю Данциг, в убогую холодную мастерскую, соседом моим оказался Марк Шагал.

Это был худощавый юноша с голубо-серыми глазами и светло-каштановыми волосами. Он повел меня в свою мастерскую и показал большое полотно (приблизительно два метра на полтора), над которым он работал.

Тема, как он мне объяснил, была волнующая — "Рождение человека". Все полотно было покрыто вишневыми, красными и красно-охристыми красками.

Шла подготовка — подмалевок. В левой руке Шагал держал большую парижскую палитру, эскиз и несколько крупных мягких кистей. Растворитель в банке стоял на высоком испачканном краской табурете.

Я его спросил:

— Марк, такую большую картину вы пишете по такому незначительному наброску? — А мне, — ответил он, — больших размеров эскизы не нужны. У меня все уже готово в голове. Я картину вижу уже в законченном виде.

Меня, помню, удивила впервые виденная картина, написанная по памяти. Я запомнил содержание картины. Большая комната, обвешанная яркими тканями, широкая кровать с лежащей на ней бледной роженицей и суetyащиеся вокруг страдалницы женские фигуры. В глубине комнаты печь, стол с самоваром и большие хлеба. Все сделано было в плане увеличенного детского рисунка.

Я тогда понял, что главная характерная особенность шагаловского творчества передавать не природу, не окружающий его мир, а живописные мысли, им вызванные. Как дети, которые на основе виденного и ярко запечатлевшегося образа создают свой мир, свою композицию и свои краски. Впоследствии, когда я в 1915-1920 годах, увлекшись детским творчеством, изучал его характерные черты, я часто вспоминал работы Шагала.

Картина "Рождение человека" меня глубоко заинтересовала. Я в ней почувствовал взволнованное состояние

ее автора. Шагал очень увлекался этой работой и говорил, что все, что он делает, тесно связано с воспоминаниями пережитого.

Вот уже около шестидесяти лет образ юного, романтического Витебска не покидает его неподражаемое творчество. На его работах, рядом с чудом современной архитектуры, гениальной Эйфелевой башней, вы всегда найдете фантастические фрагменты старого Витебска.

Эта характерная черта является как бы символом всего творчества Шагала. Что бы ни писал Шагал, образ Витебска всегда витает перед его глазами.

В моей памяти сохранилось его неувядаемое письмо, написанное в 1930 году. Оно кончалось трогательной фразой: "Дорогой друг, если вам посчастливится попасть в мой Витебск, — обязательно передайте мой сердечный привет деревьям и заборам — моим верным старым друзьям".

В 1927 году я вторично жил в Париже. Был командирован Луначарским для изучения французского искусства и чтения лекций о советском искусстве. Писал статьи о художественной жизни Парижа и посылал их в два журнала: "Прожектор" и "Искусство в массы".

О шагаловском творчестве я написал небольшую статью (с фотографиями его работ) и послал ее в "Прожектор". Она была напечатана.

Получив журнал, я сейчас же отвез его Марку. Он был счастлив. Долго держал журнал в руках. Нервно мял его. И наконец, волнуясь, сказал:

— Все, что оттуда, будит во мне воспоминания о юности, о радужных мечтах, о первой любви...

И, задумавшись, рассеянно добавил:

— Пойдем, Нюрнберг, в мастерскую. Я отберу для вас на память два-три офорта.

Мы пошли. Он отобрал два офорта.

\* \* \*

Чтобы отвлечься от работы и немного отдохнуть от живописи, я из окна мастерской наблюдал жизнь авиа-

ционного поля. Там знаменитые в то время авиаторы Блерио и Фарман делали свои первые опыты, пытаясь оторваться от земли и две-три минуты продержаться в воздухе. Мне хорошо было видно, как они на своих наивных аэропланах, сделав несколько робких скачков, комично поднимались в воздух и, пролетев метров десять-двадцать, как подстреленные птицы, падали. Это зрелище меня очень развлекало и рассеивало. Марк тоже увлекался этим зрелищем.

\* \* \*

Наблюдая Шагала в мастерской, я много думал о его оригинальных методах работы. Не все стороны его творчества мне были понятны. Я старался проникнуть в его творческие приемы, которые он как будто и не думал прятать. Меня особенно интересовала необыкновенная деформация натуры. Когда я в Одессе преподавал детям рисунок, мне часто приходилось наблюдать, как они деформировали окружающий их мир.

Пошли холодные парижские дожди, загонявшие художников днем в мастерские, а вечером в кафе.

Я пожаловался Марку на одолевавшие меня холода и сырость. "Замерзаю, — сказал я, — давайте печку ставить; один день у вас она будет стоять, другой — у меня. Попалам."

Он согласился. Купили печь и ведро угля. Конечно, работать я мог только тогда, когда печка стояла у меня в мастерской. Часто ночью он приходил ко мне градусником измерять температуру и был очень доволен, когда у меня было 14 или 15 градусов тепла.

— Поздравляю! — восклицал он. — У нас тепло!

Прожив с ним рядом свыше года, я мог наблюдать его творческую жизнь. В основе его искусства лежали еврейские народные лубки, детские рисунки, вывески, иллюстрации к старинным религиозным книгам — все то, где источником рисунка и цвета, и самого стиля являлось

незамутненное никакими чертами академизма, свежее, самобытное, народное творчество.

Шагал умел ярко и остро чувствовать это творчество. Вдохновенно любил его и страстно жил им. Ни анатомия, ни перспектива, ни академические знания и установленные веками художественные традиции и методы не нужны были ему, чтобы выразить свои мысли и чувства. Это был художник, который пользовался своими личными, им избранными средствами выражения. Натура ему не нужна была. Она его связывала, мешала. Когда один из критиков, рассказывал мне Шагал, сказал ему, что иллюстрации к "Мертвым душам" Гоголя далеки от реализма писателя, Шагал ответил: "Глупец, он хотел, чтобы я шинели и мундиры рисовал, как портной, но... ведь я художник".

\* \* \*

Были уютные зимние вечера, когда не хотелось выходить на улицу, когда не тянуло в кафе, и тогда, затопив печку, мы с Шагалом варили чай.

Усевшись около печки, мы рассказывали друг другу о своей родине и о счастливых днях юности. Шагал — о Витебске, я — об Елисаветграде и Одессе. Рассказывал он очень живо, выразительно, окутывая изображаемое шагаловским теплым юмором. Особенно ему удавались рассказы о витебских пейзажах. Он умел говорить о деревьях, заборах и небе, как о своих близких приятелях, которые ему платили за дружбу большой симпатией.

Его отец служил в москательной лавке, где юный художник мог наблюдать богатый типаж. Шагал очень ярко рассказывал о витебчанах, приходивших к его отцу поделиться своими радостями и горем. Шагал любил посещать свадьбы, похороны, где мог видеть радость и горе людей. Все это были рассказы, согретые страстной любовью к жизни.

Я ему рассказывал о степных пейзажах. Как я и мой душевный друг Валя Филиппов забирались на курганы и,

зарывшись в ароматные бурьян и полынь, под грустные напевы легкого степного ветра читали стихи Блока и Бодлера... Потом я ему рассказывал об Одессе, о поразившем мое юношеское воображение сказочном порте, о громадных иностранных пароходах, о грузчиках-силачах, особенно много рассказывал о море, о его непередаваемой героической романтике в часы шторма, когда берег и я, писавший его, покрывались злой бело-желтоватой пеной, и о закатах.

Одна девочка 12 лет принесла мне несколько акварелей, изображавших ее комнату. На задней стене комнаты были написаны три больших размеров женских портрета.

— Чьи это портреты? — спросил я.

— Это мои любимые открытки... Они висят в нашей комнате на стене, и я их нарисовала, — смущенно ответила она.

Открытки молодая художница увеличила в десять раз. Причина — яркий образ открыток, запечатлевшихся в ее детском мозгу. Все остальное на акварели служило как бы фоном для этих открыток. Здесь, как видно, мы имели дело с самой ярко выраженной деформацией природы. Детская гиперболизация. Бывали, конечно, случаи, когда вдохновение у детей требовало и уменьшения природы.

Шагал часто пользовался этим приемом. Но деформация его была наделена большими знаниями, поэтому не казалась детской. Это деформация художника, имеющего парижский вкус и хорошо знающего меру вещам.

О второй стороне его творчества — о фантастике. Значительную композиционную роль в его творчестве играл еще один прием, может быть, позаимствованный у итальянских футуристов: на одной картине изображать ряд моментов природы в динамике: фрагменты улиц, авто, кафе, женщин, друзей, животных. Все на полотне смешано, слито, и все в движении. Так писали футуристы Северини, Скала и другие итальянцы. Передо мной характерная для Шагала работа (гуашь) "Воскресенье". На переднем плане изображены Парижский собор, "Нотр-Дам", Эйфелева башня и кусок Парижа. На заднем пла-

не — озаренный закатом зимний Витебск с хатой и церковью. На детских санях мужичок, а над ним какая-то лиловая символическая птица. Вся картина освещена двумя круглыми женскими головами. В гуаши я насчитал шесть моментов, написанных разными красками и разной фактурой.

Шагал не пишет в одной какой-нибудь определенной манере. Его палитра и фактура знали много увлечений. И сейчас трудно в его работах проследить, где кончается влияние постимпрессионизма и где начинается увлечение посткубизмом. Порой кажется, что в одной его картине можно найти следы увлечения тремя-четырьмя школами. Часто он также пользуется расцветкой детского рисунка.

\* \* \*

Шагал всегда много размышлял перед тем, как взяться за кисть. Особенно его радовали успехи палитры. Он нашел новые синие и голубые тона, глубокие, красивые, незабываемые. Работы его мне понравились, и я решил написать о нем статью.

Показывая мне свои последние вещи, он сказал:

— Как видите, я стараюсь работать в разных отраслях. Я люблю офорт, книжную иллюстрацию, театральное оформление, витражи. Когда берешь иглу и наклоняешься над цинковой доской, все забываешь.

Через месяц я ему принес московский журнал "Прожектор" со статьей о его творчестве.

— Возьмите что-нибудь себе на память.

Я вернулся.

— Выбирайте!

Зная, что он любит свои вещи и неохотно расстается с ними, я выбрал два скромных офорта.

— Я еще вам дам, — сказал он, — несколько иллюстрированных мною книг...

На одной из них "Провинциальной сюите Кокио" он написал: "Нюрнбергу, дружески на память стольких лет. Марк Шагал. Булонь, 1928 год".

Несколько лет тому назад я получил от Шагала новую открытку. На ней была изображена башня Эйфеля, органически слитая с углом старого Витебска. Открытка мне понравилась. Глядя на нее, я подумал: в ней весь Шагал, со всем его духом и характерными творческими приемами.

На одной стороне — неувыдаемый символ юности, ранний романтический Витебск. Город, где Шагал впервые познакомился с простыми людьми, приходившими в знакомую парикмахерскую постричься и поделиться горем и радостями; город, где он узнал волновавшие его тайны искусства, где он почувствовал и понял поэзию простого пейзажа с низкими заборами и высоким небом. И, наконец, город, где он впервые встретил понравившуюся ему девушку, полюбил ее и женился на ней...

На другой стороне открытки — символ Парижа, города, где он провел полвека, где он вырос, расцвел и получил мировую известность; города, где он учился живописи у великих художников: Эдуарда Мане, Анри Матисса и Пьера Боннара.

Открытка еще показала Шагала как художника, который никогда не порывал связи с Родиной и молодостью.

Начало июня 1974 года.

В 11 часов утра телефонный звонок. Звонит товарищ.

— Приехал Шагал. В 12 часов в Третьяковке состоится его чествование. Ты должен быть.

Около 12 часов я уже был в галерее и ждал знаменитого художника, старого друга, которого будет чествовать Москва.

Встреча состоялась в одном из залов Третьяковки. В зал Шагал вошел с женой.

Раздались аплодисменты. Чувствовалось, что почетным гостям аплодировала ждавшая их молодежь. В те торжественные минуты, когда, волнуясь, Шагал читал свою речь, я стоял за ним и внимательно разглядывал его. На нем были простой коричневый костюм и темно-зеленая дорожная рубаша. В левой руке он держал большой лист бумаги, а правой он изредка сдержанно жестикулировал.

... Только подумать — бывшему витебскому молодому художнику французское правительство построило персональный музей. Это высшая награда. Таких музеев во Франции только три: Пикассо, Леже и Шагала.

И я, глядя на него, окруженного такой славой, невольно вспомнил наше далекое прошлое. Париж 60 лет тому назад. Пронизывающие до костей туманы, холодные дожди и нескончаемые, мешавшие работать простуды. Шагал и я боролись за теплую и сытую жизнь. И на Париж глядели, как на высокомерного врага...

Но к Шагалу счастье относилось более дружески, чем ко мне, и порой заглядывало к нему и согревало... а мне никто не помогал. Счастье проходило равнодушно мимо моих дверей.

## AVELANSH, LTD.

У вас есть уникальная возможность, обеспечить вашим друзьям и родственникам высококачественную медицинскую помощь. Частная медицинская фирма «Эвеланш, Лтд.», реализует обширную программу в различных областях медицины с целью создания в России системы высококачественного медицинского обслуживания. В нашей фирме работает более 100 врачей.

### К вашим услугам в Санкт-Петербурге:

- ПОЛИКЛИНИКА
- СТАЦИОНАР
- АПТЕКА
- ЧАСТНАЯ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
- КОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН
- САНАТОРИЙ

Фирма «Эвеланш, Лтд.» — генеральный спонсор Игр доброй воли 1994 года. Журнал, издаваемый фирмой, распространяется в 75 странах. Мы будем рады сотрудничеству как с частными лицами, так и с организациями.

**НАША АДРЕС:**  
**РОССИЯ**  
 Санкт-Петербург  
 Измайловский пр., д. 14  
 Тел. (812) 112-6510

**USA**  
 606 Brighton Beach Ave.  
 Brooklyn, N.Y. 11235.  
 Tel. (718) 743-7050

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ

## НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА — ЭТО ЛИТЕРАТУРА ОТСУТСТВИЯ

На Западе журнал "Время и мы" одним из первых опубликовал Юрия Карабчиевского, тогда еще полуподпольного московского писателя. Это был 1980 год, а напечатанным в 56–57 номерах был роман — "Жизнь Александра Зильбера". Затем другой роман "Вчера, сегодня, завтра". Появление на наших страницах Ю.Карабчиевского мы считали важным открытием журнала: в каком-то смысле от нас он начал свой блистательный путь в литературу. В этом номере редакция предлагает читателю его литературные заметки (впервые опубликованные в журнале "Ной"), которые как и все, что выходило из-под его пера, исполнено глубокой мысли, блеска, несет на себе печать его неповторимого таланта.

*(О Михаиле Жванецком)*

Существует множество народных пословиц, в том числе и достаточное количество лживых. Например: золото и в

грязи блестит. Не блестит оно в грязи, чего вдруг. Недавно в одной химической лаборатории выбросили деталь из платины стоимостью во столько-то тысяч иностранной валюты. Она так почернела от окружающей грязи, что ее приняли за железную. Теперь хватились и не знают, как отчитаться...

"....."

Он родился в точности там, где надо, в необходимой стране и подходящем городе. И дело выбрал по таланту и по сердцу. Но волей толпы, начальства, случая и нашей всеобщей косности был помещен в совершенно чуждый ряд, в грязь, болото и тину. Сатирик-юморист! И попробуй там поблести. Казалось бы, ну что, какая разница, талант есть талант, золото и в грязи... Но представьте, что мы поместим Гоголя в один ряд с Леонидом Ленчем и Викторией Токаревой, только сразу, изначально — и вы увидите, что из него получится. Он будет в миллион раз лучше Ленча и в сто тысяч раз лучше Токаревой, но начало отсчета останется прежним: Токарева, Ленч — и будут тянуть его не отпуская и отсвечивать в каждой фразе.

"....."

Малая форма, эстрадный театр, вставки развлекательные по телевидению, и смешно — вот и все необходимые признаки...

Ну и верно, скажете вы, а как же иначе? Смешно? Юморист. Обличает? — Сатирик. Да, все, быть может, и было бы верно, если бы мы вводили определение жанра сегодня, беря отсчет от Михаила Жванецкого. Но определение введено давно и не нами, и отсчет взят совершенно с другого уровня. Разве Гоголь — сатирик? Разве Зоценко — юморист? Сегодня впервые после Гоголя и Зоценки Михаил Жванецкий возвращает юмору его главное (и просто решающее) качество, давно утраченное и забытое, чуть теплившееся разве что в лучших анекдотах. Он возвращает юмору т р а г е д и ю . Потому что подлинный юмор всегда трагичен по своей природе, он исходит из трагедии жизни и всегда в нее возвраща-

ется. Юмор, лишенный трагизма, — не юмор, а хохмачество и зубоскальство, то есть то, чем и занимаются все юмористы мира...

Обличение, носящее имя сатиры, согласно традиции жанра, предполагает конечную локализацию зла и потенциальную возможность его устранения, то есть снова игнорируют всеобщий трагизм существования. Можно возразить, например, что бывает юмор горький, а бывает светлый. Но это неправда. Светлый юмор всегда и горек, а горький — и светел. Он есть преодоленная горечь жизни, схваченная, понятая, преодоленная — но не обойденная и не забытая. И катарсис юмора есть катарсис трагедии, высокий очистительный разряд, не изменяющий жизни, не освобождающий от ее тягот, но дающий силы ее продолжать и в каком-то смысле с ней примиряющий. Здесь сквозной проход от высокого к низкому, насыщенная необходимость и польза — в самом дурацком и обывательском смысле, но удивительным образом сохраняющая черты исходного трагедийного взлета.

*(О Тимуре Кибирове)*

...В поэзии неважно, кто первый, а важно, кто — подлинный. Кто-то впервые употребил центон, кто-то первый — литературу как материал, но если оперировать только этими категориями, то всякий первый окажется не первым, а выяснится, что до него был Саша Черный, и Маяковский, и даже, может быть, Пушкин...

Время изобретений, изобретательства.

Трогательность в непременном упоминании в классических и бытовых рядах своих товарищей — иронически, дружески... В этом есть пушкинская теплота: "все те же мы..."

Зубоскалы ни в чем не виноваты. Ну, не больно им — вот и все. Им досадно, противно, смешно — они в своем праве. Но их стихи обречены на мимолетность: посмешат, пощекочут и испарятся.

(Кибирову)... не просто смешно — ему страшно. И ничто не безразлично.

Единение с такими, как Тимур.

Я всегда поражался — не скажу, нахальству, хотя, может быть, и подумаю, скажу — смелости тех, кто причисляет себя к авангарду. Откуда может знать человек, насколько он впереди и впереди чего?

Любопытная какая вещь. Когда пародируется Евтушенко, Вознесенский и даже Блок — пародируется действительность, условность, клише — но и в разной степени сами эти поэты. Когда пародируется Пушкин или Мандельштам — то только клише, условность и действительность.

Мне кажется, Пригов никого в этой жизни не любит. Это не мешает ему быть одним из самых сильных современных поэтов, но это мешает мне любить его. Он, впрочем, обойдется.

Я хотел сначала написать о двоих и даже название придумал "Пригов-и-Кибиров". Хорошее название, звучное, прочное, Пригов-и-Кибиров. Крепко-не-расцепишь. Но потом понял, что буду постоянно сравнивать и каждый раз — не в пользу Пригова, а этого я бы никак не хотел и это было бы объективно несправедливо, потому что Пригов — поэт замечательный, один из лучших на сегодня поэтов.

Пригов сказал новое слово. Пригов внес новую интонацию. Пригов, первый после обэриутов, решительно изменил семантику слова. Пригов повлиял на множество новых поэтов и еще будет оказывать влияние. Я думаю, я сказал достаточно (все это — чистая правда, без всякой иронии), чтобы не быть обвиненным в пренебрежении.

*(По поводу статьи Виктора Ерофеева "Поминки по советской литературе")*

Я думаю, Виктор Ерофеев сейчас очень весело потешается, наблюдая, как умные взрослые люди оспаривают

с детской серьезностью чуть ли не каждую фразу его статьи. Опытный и умелый критик, он-то знает, что статья его — несерьезная, нарочито, заведомо несерьезная, что швырнул он ее, как камень в болото или, скажем, в лужу, — чтобы круги, и брызги, и женский визг, и мужицкий мат... Он-то уж, конечно, понимал изначально, что все, что в этой статье верно, то очевидно, а что не вполне очевидно — не очень и верно. Верно то, что соцреализм использовал писателей, верно то, что писатели использовали соцреализм, но верно и то, что никакого соцреализма не было, что это всего лишь обобщенная похвала, разжалованная — сперва читателями, а теперь вот и критиками — в некое обобщенное ругательство. Так же, к примеру, как слово "советский"...

И, однако, я тоже не удержался, дернулся возразить, поспорить и даже выбрал для этой цели три основных, как показалось мне, пункта, обозначенных в статье Ерофеева тремя ключевыми словами: *Life after Life*, *misadventures* и еще — *rent-a-car*. Особенно *rent-a-car*! Потому что *Life after Life* (жизнь после жизни) — это, скажем, термин; *misadventures* — ну, допустим, непереводаемый, но нужный автору оборот (хотя что ж тут такого непереводаемого? "Неприятности, несчастья" — чего-чего, а таких-то слов в русском языке предостаточно!..); но *rent-a-car* (автомобиль-напрокат) — это уже просто ценз, это знак и пароль. А фраза такая: "Он (литератор в России — Ю.К.) нанимал стиль, как *rent-a-car*, лишь бы добраться до цели своего социального назначения". Лихо сказано! Тут можно много кататься на этом *саре*, но я бы для краткости задал всего лишь два вопроса. Первый: чей стиль нанимал литератор, едучи к социальной цели? Вопрос не к Виктору Ерофееву, он-то знает, конечно, что не бывает безличного стиля, что стиль, как талант, а талант — как деньги, говоря словами Шолом-Алейхема: или он есть — или его нет... Вопрос — к тому читателю-критику, кто примет всерьез изящную эту штуку, эту красивую заграничную штуку. И второй вопрос, связанный

с первым: кто именно из хороших русских писателей (о плохих говорить не имеет смысла) пользовался чьим-то, ему самому не свойственным стилем, чтобы достичь этой самой вне литературы расположенной цели?..

Но, подумав, я эти вопросы снимаю, поскольку ответы на них очевидны, и приветствую автора: молодец, Ерофеев, правильный выбрал повод и верный момент — только-только мы заскучали над нашей не слишком литературной "Литературной газетой" и если теперь не развеселимся, то хотя бы согреемся...

Нет, я не стану опровергать скептицизм Ерофеева, но не потому что во всем с ним согласен, просто скептицизм как ключ, как позиция слишком в наши дни соответствует состоянию дел и настрою душ. Он сегодня заведомо убедителен, и не так уж важно, какой изберем мы предмет... Замечу только, что разговор об эпохе невыносимых страданий вряд ли может быть разговором походя, видимо, все-таки он должен быть и автором — выстрадан, а иначе несоответствие тона предмету становится решающим аргументом против. Тут даже вопрос не морали, но чистой техники... Что делать, всякий труд имеет свою специфику, и некоторые виды литературных работ требуют не только усилий ума, но и траты обязательной души.

Но если скептицизм по отношению к прошлому нашей литературы объясним и понятен (насколько оправдан — другой вопрос), то никак не понятен оптимизм по отношению к будущему: на каком *настоющем* он может быть сегодня основан?

Новая проза, другая проза... Не тавтологичны ли эти названия? Разве всякая сильная проза, настоящая проза — не есть всегда — новая и непременно другая? А если старая и такая же, то может ли быть настоящей и сильной? И однако, поскольку есть название, значит, есть и явление, хотя, быть может, и не в полной мере этому названию соответствующее. Тут ведь, как в национальном вопросе — важно, не из какой семьи человек, а как он себя называет. Поэтому согласимся и примем: другая и

новая. Каковы же ее основные черты, основные отличия от "прежней и той"? Отсутствие всякой идейной направленности, отказ от выражения морали, от политического контекста, от социального фона...

Мне кажется, новая литература — это и есть в основном литература отсутствия. Отсутствуют в ней атрибуты и качества, которые считались самыми важными для старой, прежней, той литературы, и отсутствие это вполне очевидно и даже порой провозглашено, а вот наличие чего-то взамен — не очень ясно и даже сомнительно.

Что главное в этой цепи отсутствия? Прежде всего — отсутствие героя.

В "Розе мира" у Даниила Андреева среди разных, с Землей сопряженных пространств, есть и такое особое пространство, такая страна, где живут герои литературных произведений (он называет их "даймоны"). Так вот я думаю, что новая наша проза не увеличила населения этой страны ни на одну единицу, разве что туда для количества принимают статистов. Любопытно, что сверхсовременное направление, декларирующее крайний субъективизм, на деле действует в обобщенном пространстве, без конкретного, вот этого, легко узнаваемого, ото всех отличного, единственного в своем роде человека. За отказ от живого образа, от героя, от портрета в любой его форме — новая литература должна расплачиваться своим фактическим отсутствием в мире. Мир еще она отражает, но сама в него уже не возвращается и ничего не меняет в его составе. Да, действительно, есть в прежней, той, особенно русской литературе, такая, кому-то, может быть (неразборчиво. Приевшаяся?), мне лично безумно дорогая черта: внедрение в повседневную жизнь. Нет, не моралью, не поучением, не примером — героями. Россия будто всегда была той, населенной вымышленными людьми андреевской страны даймонов. Мы призывали жить среди персонажей, это скрашивало вечное наше одиночество и давало возможность хоть как-то ориентироваться в не слишком (понятном?) мире. Теперь

с этим как будто покончено. Прощайте, герои! Нет героя, но, может быть, есть автор как подлинный герой своего произведения? Но в том-то и дело, что и автора тоже нет. Демократично восстав против всякой дидактики, против любой несвободы в искусстве, в том числе и против несвободы читателя по отношению к диктату писателя, новые авторы стали отказываться от многих прежних оков и пут: от композиции, от конца и начала, от авторского отношения к людям и даже к событиям. Традиционную для той литературы функцию творца, демиурга, автор новой литературы с легким сердцем передает читателю. Вот вам контур, пунктир, общий смысл, а дальше — думайте сами, раскрасьте сами...

И тут наступает очередь еще одного, очень важного отсутствия: я имею в виду отсутствие любви к героям (которые, как мы уже говорили, отсутствуют), или, скажем, к действующим лицам, да и вообще, говоря по совести, к людям. Я имею в виду не умиление, не охи и ахи, не сердобольные причитания, не слюни и сопли. Любовь может быть и суровой, и даже жестокой, и ненавидящей. Но она не может быть холодной и равнодушной.

Ну, и конечно, добавит читатель, отсутствие социальной?

А вот этого бы я как раз не сказал. В стране, насквозь пронизанной полем социальных бед и несчастия, ни на собственном case, ни на rent-a-car, ни тем более на метро и автобусе от социальной никуда не уедешь. И, быть может, читательское мое восприятие не вполне совпадает с авторским намерением, но уж свобода так свобода, ничего не поделаешь... И в сценах каких-нибудь пьяных гонок или, скажем, групповой (не любви, конечно, другое слово...) на роскошных дачах видится мне не меньший социальный заказ, чем в некоторых чисто диссидентских текстах. И я бы еще добавил, что и гиперморализм, действительно, русской литературе свойственный.

Холодно, холодно в этих произведениях, пусто и холодно. И конечно, страшно, но не оттого, что страшна жизнь,



в них отраженная, а оттого, что в этой страшной жизни (которая, кстати, всегда страшна) больше не на что опереться и нечем утешиться, больше не с кем поговорить.

Автор или демонстрирует свое изделие, или разговаривает с читателем. Изделие в общем случае — вещь полезная и даже, может быть, необходимая, но разговор — органичная потребность души, без него человек существовать не может. Не может — однако же существует. Сегодня в новой литературе господствует изделие. Рынок изделий. Это, можно сказать, одно из наличий, призванных компенсировать все отсутствия. Что еще кроме этого? Видимо, смелость. Можно ведь и отсутствие страха расценить в положительном смысле, как наличие смелости. (Хотя ясно, что не всегда эта формула работает, что, к примеру, отсутствие страха Божьего смелостью все же не назовешь...). Раскованность, снятие любых табу, мат, эротика, физиология... Что касается мата, то вольному воля, бывает к месту, бывает не к месту, но не думаю, что употребление слов, которые у каждого на уме и почти у каждого на языке и которые в прошлом другие авторы не считали нужным или возможным использовать, — можно всерьез считать смелостью или, скажем, каким-то творческим актом.

Ну, а эротика — это уж просто смех. Кустарность всех эротических сцен в современной нашей литературе просто поразительна. Кустарность, вымученность, какая-то подростковая самодеятельность... Вспомнишь, что писал то взрослый дядя (или даже тетя...) — и становится смешно и неловко. Да еще ведь — российская наша претензия на какой-то особый глубокий смысл, на какую-то чуть ли не метафизику... Будто так: чем ближе к телу, тем ближе к душе — принцип, прямо скажем, слишком механистичный, чтобы быть истинным. Нет, здесь все-таки тоже — скорее отсутствие, и даже наличие голых тел мужчин и женщин выступает как отсутствие на них одежды...

Литература должна быть литературой и ничем больше. Что это значит? Если то, что она должна всегда оставаться искусством, — то кто же против? Но если речь идет о направленности, о допустимом круге предметов, то тут уже наоборот — кто согласится?

Сегодня нам предлагают литературу, наличествующую в мире лишь как изделие и отсутствующую как разговор с читателем... Я знаю, без меня найдутся желающие, но так иди иначе, я лично отказываюсь. Я уж лучше подожду другой-другой и новой-новой литературы. Даст Бог, мы и до нее доживем — если, конечно, вообще выживем...

На что же нам сегодня надеяться? И чего нам ждать? "Спросишь ты: "А ваше кредо?" Наше кредо до сих пор — "Задуманная беседа", развеселый разговор!"\* Действительно, послала же нам судьба такой подарок — Тимура Кибирова (спасибо Александру Архангельскому за теплые и точные о нем слова\*\*,.. Дождались, до поэта все-таки дожили — даст Бог, еще доживем до прозаика. Если, конечно, вообще выживем... Но уж это, и верно, вопрос целиком социальный, и не нам, литераторам, его решать. Вот только кому?

*Публикацию подготовил  
Сергей Костырко*

\*Строки из поэмы Тимура Кибирова "Послание Л.С. Рубинштейну".

\*\*Александр Архангельский. Грядущим гуннам. — "Литературная газета", 18 сентября 1990.

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О САМОМ СЕБЕ

Одних Бог награждает деньгами, других чувством юмора. Божьей волей я оказался в обществе последних, и в этом смысле мне повезло дважды, ибо я родился в Одессе, чем и отличаюсь от большинства своих коллег по перу. Часть детства и юности я провел в Норильске, где мне как сыну врага народа повезло в третий раз, ибо я оказался в обществе самых культурных и порядочных людей страны. Окончив школу, вернулся в Одессу, где мне опять повезло: в студенческие годы я там подружился с Мишей Жванецким, который однажды заявил, что во мне тоже что-то есть, не в той, конечно, мере, как у него, но вполне достаточно, чтобы считаться истинным одесситом. Я поверил ему и написал эстрадную пьесу "Курс на весну". И здесь мне в очередной раз повезло, ибо она была принята к постановке студенческим театром "Парнас". Главную роль в этом спектакле играл молоденький Коля Губенко. После премьеры я из полученного мной гонорара отвалил ему 25 рублей на билет в Москву, куда он тут же уехал, чтобы позднее стать там Министром культуры. И это я считаю своим главным вкладом в Русскую культуру.

После этого я еще написал пару эстрадных спектаклей и капустников, несколько веселых телевизионных передач и детских мюзиклов, которые шли в различных театрах, а один даже в Московском театре на Малой Бронной, музыку к которому сочинил известный теперь композитор Рыбников. Но я твердо убежден, что мой вклад в советское искусство не явился той критической массой, которая привела к будущему развалу страны.

Стараясь найти общие интересы с моей женой — актрисой Мосфильма Ниной Магор, я поступил на работу на Киностудию им. Горького, где мне опять же, в который уже раз повезло и я попал в группу Кулиджанова, снимавшего пятисерийный фильм о Карле Марксе. Познакомившись ближе с марксизмом, я тут же подал заявление в ОВИР и последние 15 лет живу с семьей в Лос-Анджелесе, где веду жизнь благопристойного буржуа: купил дом с бассейном, мало пью и пишу для газеты "Панорама" фельетоны, почти весь гонорар от которых проигрываю на бирже. А все, что остается, трачу на ремонт крыши и покупку лотерейных билетов. Но здесь мне впервые в жизни везение категорически изменило. Хотя, в общем и целом, я считаю себя очень везучим.

*Алекс Борисов*



*Алекс БОРИСОВ*

## "ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ ОБЛОНСКИХ"

*Фельетон*

Когда-то в молодости я учился в Одесском Технологическом Институте Холодильной Промышленности, который одесситы попросту называли Консервным. Надо сказать, что в те далекие годы все одесские институты соревновались между собой не своими достижениями на ниве просвещения или науки, а своей художественной самодеятельностью и спортивными успехами. Например, Одесский институт Инженеров Морского Флота был знаменит тем, что в нем учились Михаил Жванецкий и Виктор Ильченко, Мукомольный институт — тем, что его студентом был лучший защитник сборной СССР по волейболу Жора Мондзалецкий, и если бы не Ефим Геллер, который до того как стать шахматным гроссмейстером, был прекрасным баскетболистом, то никто бы и не знал, что в Одессе существует университет имени И. Мечникова.

Наш институт, например, славился лучшей в городе самодеятельностью и прекрасным эстрадным оркестром, и поэтому на наши вечера попасть было куда труднее, чем

на концерты необычайно популярных в те годы эстрадных звезд Шурова и Рыкунина, или Тарапуньки и Штепселя.

Подобное положение поощрялось администрацией института, ибо имело глубокий смысл. Чем популярнее был институт, тем меньше было хлопот с набором студентов, и тем выше были ставки взяток за поступление. Например, когда начался период эмиграции и стало известно, что в Америке выше всего ценится профессия врача, популярность одесского медицинского института побила все рекорды, и взятки за поступление в него достигли космических цифр.

Как известно, в те годы существовали процентные нормы приема в высшие учебные заведения для различных категорий абитуриентов. Специальная норма, например, была установлена для национальных меньшинств, или, как их кратко называли, нацменов. К ним относились грузины, армяне, чеченцы и другие кавказские народности, а также представители среднеазиатских республик, которых наш институтский комсорг, кстати, внешне очень похожий на молодого Горбачева, обозначал одним словом "чучмекки" — по его мнению, они все были на одно лицо. В особую группу были выделены евреи. И хотя норма для них была самой низкой, что-то порядка одного процента, то не знаю, как в других городах нашей родины, но в Одессе она никогда не соблюдалась, во-первых, по указанной мной выше причине охоты за талантами, среди которых одесские евреи занимали не последнее место, а, во-вторых, из-за повального взяточничества. Ибо когда дело пахнет деньгами, то какой дурак будет думать о процентах, спущенных каким-то партийным дундуком из Киева.

В нашем институте было три факультета. На самый престижный — Холодильный — принимали исключительно за взятки и медалистов, а из лиц не еврейской национальности — только по большому благу, в основном, детей и родственников партийной номенклатуры, руководителей КГБ и Командования Одесским военным округом. На технологическом факультете обучали виноделию и консервированию и потому туда принимали студентов из колхозников, бездарей по комсомольским путевкам, нацменов и посланцев из нищих соцстран, главным образом, болгар и албанцев. Встречались среди них и китайцы, но после того, как Хрущев пришел к власти и сразу же испортил отношения с Мао, как он портил все, к чему прикасался, китайцы начали полностью игнорировать наш институт, хотя одесский климат их вполне устраивал.

Однажды на этом факультете произошло ЧП. Кто-то поздно вечером проник в лабораторию кафедры вино-

делия и выпил все вино, которое с научной целью выставалось в бутылках в течение нескольких лет, начисто угробив тем самым три кандидатские и одну докторскую диссертацию.

Сначала подозрение пало на двух узбеков, которые почти не понимали по-русски и потому на все задаваемые вопросы согласно кивали головами. Ко всем бедам они еще и не состояли в комсомоле и отказывались в него вступать. Их было уже решили исключить из института, как вдруг пришло письмо из их родного кишлака, все жители которого, будучи знатными хлопкоробами и героями соцтруда, поручались за молодых узбеков, утверждая, что те за всю свою жизнь никаких напитков, кроме верблюжьего молока, в рот не брали.

Тогда доцент, у которого лопнула докторская, распустил слух о том, что вино в одной из опустошенных бутылок содержало сильный яд, и если срочно не принять медицинские меры, то выпивший его через две недели умрет в страшных муках. Это был хитроумный ход конем. Уже на следующий день в дирекцию позвонили из ближайшей больницы с просьбой сообщить, какой именно яд выпили два студента, явившиеся к ним с мольбой о помощи. Один оказался комсоргом группы, а второй профоргом, и оба приехали по комсомольским путевкам из Днепропетровска.

Перед узбеками извинились и объяснили, что если бы они были комсомольцами, то на них никогда бы не пало подозрение.

Всех остальных абитуриентов, не попавших на первые два факультета, но зато обладавших артистическими, музыкальными и литературными способностями, а также спортивными талантами, механически зачисляли на третий факультет, который, вероятно, потому так и назывался — механическим.

Со мной на этом факультете учились будущие кино-сценаристы, журналисты, актеры, конференсье, солисты оперных театров, симфонических и эстрадных оркестров и даже один будущий лауреат международного конкурса скрипачей. Интересно, что я единственный из нашей группы, кто женился на драматической актрисе и живу с ней до сих пор. Те же, кто женились на балеринах, вынуждены были впоследствии менять жен по нескольку раз и, что самое неприятное, содержать до самого совершеннолетия детей от каждого брака. Один тенор так в этом отношении преуспел, что ему не оставалось ничего другого, как, спасаясь от разорения, эмигрировать в Австралию, где он женился на местной аборигенке, которая тут же родила ему тройню.

Группа, в которой я учился, была воистину многонациональна. Я, который провел свое детство и юность в Норильске, где среди жертв сталинских репрессий были люди всех рас, сословий и наречий, с детства был воспитан в духе интернационализма и всех людей, вне зависимости от цвета кожи и национальной принадлежности, делил только на две категории: вохровцев и всех остальных. Например, с первого дня поступления в институт я очень сдружился с армянином Эдуардом Мелик-Мурадяном, прекрасным трубачом, который, по общему мнению всех наших студентов, исполнял "Караван в пустыне" Дюка Эллингтона лучше самого Эдди Рознера. После окончания института Эдику подыскивали должность младшего научного сотрудника на кафедре виноделия, чтобы он продолжал руководить институтским эстрадным оркестром.

Еще со школьной скамьи я был дружен с Генкой Исахановым, азербайджанцем, обладавшим прекрасным басом и ставшим впоследствии солистом Ташкентского оперного театра и Заслуженным артистом Республики. А наша отличница Дина Тумаркина, будучи еврейкой, наоборот, в будущем стала ведущей актрисой Бакинского драмтеатра и, получив звание Народной Артистки Азербайджана, вскоре уехала в Израиль. С нами учились два веселых и неразлучных сухумца — Джелия и Какуберия, которые, став затем руководителями винодельческой промышленности в Аджарии, принимали с неопишуемой грузинской щедростью приезжавших отдохнуть в Сухуми своих бывших сокурсников.

Я очень близко дружил с нашим институтским конферансье и куплетистом, абсолютно русским парнем Володи Креминским. Писал для него эстрадные куплеты на животрепещущие темы, рефрен к которым мы взяли из репертуара одесской эстрады 20-х годов: "А Вова все танцует, танцует, танцует. А Вова все танцует то шимми, то фокстрот. А Вова все танцует и в ус себе не дует. Спасите человека, а то он пропадет." Повторяя этот неизменный рефрен после каждого куплета, Володя, не меняя выражение лица, сопровождал его всегда одним и тем же причудливым танцевальным па, что обычно вызывало гомерический хохот в зале.

Он был высоким, красивым парнем, к которому внешний вид и актерские данные перешли непосредственно от родителей. Отец его Николай Креминский слыл популярным одесским конферансье. В молодости он был самым известным одесским футболистом по кличке Колька-жлоб, ибо принадлежал к тому типу одесситов, которые, по яркому замечанию Бабеля, даже среди одесских биндюж-

ников считались грубиянами. Встречался он с самыми красивыми женщинами Одессы, меняя их как перчатки. Однажды в ресторане гостиницы "Лондонская" во время кутежа по случаю очередной футбольной победы он поспорил на крупную сумму, что в Одессе нет женщины, красивей его последней пассии. Одесские репортеры, соблазвившись крупным кушем, неделю рыскали по всему городу и таки где-то выискали молодую женщину необыкновенной красоты из очень интеллигентной одесской семьи. Они представили ее Кольке-жлобу, и тот, увидев ее и совершенно остолбенев от ее красоты, одолжил где-то деньги и честно выложил положенную сумму. А еще через пару месяцев на Одессу, как удар молнии, обрушилась новость, что Колька-жлоб женится, бросает футбол и переходит в артисты. Сначала в эту новость никто не поверил, но она оказалась правдой. Будучи красавцем от природы, по-одесски остроумным и обладая приятным голосом, он вскоре после женитьбы действительно забросил футбол, перешел на сцену и вскоре стал одним из самых популярных в Одессе эстрадных актеров. Когда я познакомился с супругами, они были уже людьми не первой молодости. Вера Николаевна, однако, все еще сохраняла черты былой прелести, а Николай Петрович оказался очень мягким и интеллигентным человеком, и я никак не мог понять, отчего его когда-то прозвали Колька-жлоб. И хоть они были чистокровно русскими людьми, я никогда не ощущал с их стороны надменного или пренебрежительного отношения к людям не русской национальности.

Кстати, живя в прежнем Советском Союзе, в Одессе, Риге, а затем в Москве, я служил на киностудии им. Горького и много путешествовал по стране. При этом я обратил внимание, что российские антисемиты, особенно в кругах комсомольских вожаков, ко всем не русским народам относились, как правило, не менее презрительно, чем к евреям. Если евреев они называли жидами, то украинцев — хохлами, кавказцев — чурками, азиатов — чучмеками, якутов — чукчами, молдаван — цыганами, а всех прибалтов — немчурой проклятой. Украинские антисемиты тоже недалеко ушли от русских юдофобов, переняв у них весь их богатый лексикон, с той только разницей, что если старшие братья славяне ласково обзывали младших хохлами, то младшие били старших тем же концом по тому же месту, обзывая их презрительно москалями.

Существовало неписаное правило, по которому в республиках, особенно среднеазиатских, руководителями предприятий назначались представители национальных

кадров, но зато главные инженеры уж обязательно должны были быть русскими, а за неимением последних — евреями. Та же самая система (но, конечно, без евреев) существовала и в партийных органах на всех уровнях: первые секретари подбирались среди национальных мерзавцев, а вторыми назначались тоже мерзавцы, но обязательно русские. Так, на всякий случай, чтобы не спускать глаз с нацменов. Нацмены это понимали, глубоко прятали обиду, но выражать открыто свои чувства к старшему брату не решались, ибо знали, что рука у старшего брата железная — чуть что, так тяпнет по голове, что потом до конца жизни всю зарплату придется тратить на лекарства.

Я уехал из Москвы 15 лет назад. С тех пор много воды утекло. Перестройка, Горбачев, Ельцин, СНГ и два путча. Одна мощная держава развалилась на 15 нищих стран. Если бы сегодня был жив товарищ Сталин, он бы, вероятно, выступая по радио, сказал бы со своим легким грузинским акцентом: "Дорогие товарищи! Жить стало тяжелее, жить стало грустнее, и ничего хорошего в ближайшем будущем не предвидится."

Что совершенно не изменилось за эти годы, так это нерушимая дружба и взаимная любовь народов друг к другу. С той только разницей, что в 14-и отколовшихся странах русские превратились в национальные меньшинства, или сокращенно, нацменов.

Недавно я встретился в доме знакомых с одним таджиком из бывших комсомольских вожаков, который, превратившись в демократа, прилетел в Америку на какую-то международную конференцию и заехал в Лос-Анджелес повидаться с прежними друзьями. Выпили, закусили и разговорились. Я его спросил, как ему нравится жизнь в независимом и свободном Таджикистане. Он ответил, что полной независимости они еще не обрели и окончательная свобода наступит только после того, как последний нацмен покинет их страну. Я, грешным делом, подумал, что он имеет в виду туркмен и узбеков, проживающих на территории Таджикистана. "Нет, — сказал он, — они нам пока не мешают, с ними мы решим вопрос позднее. Я имею в виду русских, которые все еще проживают в нашей стране. И чем скорей мы от них избавимся, тем лучше будет для них и для нас. Мы бы давно решили этот вопрос, если бы ваши американские демократы не давили на нас со своими правами человека. Раньше, когда мы были нацменами, вы на Россию не давили, а теперь, когда мы поменялись местами и нацменами стали они, вы на нас давите", — сказал он обиженно.

"Во-первых, — твердо заявил я, стараясь с самого начала расставить все точки над *i*, — я лично не демократ

и никогда им не был. И за те 15 лет, что живу в Америке, ни разу на таджикский народ не давил, ни физически, ни морально. Ибо считаю, что проблему прав человека таджикские товарищи должны решать самостоятельно в полном соответствии с их пониманием этих прав. Если же таджикские товарищи чего-то недопонимают, то я не вижу ничего страшного в том, что американцы, которые имеют в этом деле кое-какой опыт, им кое-что подскажут и посоветуют. Тем более, что, если я не ошибаюсь, не Америка обратилась к Таджикистану за экономической помощью, а, как раз наоборот, Таджикистан к Америке. Хотя если президент Клинтон и демократы останутся у власти еще несколько лет, то вполне вероятно, что ситуация может измениться на 180 градусов. И тогда, конечно, таджикские демократы получат полное моральное право кое-что подсказывать и давать советы своим американским коллегам." "Кстати, — полюбопытствовал я, — если бы не давила Америка, как бы вы избавились от своих нацменов? Напустили бы на них янычаров с ятаганями, или как?" "Ну, почему обязательно янычаров, — спокойно ответил он. — Мы же не какие-то там азербайджанцы, которые с этой целью начали в Баку вырезать армян. Во-первых, у нас в Таджикистане сейчас демократия, а, во-вторых, мы, таджики, цивилизованный народ и можем решить эту проблему более цивилизованным способом." "Что же это за такой способ?", — не успокаивался я. "А очень простой! — ответил он. — Надо полностью прекратить принимать их на работу, как нас когда-то не принимали в Москве, и они добровольно, безо всяких янычаров, покинут нашу страну. Не помирать же им с голоду!"

Гениальная идея! — подумал я. И так как все гениальное — просто, как некогда заметил кто-то из древних, то, естественно, что та же идея однажды пришла в голову демократам и у нас в Лос-Анджелесе. Ибо современные демократы — все одинаковы, на какой бы части суши они ни обитали, и очень восприимчивы к любым прогрессивным идеям. И так как таджикские демократы не оказывали на наших никакого давления, то те тут же начали эту идею претворять в жизнь.

Судите сами. Демократическая администрация нашего предыдущего черного мэра Бредли, которого после 20-ти лет его демократического правления сытые им по горло избиратели, наконец, спровадили на пенсию, заменив его белым республиканцем Риорданом, решила в свое время установить, в соответствии со своим демократическим пониманием прав человека, процентные нормы приема белых американцев на государственную службу. Речь шла, в частности, о Пожарном и Полицейском управлении

нашего города. Логика вроде бы простая. Например, сегодня среди населения Лос-Анджелеса латино-американцы составляют 45%, черные, или, как они себя сейчас интеллигентно называют, афро-американцы — 8%. Вместе их уже 53%. А если еще к этому прибавить 3% выходцев из азиатских стран, то белые американцы, даже включая нас, русских иммигрантов, оказались в явном меньшинстве, т.е. неожиданно для себя превратились в своей собственной стране в нацменов. И поэтому наш предыдущий умный мэр, будучи истинным демократом и согласовав все вопросы с самым демократическим в мире Министерством Юстиции в Вашингтоне, издал постановление, согласно которому расовый состав служащих в вышеуказанных Управлениях должен соответствовать расовому составу населения города. И так как среди наших полицейских белых что-то около 70%, а среди пожарников 67%, то теперь белых американцев не то что на подобную работу больше не берут, но даже и заявлений о приеме от них не принимают.

Надо отметить, что полицейских и пожарников в Америке набирают не с улицы, а только после окончания соответствующих Академий. В Академии же эти принимают абитуриентов, окончивших среднюю школу только на "хорошо" и "отлично", то есть освоивших таблицу умножения, а также умеющих еще складывать и вычитать, правда, с помощью электронного калькулятора. В Академиях же их обучают, кроме основной специальности, еще и психологии и даже основам медицины, вплоть до умения принимать роды. И так как в нашем городе латино- и афро-американцы часто бросают школу после 4-го класса и продолжают свое образование уже на улицах, торгуя наркотиками, грабя прохожих, убивая полицейских и поджигая дома, то среди выпускников этих Академий процент их весьма мал.

В результате создалась ситуация, при которой сегодня в Пожарном и Полицейском Управлениях нечем заполнять вакантные места. В этом году, например, из 5000 белых американцев, пожелавших принять участие в сдаче экзаменов на право стать городским пожарником, ни одного из них не только не допустили к экзаменам, но даже и заявлений от них не приняли. Поэтому при последних массовых поджогах в нашем городе, власти вынуждены были призвать на помощь пожарных из других городов Калифорнии. Пока те примчались под рев сирен на своих сияющих никелем и новенькой краской пожарных машинах, уже все сгорело и нечего было тушить. И так как на улицах не хватает полицейских (которых, как я уже упоминал, молодые латино- и афро-американцы систематически

отстреливают), то процент преступности в Лос-Анджелесе стабильно продолжает расти и уже приближается к московскому уровню.

А в то же время профессиональные полицейские и пожарники начали постепенно покидать наш город. "Не умирать же им с голоду!" — как резонно заметил мой таджикский собеседник.

И тут я, грешным делом, подумал: может, я зря погорячился и, как танк, попер на бедного таджика, ибо еще неизвестно, кто у кого должен перенимать опыт борьбы за права человека. И, может, наши демократы не сами догадались, а просто выкрали у своих таджикских коллег эту гениальную идею решения проблемы нацменов, которыми в нынешних 14-ти странах СНГ оказались русские.

Впрочем, в отличие от брошенных на произвол судьбы американцев, у русских имеется теперь свой защитник, гремевший по всему миру лидер либерально-демократической партии Владимир Вольфович Жириновский, которому приходится бороться на два фронта: с одной стороны — защищать в 14 странах СНГ русские меньшинства, а с другой — защищать самого себя от клеветы и наговоров политических недругов, будто он никакой не Жириновский, а Владимир Вольфович Эйдельштейн, сын гражданина Вольфа Исааковича Эйдельштейна. На что не идут враги в своем желании обезглавить русский народ!

Во всем прочем Владимира Вольфовича можно было бы считать джентльменом, приятным во всех отношениях, если бы не питал он слабости к идеологии Адольфа Гитлера, уничтожившего 6 миллионов евреев, и, во-вторых, слабость к потасовкам в Государственной Думе, во время которых он почему-то обожает бить головой об стену своих вчерашних коллег по партии. Как говорится, слаб человек! Другое дело — поймут ли русские на то, чтобы верить свою судьбу джентльмену, столь приятному во всех отношениях? Но оставим до поры до времени тему русских нацменов. Тем более, проблема-то имеет международный характер, ибо подобная тенденция прослеживается везде, где современные демократы приходят к власти. А если кто-нибудь из них оказывается недостаточно демократичным, то все остальные набрасываются на такого недоумка и начинают ему выкручивать руки и давить до тех пор, пока не выдавят из него последнюю каплю оппортунизма. Хорошо известный пример этому Южная Африка, обвиняемая много лет подряд в апартеиде. Выходцы из Европы, главным образом буры, которые сейчас там называются "африканерс", своим трудом и талантом превратили эту страну в жемчужину африканского континента, благодаря которой окружающие афри-

канские страны смогли и для себя создать более или менее человеческие условия, но для них не существует процентной нормы при поступлении в университеты. А Нельсон Мандела, кстати говоря, окончивший юридический факультет местного университета еще 30 лет назад и посаженный в тюрьму за участие в убийстве своих политических соперников, отсиживал свой срок не в Матросской Тишине и не в Петропавловском Централле, а в отдельном двухкомнатном коттедже с туалетом, душем, библиотекой и пишущей машинкой, на которой он строчил антиправительственные статьи для газеты коммунистической партии. А чтобы он не слишком маялся от тоски, его жена Винни получила право навещать его раз в неделю, причем с ночевкой. Вот такой там был апартеид.

Так вот, шибко демократические страны во главе с Америкой навалились на маленькую Южную Африку, объявили ей экономический и политический бойкот. И давили до тех пор, пока не выдавили из демократического правительства Де Клерка конституцию, согласно которой белые того и гляди в собственной стране превратятся в нацменов. И так как они опасаются, что вскоре окажутся без работы (ибо их ожидает судьба белых в Лос-Анджелесе или русских в странах СНГ), они уже сегодня пакуют чемоданы и срываются тысячами куда глаза глядят, например, в Новую Зеландию, где ситуация пока еще более или менее терпима. Но я лично боюсь, что ненадолго. Ибо кто нам мешает дружно навалиться всем скопом на Новую Зеландию? Чем она лучше Южной Африки?

Когда я принялся за это эссе, то долго не мог придумать первую строчку. Уже весь план выстроился в голове, все было готово, а с первой строчкой — полный завал! Типичная проблема у писателей моего калибра. И вот в ночь с субботы на воскресенье, после скромного ужина в русском ресторане, в голову пришла гениальная фраза. Я мгновенно проснулся, бросился к своему компьютеру и, чтобы не забыть, заложил ее в компьютерную память, так как на свою уже давно не надеюсь.

А утром, снова сев за компьютер и обнаружив, что я там ночью спросонья записал, вдруг с удивлением подумал, что задолго до меня точно такая же фраза, причем слово в слово, тоже однажды пришла в голову одному известному писателю и он с нее начал свой очередной роман.

Страшно испугавшись, что меня могут обвинить в плагиате, я решил вынести эту фразу в название. И, чтобы окончательно обезопасить себя от возможных упреков, взял и заключил ее в кавычки.

*Лос Анжелес*

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

## ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н.М.Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

**В книге 320 страниц, цена книги — \$16. Заказы и чеки направлять по адресу:**

**Time and We, 409 Highwood Avenue, Lednia, N.J. 07605**



**Борис Мессерер и Белла Ахмадулина  
в интерьере мастерской**

## ДОМ НА ПОВАРСКОЙ И ЕГО ХОЗЯИН

"Вдохновенно и любовно Борис соорудил в семидесятые годы декорации своей жизни. Чердак совмещал в себе идеи мастерской, жилья и непрекращающегося театра. Значение его в жизни артистической Москвы можно сравнить со значением "Бродячей собаки" в жизни предкатастрофного Петербурга... Пойти к "Боре и Белле" означало для многих участие в театре богемы и вольной мысли." Так писал о Мессерере и его чердаке на Поварской Василий Аксенов.

"...Был дом на Поварской (теперь зовут иначе)... День-деньской, ночь напролет я влюблена была — в кого? во что? В тот дом на Поварской, в пространство, что зовется мастерской художника. Художника дела влекли в наружу, в стужу. Я ждала его шагов. Смеркался день в окне. Потом я вспомню, что казался мне Труд ожиданья целью бытия..."

Эти строки посвящает Мессерере Белла Ахмадулина. А вот что писал поэт Юрий Кублановский:



... Тускнеющий, что складень,  
бесцельно суетной, набегавшийся за день  
бессмысленно лежу, порой, в своей норе.  
Но даже и тогда — на жиденькой заре  
целительно живет таинственная вера  
в способности и кисть маэстро Мессерера...

Однако каков же на самом деле художник Мессерер? Журналист Андрей Мальгин в журнале "Обозреватель" назвал его "Королем Богемы". Перечислив его многочисленные регалии — главный художник МХАТа, член-корреспондент Академии художеств России, лауреат, председатель и прочее, он подробно живописует клан Мессереров. Оказывается, отец Бориса Асаф Михайлович — знаменитый танцор, балетмейстер, а затем и руководитель Большого театра отбил у Маяковского звезду немого кино Анэль Судкевич, от брака с которой и родился будущий художник.

Сестра Асафа — Суламифь — звезда балета и некогда его партнерша, в 1972 году вместе с сыном Мишей, солистом Большого театра, убежала в Америку и сейчас работает в Лондонском королевском балете, а Миша руководит Стокгольмским балетом. Сын Бориса Мессерер Александр, закончив Полиграфический институт, стал художником, его мать — солистка Большого театра Нина Чистова, мачеха — Белла Ахмадулина. Среди друзей Мессерера мы находим Георгия Владимова, Войновича, Максимова, Битова, Искандера, Родиона Щедрина... На этом остановимся: понадобились бы тома, чтобы познакомить читателей с мессереровским кланом и его окружением. Сейчас я о другом: о художнике Мессерере как о мастере, о его месте и роли в современном искусстве. В двух словах об этом можно сказать так: именно Мессерер в своем необыкновенно многогранном творчестве реализовал европейскую мечту о синтезе искусств.

В течение всей жизни им двигало стремление к универсальности. Начав со сценографии и дизайна, он стал осваивать технику монументальной живописи, станковой и книжной графики, обратился к объемной пластике и инсталляции.

По словам Славы Лена, Борис Мессерер стал одним из создателей нового типа искусства — Ре-Цептуализма, для которого главными были принципы универсальности художника, синтеза искусств, принцип экзистенциальности и тотальности искусства, но главное то, что Ре-Цептуализм — это искусство, как пишет Слава Лен, второй рефлексии. Рефлексия, не имеющая собственных форм, становится вместе с реалиями быта равноправным материалом искусства.

Дом на Поварской и стал реальным воплощением новой концепции. Это был вещественный постоянно действующий музей, в котором, по словам того же Славы Лена, художественный процесс не просто внедрялся в быт, но замещал его. Мессерер создал, вырастил, выстрадал инсталляцию Дома для того, чтобы жить в мире искусства, слиться с ним, стать частью его.

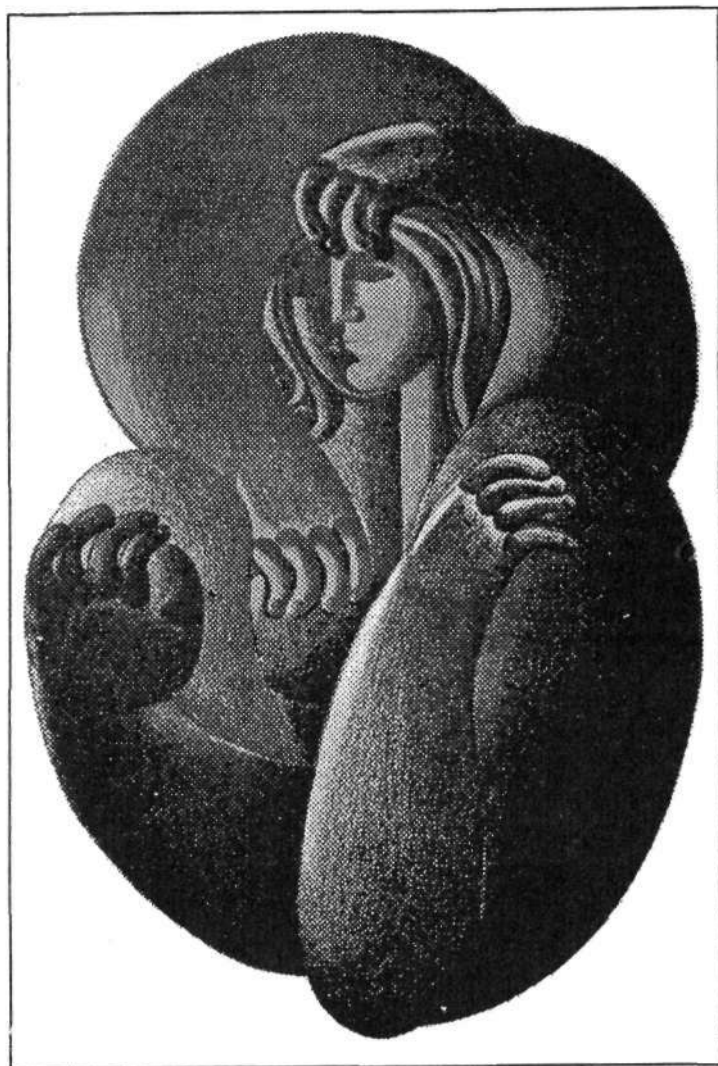
Но мировую славу художнику принес прежде всего театр. Говорят, что когда на премьере балета Прокофьева "Подпоручик Кижэ", оформленного Борисом Мессерером, в Большом театре упал занавес, Тышлер сказал: "Родился новый художник".

Триумфом Мессерера стала "Пиковая дама" Чайковского в Лейпцигской опере, когда художник одновременно выступает как архитектор, инсталлятор и график.

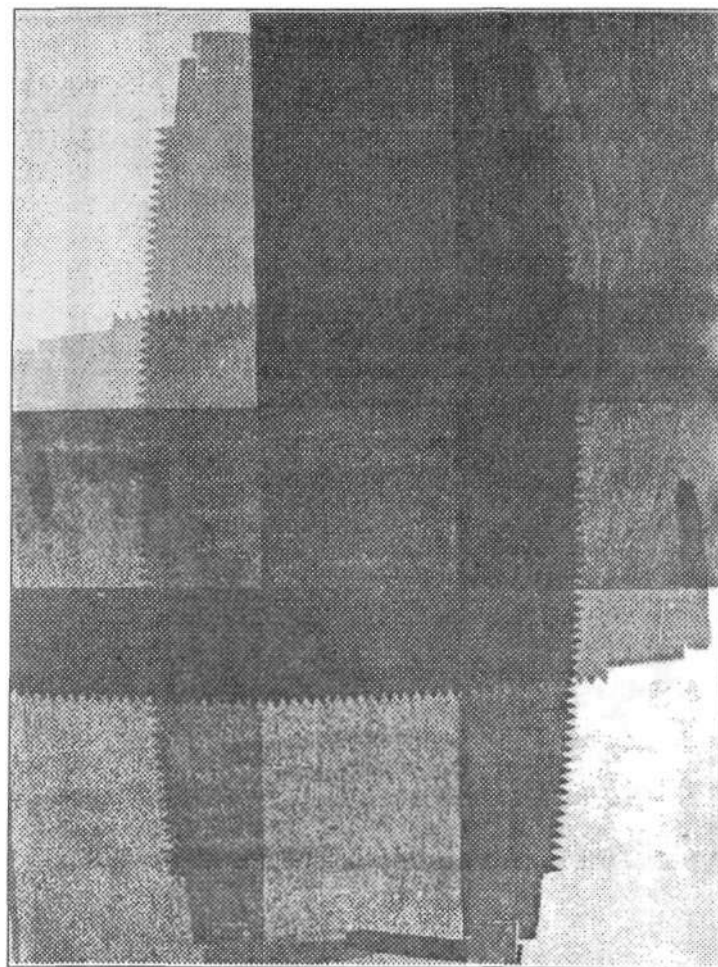
Борис Мессерер оформил более ста спектаклей, которые с блеском обошли Европу, Америку, Японию — и везде ощущалась эта его холистическая устремленность к синтезу искусств.

А все пошло из Дома на Поварской, 20, с описания которого я начал это эссе. Все началось — как музей, как хэппенинг, как живое слияние искусства и жизни. В этом Доме все продолжается и сегодня — поиск, игра фантазии, стремление иначе увидеть мир. Называйте это, как хотите — искание новых форм, рождение нового языка, второй рефлексией — суть происходящего от этого не изменится: рождается на наших глазах воистину новое искусство.

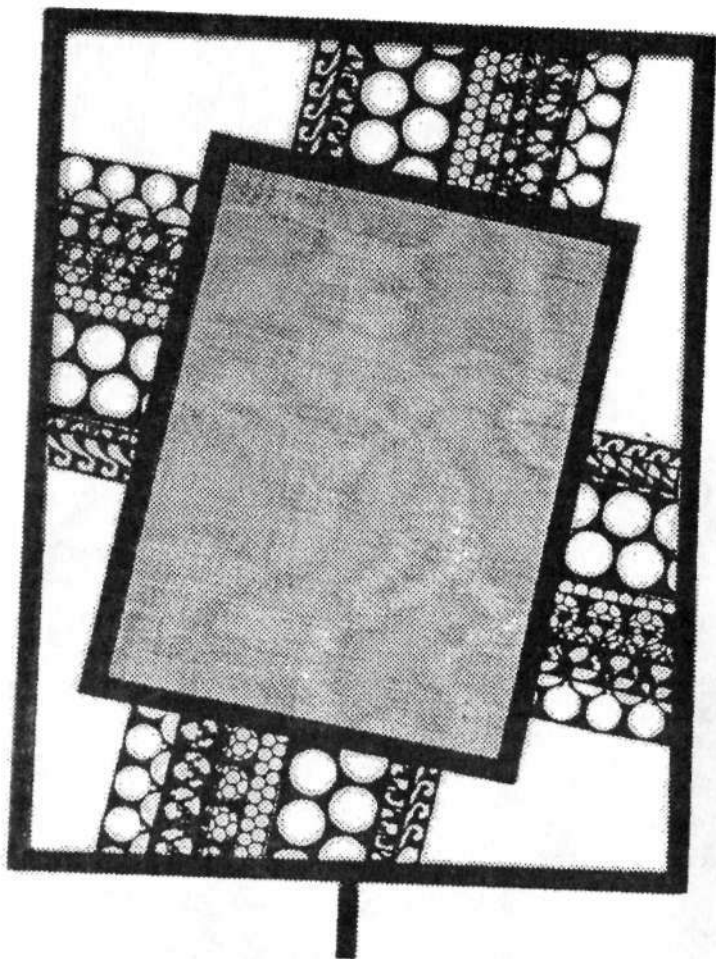
*В. Петровский*



Объятие



Композиция №6 с пилами



Металлическая пластика.  
Композиция номер один



Танцы в стиле ретро.  
Канкан III

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ



Романс

**ИННА ЛЕСОВАЯ.** Родилась в 1947 году в Киеве. Окончила факультет графики Московского полиграфического института. В 1975 году вступила в Союз художников. Занимается графикой разработки моделей кукол. Периодически публикуется в журнале "Время и мы".

**ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ.** Родилась в 1943 году. По образованию генетик. Печатается в "Новом мире" и других журналах. Вышло два сборника прозы — во Франции и в Германии. Автор нескольких пьес и киносценариев.

**ИГОРЬ ЯРКЕВИЧ.** Родился в 1962 году. Окончил историко-архивный институт. Работал в архиве, сотрудником музея, был разнорабочим. Публикуется с 1986 года. Выступает во многих московских газетах и журналах. Рассказы Яркевича выходят на английском, немецком, испанском и других языках. В 1991 году вышел первый однотомник прозы.

**БОРИС ПИСЬМЕННЫЙ.** Родился в 1940 году в г. Речице в Белоруссии. По образованию инженер по системам контроля и управления и патентовед. Заведовал отделом зарубежного патентования в Институте Патентной Экспертизы. Переводил с иностранных языков. Печатался в журналах "Вокруг света" и "Спутник". Эмигрировал в США в 1981 году. В Америке работает консультантом в крупных страховых и финансовых компаниях.

**БЕЛЛА АХМАДУЛИНА.** Родилась в Москве в 1937 году. Начала публиковаться с 1955 года. В 1960 году окончила Литературный институт. Первая книга стихов "Струна" вышла в 1962 году. Затем другая книга — "Уроки музыки" (1964 г.). Всего опубликовано 10 поэтических книг ("Стихотворения", "Свеча", "Тайна", "Метель", "Сад" и др.). Переводилась и переводится на многие иностранные языки.

**ВЛАДИМИР ДРУК.** Родился в 1957 году в Москве. Окончил факультет психологии Педагогического института. Работал дворником, сторожем, электриком, журналистом, редактором, руководителем лит. объединения. Публиковаться начал с 1978 года. В 1991 году вышла книга для детей "Нарисованное яблоко". В 1992 году — сборник текстов "Коммутатор". В 1992 году создал первый в России Институт сновидений и виртуальных реальностей.

**ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ.** Родился в 1926 году. Окончил Киевский университет в 1949 году и Московский статистический институт в 1950 году. Работал в Новосибирском университете, затем в Институте социологических исследований в Москве. Эмигрировал в США в 1979 году. В настоящее время профессор Мичиганского университета. Постоянно выступал в американской печати. Автор многих книг и социологических исследований.

**ЛЕВ АННИНСКИЙ.** Родился в 1934 году в Ростове-на-Дону. В 1956 г. окончил филфак МГУ. Автор пятнадцати книг, среди которых "Ядро ореха" (1965), "Обрученный с идеей" (1971, 1986, 1988), "30-е – 70-е" (1978), "Лев Толстой и кинематограф" (1986), "Лесковское ожерелье" (1982-1988), "Локти и крылья" (1990) и мн. других.

**ВАЛЕРИЙ ЗОРЬКИН.** Родился в 1943 г., в Приморье. Закончил юрфак МГУ, доктор юридических наук, профессор. С 1967 г. работал преподавателем МГУ, затем — профессор Академии МВД (1979-86 гг.), профессор юридической заочной школы МВД (1986-01 гг.), с ноября 1991 г. по 1993 г. — председатель Конституционного Суда.

**ЕЛЕНА ДУБИНЕЦ.** Родилась в 1969 году. Окончила Московскую государственную консерваторию по кафедре истории и теории музыки. В настоящее время учится в аспирантуре. Постоянно публикуется в российской и зарубежной печати, является московским корреспондентом Парижского журнала "Пари Нью Мюзик Ревью", прошла специализацию по современной американской музыке в одном из колледжей Филадельфии.

**СЕРГЕЙ РАХЛИН.** Родился в 1943 году в г. Горьком. Закончил отделение журналистики Латвийского государственного университета. С 1967 года регулярно пишет о кино. Работал в отделе культуры рижской вечерней газеты "Ригас Балс", затем ответственным секретарем латвийского журнала "Кино". Автор сценариев нескольких телевизионных фильмов. В 1979 году эмигрировал в США. Закончил в Лос-Анжелесе аспирантуру Университета Южной Калифорнии, получил степень магистра искусств. В настоящее время живет в Лос-Анжелесе, работает художественным руководителем русскоязычной радиостанции КМНВ, ведет раздел кино в еженедельнике "Панорама". Аккредитован как кинокритик при Американской ассоциации кинопромышленности. В последние годы печатался в московских изданиях "Известия" и "Экран".

**АЛЕКСАНДР ЖУРБИН.** См. публикацию.

**А.НЮРНБЕРГ.** См. вступительную заметку и воспоминания.

**ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ.** Родился в 1938 г. в Москве, поэт, прозаик, эссеист. До 1988 г. публиковался только на Западе. В 1985 г. в Мюнхене вышла книга "Воскресение Маяковского". Первый сборник прозы в России "Тоска по дому" вышел в 1991 г. Летом 1992 года покончил с собой.

**АЛЕКС БОРИСОВ.** Читай "Несколько слов о самом себе".

*Р Е Ж И С С Е Р*



## Быстро. Надежно. Лично в руки soft & hardware

**Новый сервис от компании «Радом». Прямая продажа и доставка в офис нашим партнерам, клиентам и дилерам**

**программных продуктов**  
компаний: Microsoft, IBM, Lotus Development, Novell, Borland, Symantec, SCO, Corel, Aldus, Autodesk, WordPerfect, Computer Associates;

**компьютеров** .....IBM, Compaq;  
**копировальной техники** .....Ricoh;  
**принтеров** .....Epson;  
**дискет** .....3М;  
**периферии и аксессуаров к компьютерам.**

Для наших покупателей доставка бесплатно, ее надежно обеспечивают компания DHL и Главный центр специальной связи. Цена заказных товаров ниже, чем в рознице.

**Время ожидания посылки:**  
2-10 дней.\*

Компания «Радом» проводит рассылку на всей территории России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмени, Украины, Узбекистана. Гарантийное и сервисное обслуживание компьютеров и принтеров: **(095) 254-77-80.**

**Обращаясь к нам, Вы получите желаемое быстро и прямо в офис по цене ниже розничной.**

\*После получения от Вас заявки (факс или телеграмма-молния) мы выставим счет и отсылаем его Вам (факс или телеграмма-молния), после прихода денег на счет АО компании "Радом" мы отправляем посылку.

Звоните в «Радом»:  
Тел.: (095) 256-44-73,  
(095) 256-40-30.  
Факс: (095) 259-27-27.

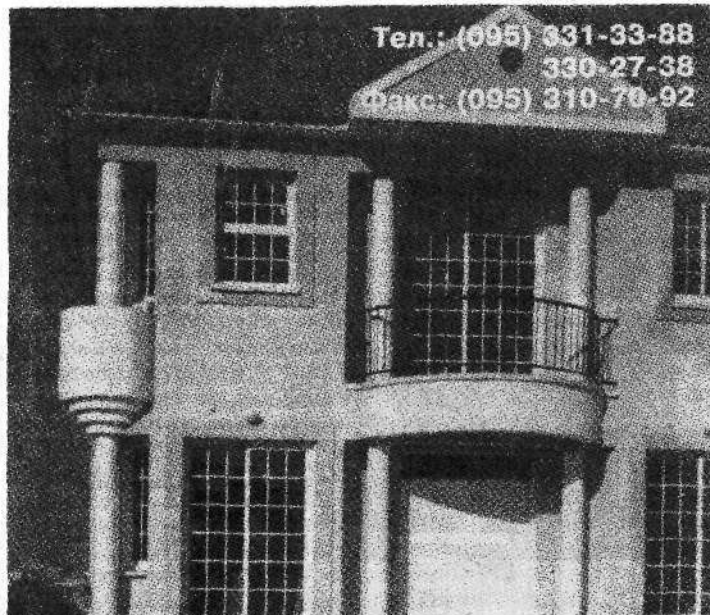
**Адрес:** 123022, Москва, Звенигородское шоссе, 9.  
**E-Mail:** POSTSALE@PT.PHYS.MSU.SU  
**Екатеринбург, "Радом-Восток",**  
тел.: (3432) 22-52-08.



Радом Р.А.



## РЕКЛАМА



Тел.: (095) 331-33-88  
330-27-38  
Факс: (095) 310-70-92

# ОСОБНЯКИ НА КИПРЕ

*Продажа без посредников, адвокатская поддержка,  
гарантия первоклассного английского банка.  
Гарантируем ипотечный кредит до 50%.  
Оформляем вид на жительство.*

РЕКЛАМА

## Совершенство самой природы



Согласованное сотрудничество между предпринимателем и банком является решающим фактором успеха.

Вы будете чувствовать себя более уверенно в бизнесе, если Ваше профессиональное мастерство дополняется квалификацией и опытом работы персонала выбранного Вами банка.

Теплую дружескую атмосферу, персонализированный подход и неформальное отношение Вы найдете в нашем Банке, одном из нескольких ведущих Российских банков.

 **Континент Банк**

Р Е К Л А М А

**МОРСКИЕ И АВИАЦИОННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ****UNITED TRANSPORT ASSOCIATES  
AEROFLOT CARGO SERVICE**

САМАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ  
С 15-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ ПО ОТПРАВКЕ И ПОЛУЧЕНИЮ  
ГРУЗОВ ВО ВСЕ ТОЧКИ МИРА. НАША ФИРМА – ЕДИНСТВЕННАЯ  
ФИРМА С ЛИЦЕНЗИЯМИ АМЕРИКАНСКОЙ, РОССИЙСКОЙ  
И УКРАИНСКОЙ ТАМОЖЕН. ПРЕДЛАГАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС ПО САМЫМ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

**АВИАОТПРАВЛЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНО**

ОТПРАВКА ЛЮБЫХ ГРУЗОВ И ОБРАЗЦОВ ВО ВСЕ ГОРОДА БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
ВСЕМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ АВИАКОМПАНИЯМИ –

**SPECIAL – SPECIAL**  
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИДЕТ В НАШ  
ОФИС С ЭТИМ ОБЪЯВЛЕНИЕМ

**\$0.79**

ЗА ФУНТ В МОСКВУ,  
МИНИМУМ 100 ФУНТОВ.  
ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА ПО ВОЗДУХУ  
И В ДРУГИЕ ГОРОДА.

**МОРСКИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ**

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 20' и 40' .....от **\$1990**  
АВТОМАШИНЫ, ГРУЗОВИКИ, АВТОБУСЫ.....от **\$899**  
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ, НЕГАБАРИТНЫЕ ГРУЗЫ.....от **\$85/м<sup>3</sup>**



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ОТПРАВКУ ТРЕХ АВТОМАШИН В ОДНОМ КОНТЕЙНЕРЕ.

**ПРЯМЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 14 ДНЕЙ СЕРВИС**

Судно КИРОВ отправляется из Нью-Йорка 22 апреля. Заходит в С.-Петербург 6 мая.

Судно НАРВА отправляется из Нью-Йорка 9 мая. Заходит в С.-Петербург 23 мая.

Судно ЮРИС АВОТС отправляется из Нью-Йорка 27 мая. Заходит в С.-Петербург 10 июня.

**МЕСТА НА ПРЯМЫХ СУДАХ ОГРАНИЧЕНЫ –  
РЕЗЕРВИРУЙТЕ СВОЮ ОТПРАВКУ СЕГОДНЯ.**

**АВИАБИЛЕТЫ, ВИЗЫ, ПРИГЛАШЕНИЯ**

В РОССИЮ, НА УКРАИНУ И ДРУГИЕ СТРАНЫ СНГ. БЕСПЛАТНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ ДЛЯ НАШИХ  
ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ, ОТПРАВЛЯЮЩИХ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУЗОВ В СНГ.

АЭРОПОРТ КЕННЕДИ.  
ОФИС:  
167-43 Porter Rd., Jamaica.  
N.Y. 11434  
(718) 244-7253;  
(718) 244-0036.  
(718) 244-5529 FAX.  
Office hours: Mon.-Fri. 9-5 p.m.

БРУКЛИН  
2307 Coney Island Ave.  
(corner Ave. T).  
(718) 376-1023.  
Fax (718) 376-1073  
Mon. – Friday 9-10.  
Sat. – Sunday 10-5.

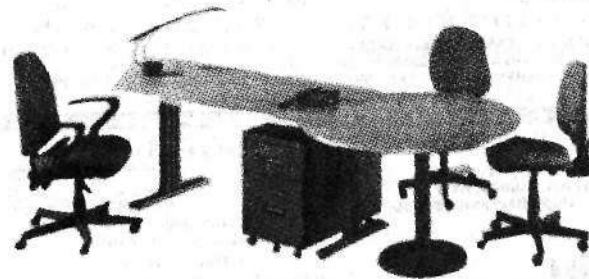
МОСКВА, АЭРОПОРТ  
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2  
ОФИС.  
095-578-4771,  
095-578-2780 FAX

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.  
ОФИС:  
Межевой Канал, 5.  
812-259-0623,  
812-251-9882  
FAX

Р Е К Л А М А

**А.Р.ИМПЭКС**  
**ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

**Для офиса** Кабинеты руководителя  
Универсальные рабочие места  
Кресла, стулья, аксессуары



**Для дома** Мягкая и корпусная мебель  
Гостиные, кухни  
Детская мебель

**ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВИКОВ!**

Отгрузка со склада в Москве.

✉ 123367, Москва, а/я 001  
ВДНХ, пав. "Москва", 4 эт.

☎ (095) 974-6251, 974-6254;  
FAX 187-9283.

Принимаются к оплате STB-card.

Alfred Gensor

**IATA** **UNITRANS - P.R.A. CO., INC.**  
INTERNATIONAL AIR FREIGHT FORWARDER • License #9389/014.

ЛАЙСЕНС ДАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮБЫХ АВИАГРУЗОВ. ТАКЖЕ ЕСТЬ ЛАЙСЕНС, ВЫДАННЫЙ "FEDERAL, MARITIME COMMISSION", NVOCC #055866 - ДАЮЩИЙ ПРАВО ТОЛЬКО НА МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ.

**АВИАПЕРЕВОЗКИ**

**ВПЕРВЫЕ ИЗ ВСЕХ ГОРОДОВ АМЕРИКИ!**

СРОЧНАЯ ДОСТАВКА ОБРАЗЦОВ ГРУЗОВ В МОСКВУ, С.-ПЕТЕРБУРГ, КИЕВ. СРОК ДОСТАВКИ 1-3 ДНЯ (ЭКСПРЕСС). ЕЖЕДНЕВНАЯ ОТПРАВКА КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОВ "CARGO" В МОСКВУ, С.-ПЕТЕРБУРГ, КИЕВ, РИГУ, ВИЛЬНИУС, ТАЛЛИНН, МИНСК, ЛЬВОВ, АЛМА-АТУ, ОДЕССУ. (МИНИМУМ 100 ФУНТОВ).

**ГАРАНТИРУЕМ БЫСТРУЮ ДОСТАВКУ.** ПОЛЬЗУЕМСЯ УСЛУГАМИ САМЫХ НАДЕЖНЫХ В МИРЕ АВИАКОМПАНИЙ: AIR FRANCE, BRITISH AIRLINES, FINNAIR, LUFTHANSA, SAS, AUSTRIAN, KLM. СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ В УПАКОВКЕ ВАШЕГО ГРУЗА В АВИАКОНТЕЙНЕРЫ ЛЮБЫХ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ.

**КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ**

**БЫСТРО • НАДЕЖНО • НЕДОРОГО — ЧЕРЕЗ ФИНЛЯНДИЮ**

Контейнеры в С.-Петербург, Москву, Киев, Минск, на Урал, в Сибирь, Порт Восточный и др. } Цены сезонные, сниженные.

Специальные цены на отpravку автомашины в контейнерах.

**ВНИМАНИЕ!**

40' Нью-Йорк — Одесса.....\$3300  
Цена зависит от рода груза.

**МАТКАЛЕН LINE** КОНТЕЙНЕРЫ — ИЗ СНГ — В США

**ОТПРАВКА ЛЮБЫХ ТИПОВ МАШИН**

|                            | St. Petersburg | Moscow | Europe | RO-RO               |
|----------------------------|----------------|--------|--------|---------------------|
| Ford Taurus (новый).....   | \$ 950         | \$1250 | от     | Только шведской     |
| Jeep Cherokee (новый)..... | \$1050         | \$1350 | \$500  | и норвежской линией |

**ПОСЫЛКИ В РУКИ АДРЕСАТА БЕЗ ПОШЛИНЫ**

АВИА — МИНИМУМ 11 ФУНТОВ ВО ВСЕ ГОРОДА УКРАИНЫ.....\$1.89 за фунт

**ВНИМАНИЕ ОТПРАВИТЕЛЕЙ С ЗАПАДНОГО ПОВЕРЕЖЬЯ!**  
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ!

| RUSSIA  | NEW JERSEY  | BROOKLYN  | LOS-ANGELES   |
|---|---|---|---|
| St. Petersburg.<br>22 Galernaya Street.<br>Suite 52.<br>Tel. (812) 312-9246.<br>(812) 117-2010.<br>Fax: (812) 312-3306. | 16-00 Rt. 208.<br>Fair Lawn, N.J. 07410.<br>Tel. (201) 703-0555,<br>(201) 797-8088.<br>Fax (201) 703-0418 | 1786 Coney Island<br>Tel. (718) 998-4545,<br>(718) 998-4580,<br>(718) 998-8288,<br>(718) 998-0102,<br>(718) 998-0154.<br>Fax (718) 998-6990 | 10912 S. LA Cienega Blvd.<br>Inglewood, CA 90304.<br>Tel. (310) 348-8299,<br>(310) 348-8298.<br>Fax (310) 348-8297. |

Цены, указанные в объявлении, действительны только в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

**НПК**  
**ВЕСТА**

Адрес: ул. Б. Полянка, 15,  
ст. м. «Полтавка».

Москва: (095) 230 79 52  
230 79 57  
230 76 52

Санкт-Петербург: (812) 315 74 26  
(0132) 37 75 41  
(0482) 28 43 10  
Одесса: (044) 269-43-02  
Киев: (044) 269-43-02  
Новосибирск: (3832) 32 88 97

## АО «НПК-ВЕСТА»

**Продажа безналоговых компаний  
за рубежом в течение 1 часа.**

Готовые страховые компании. Регистрация банков.

Разработка схем налогового планирования.

Открытие счетов в западных банках  
первой величины в течение 1—3 дней.





Р Е К Л А М А

**АВИАЦИОННЫЕ И МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ**  
**Air Cargo Global Corp.**

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ  
 КОМПАНИЯ С 20-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ  
 РАБОТЫ ПО ОТПРАВКЕ ГРУЗОВ  
 ВО ВСЕ ТОЧКИ МИРА.

**AIR UKRAINE** **AEROFLOT**  
**CARGO**

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС ПО САМЫМ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

**АВИАОТПРАВЛЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНО**  
 ОТПРАВКА ЛЮБЫХ ГРУЗОВ ВО ВСЕ ГОРОДА БЫВШЕГО СОЮЗА

**SPECIAL!** \$0.75 ЗА ФУНТ      \$1.50 ЗА ФУНТ. ПОСЫЛКИ БЕЗ ПОШЛИНЫ  
 С ДОСТАВКОЙ В РУКИ АДРЕСАТУ

**МОРСКИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ**

20' КОНТЕЙНЕР. НЬЮ-ЙОРК — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.....\$2100  
 40' КОНТЕЙНЕР. НЬЮ-ЙОРК — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.....\$3000

По желанию клиентов отправляем грузы в контейнерах MORFLOTA  
 с дальнейшей беспрепятственной переправкой их в любой город СНГ.

**ОТПРАВКА АВТОМОБИЛЕЙ, ГРУЗОВИКОВ (TRUCKS) И ОБОРУДОВАНИЯ**

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ, БЕСКОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ В ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОРТЫ  
 НА СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ ПЛАВУЧИХ ГАРАЖАХ.

От \$450 в Европу, \$999 в Санкт-Петербург.

Специальные цены на отправку трех автомашин в 40' контейнере из Нью-Йорка.

**АВИАБИЛЕТЫ, ВИЗЫ, ПРИГЛАШЕНИЯ**

- ВЫЗОВЫ ГОСТЕВЫЕ.
- ОТКРЫТИЕ КОРПОРАЦИЙ ЗА 3 ДНЯ.
- ДЕЛОВЫЕ ВЫЗОВЫ.
- ПЕРЕВОД ДЕНЕГ В КРУПНЫЕ ГОРОДА.
- ДОВЕРЕННОСТИ.

Наш адрес: 170 Neptune Ave., Brooklyn, N.Y. 11234.  
 Тел.: (718) 891-2551. Факс: (718) 891-2581.  
 Работаем с понедельника по пятницу, с 10 до 6, в субботу и воскресенье, с 10 до 5.

**ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1994**

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов; с целью эконом теской поддержки редакции — 69 долларов; для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов. Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, чеки высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA  
 TEL: (201) 592-6155

Одновременно объявляется подписка в России.

Для тех, кто оформит подписку до 1 августа 1994 года установлена льготная цена — 24 000 рублей

В розничной продаже — цена договорная. Оформить подписку можно в Московском центре журнала «ВРЕМЯ И МЫ» по адресу:

103914, Москва, ул. Моховая, д. 9,  
 Факультет журналистики МГУ, к. 213.  
 Тел.: 203-66-41

**ПОДПИСНОЙ ТАЛОН**

Фамилия.....  
 Имя.....  
 Адрес.....

Подписной период.....  
 Прошу оформить подписку на журнал «ВРЕМЯ И МЫ» на.....  
 год. Высылать с номера..... Журнал высылать обычной (авиа)  
 почтой по адресу:

Подпись.....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

Главная редакция журнала "Время и мы":  
409 Highwood Avenue, Leonia, NJ07606, USA  
Tel.: (201) 592-6155. Fax: (201) 592-6958

**На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаияна.  
На четвертой странице обложки: Борис Мессерер "Канкан"  
(из серии "Танцы в стиле ретро").**

---

Подписано к печати 15.6.1994 г. Бумага 84xЮ8Уз2. Печать офсетная. Офсет №1. Условно-печатных листов 19. Тираж 20 000 экз. Зак.528

---

Филологическое общество "Слово". Москва, Часовская ул., 10/2.

---

ЛР №061646 от 1 октября 1992 года.

---

4 Типография Комитета Российской Федерации по печати. 129041  
Москва, Большая Переяславская ул., д. 46

OCR и вычитка - Давид Титиевский, август 2010 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

